

3(47)

СВ

ВРАТА СИБИРИ



ВРАТА СИБИРИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ВЫХОДИТ С ДЕКАБРЯ 1999 года

учредитель
и издатель:

ОАО
«Тюменский издательский дом»

Редактор
Леонид ИВАНОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ:

№ 3 (47)

С.В. БЕЛКИН
М.М. ГАРДУБЕЙ
А.Н. ДВИЗОВ
Н.И. КОНЯЕВ
В.Е. КОПЫЛОВ
В.Л. СТРОГАЛЬЩИКОВ
М.А. ФЕДОСЕЕНКОВ
А.П. ЯРКОВ



Тюмень
2016

Содержание

ПРОЗА

Вячеслав СОФРОНОВ	Легенды древнего Карагая. Предания сибирских татар.....	9
Александр Мищенко	Саваоф. Повесть.....	50
Елена ТУЛУШЕВА	Рассказы.....	77

ПОЭЗИЯ

Николай ШАМСУТДИНОВ (3), Леонид ТКАЧУК (46),
Виктор ЗАЙЦЕВ (74), Сергей КОМАРОВ (93)

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ ЮГРЫ

Владимир ВОЛКОВЕЦ (96), Сергей СМЕТАНИН (141) Павел ЧЕРКАШИН	Рассказы.....	98
---	---------------	----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ

Владимир ПРОТАСОВ	Рассказы.....	145
Наталья БОРОДКИНА (175), Даниил СИЗОВ (178)		

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Наталья СЕЗЁВА	Портрет города. Лицо-лик-образ-символ Г. Токарев. Ю. Рыбьяков. А. Новик. Ю. Юдин.....	182
----------------	---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Новомир ПАТРИКЕЕВ	Охота и природа в повести Александра Мищенко «Неро и Белозвезд».....	186
-------------------	---	-----

КРАЕВЕДЕНИЕ

Александр Ярков	Козьма Прутков и другие сибиряки на Крымской войне.....	192
Литературная хроника	194
Коротко об авторах	196

ПОЭЗИЯ

Николай ШАМСУТДИНОВ

* * *

С перспективной рефлексии, сытый провинцией
До печеночных спазм,

с реноме исповедника
Милых граций, мордуем к тому ж интуицией
Интонации, к слову сказать, собеседника
С ипохондрией, той, что поет не старение
Как константу грядущего, а, к удивлению,
Еще свежее, в милых чертах, упоение
Жизнью, что наставляет, сурова, терпению

Ортодокса... Не помня себя в пререкании
С очевидным, пресыщен, как всяк, неизвестностью,
Человек, заточенный в своем подсознании, –
Сокрушеннее с глазу на глаз с неизбежностью
Хворей, черного хода в забвенье, брюзжания
На погоду и близких – в стенаниях памяти
По упущенной юности, в чьем отрицании –
Как всегда, от лукавого... Чем ни обрамите

Ваше существованье,

дитя понедельника,
В нелюбови и пасквилях, будьте уверенны,
Мир по сути – отсутствие, в снах неврастеника
Навещаем вещами, что напрочь потеряны,
Оставаясь для прочих инкогнито. Сущее –
Форма несовершенства, в нем нет ни корысти, ни
Любопытства к нему... Постоянство, присущее
Лицемерию и сервилизму как истине

Черствых дней – всё острей. На лирическом нересте,
Что ему, позабыты за давностью, спутницы?..
Перелистывая их пост. девичьи прелести,
Трудно не избежать обязательной путаницы
В именах, чей реестр не ждет завершения.
И, деля безразличие между искомыми,
Он живет неолитом, свое отрешение
От действительности – населяя фантомами...

* * *

Кашель, Этна в висках – одним словом, простуда...
На безлюдной веранде, с одической скукой,
Наблюдая закат, человек ниоткуда
Закрывает глаза, вразумленный разлукой
С та cheri. Откровенно зевая, сивилла
Учит сути наглядной бессмыслицы, ибо,
Сокрушительно в мерности, время есть сила,
Неуклонно влекущее в прошлое либо

Обращающая в воркуна... По морщинам –
Далеко не руина, он держится честным
С временем, человек, по известным причинам
Оставаясь, грешно говорить, неизвестным
Извиняемым массам... В дегенеративных
Нравах, опровергающих бред о высоком,
(не глумясь ли?) носителя декоративных
Добродетелей – жизнь отсылает к порокам,

Ведь, при титлах и всех именах, совершенна
В своих несовершенствах... В транзитной клетушке,
С червоточиною, заточенной в душе, но –
Не навек же,

 себя поверяют подушке,
Ей перепосвятив опоздавшую нежность
К ускользающей. Время мордует сквернавца,
За стихийностью Хроноса пряча прилежность
Скрупулезного в частностях заимодавца.

Безразлично, ведь, скуке сродни, как обычно,
Кто кому, в примирённости с будущим, должен:
Время вам либо вы ему,

 ибо, безлична,
Жизнь давно безучастна к тому, что он дожил
До внезапных седин..., отрицаемый, выжил
В равнодушии масс да и, здоровья ради,
Из холодной, простуженной комнаты вышел
Подышать, провожая закат, на веранде...

В Ялте

Вот так-то, с депрессивною «ледышкой»,
за ужином, в досужих новостях,
И мир не мил... Набрякшему одышкой,
ненастью всё б посапывать в снастях –

В дремучей паутине с филигранью
студеных капель. Век влачит, одна,
Арахна – подсадному подсознанию,
в цепи ассоциаций, отдана.

За кофе, скучно наблюдать с балкона
за (уводя затем к платанам взгляд...)
Ежевечерней толчеей планктона
на набережной – рыхлый променад

Не исключает тяготенья к бромю,
как, спору нет, и к рому... Между тем,
Газету взяв, ленивую истому
привычно холят в членах, прежде чем

Встать и, с пощелкиванием в коленке,
пройтись, чтоб ипохондрию отшить,
Коль девушку, голимый лед, в застенке
застенчивости, – не растормошить...

Оставить ее, к черту! над прибором,
отставив стул с запальчивым «Пора!» –
Меж автором и, грех пенять, героем –
зазор лишь в жальце «вечного пера».

Пусть пьет свой опостылевший боржомом...
Но возрастом застигнутый врасплох
Ума-то набирался на разломе
не коммунальных шатий, а – эпох.

И – отступает зряшная усталость,
ведь, с чайкой над морщинистой водой,
Того, кто внял, что подступает старость,
не испугает младость ледяной...

* * *

Трезво бодрствуя, бодрость – род существованья при
Разложении жизни на ингредиенты... Пари
С дальноркостью гребаной бедности? Туча тучей,
Очевидность, чужда сантиментам, грозя смести,
Обращается будущим – при нас-той-чи-вос-ти
Настигающего настоящего... Видно, случай

Отдает неизбежным, но, непредсказуем, и он
Не сумел подобрать ключа, прозорлив испокон,
К нраву той, что, зайдя далеко, не грешит наивом
В эпизодах подобного рода. Порой зимой
Безутешней пространство, грешащее белизной
За окном, – это снег, ждущий вас. За учтивым чтивом,

При таком освещенье, кириллицею! строка
В свойствах приобретает, смеркаясь, от тупика,
Где уроками урок насыщены будни... То есть
Вы один – в отрешении от мелочей, сродни
Недочитанной книге. И чем, отступаясь, ни
Жертвуйте переменам во вкусах, больная совесть

Не подаст вам совета... Всё, в сущности, персть и прах
ли.., темнее с лица – заблудившийся в именах
Оставляемых и забываемых. С небосклона
Опускается снег. Задушевно, точно фингал,
Лиловеет неон... Прямо в воззреньях, оригинал
Мудро возвращивает в себе (ли?) уклончивость клона,

Наводняемого мерзостями. Свистит Эол
Между строк, кифареда бросая на произвол
Прозы, что не без позы... Поэтому ли, вслепую
Тычась, тянется взглядом агностика он к окну
Примиряющей к стати наследницы – то одну,
То другую фамилию? Страшно сказать, другую...

* * *

Городок, прозябающий здесь, на периферии
Мира, слепнет в снегу, чужд иллюзий и эйфории,
Открывая, в ветвящемся времени, не себя
Как продукт эволюции. Все-таки индивидуум
Первообраз сутяги... Задушена рамой с видом
На минувшее, вечность скукожилась. Торопя

Сон – не ассоциации, к старости – убывают...
Нарастающий снег, оседающий в мозг, слипает-
ся в бесформенных монстров. В действительности больной,
Несмотря на чудовищность замыслов,

грубый остов

Ирреальности, сонмы железобетонных монстров –
На один с пустотой (что в природе вещей) покрой.

Стужа сбила всех, как в преисподней, в колтун... Так, видишь,
Уязвим, и в толпе ж! одинок человек, подкидышь
Эволюции, как и случая. Сумрачней свет,
Покрасневший, как склочная склера. Ночная сфера
Отражается бездной в бессоннице Агасфера,
И сюжет оплетает столетья... Сводя на нет

Отвлеченности в виде хулы, с утешеньем в броне
Либо в бренди, спасаются здесь, в нелюдимом доме,
Отчужденностью от самого себя. С бледным «ась?..»,
Мир не стоит страстей как и, впрочем, бесстрастья. Вправе
На признание, бессодержательность этой яви
Отвращает от мира, прогорклая, становясь

Содержанием жизни. И, в кровь прорастая, стужа
Застеклила зрачки проходящего мимо.., ужас
Вжался в душу, как в нишу.., сквозит из щелей... Свинцом
Наливаются веки ночного гиперборея,
Что заснул – в невозможности перебороть Борея
С монотонным лицом,
что беснуется за окном...

* * *

В примиренности с возрастом ведуна, но не стоя
Нареканий, пером собирают в лицо героя
Те черты его, что утрачены в юности. Путь,
Коль диктуют нам, как и по хлябям, так и по тверди,
Обрывается в прошлое, в сумерки... И лишь смерти –
долгожительнице, как ни бейся, всё не вернуть

Триумфатора, ибо, оттачивая упорство,
Но – служба жизни, словно химере, единоборство
С временем оставляет практически в колпаках
Каждого. И тоска, прижитая с печальной датой,
Далеко, адресуема давнему, не ходатай
Перед вечностью... Но, в суевериях и долгах,

Жизнь, в неведение о подоплеке своей, способна,
Порицая, ласкать, и поэтому так подробна
В тесном перечне вин, по привычке топя в вине
Их, как верное зло, градус первой любви... Сторицей
Воздавая ей, но – словно с бездной в лице, патриций,
Он открыл меня, не умаляя иного, – мне,

Словно оригинал... Не послать ли словесность к ляду,
Ведь себя узнаешь (приглядишься...) по косому взгляду
Из толпы Несчастливцевых? Что ж, с истеченьем лет,
Бытие? – вот оно, в чистом виде – тщета и бренность,
Ибо, данная несвоевременной, современность –
Это лишь камуфляж ирреального, лишь ответ

Сожаленью о невосполнимом... Больно собою,
Сумрачной бытие, чуть подсвеченное душою...
Но покуда рассвет, открывая вверху просвет,
Атмосферу, иными словами, ясней, – оттуда
Он глядит, триумфатор, сюда, где царит простуда,
Но его самого в окаянном бедламе – нет...

ПРОЗА

Вячеслав СОФРОНОВ

ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО КАРАГАЯ (предания сибирских татар)

(перевод Флеры Сайфулиной)

Лесной хозяин и его дочери

Когда я на свет появился, то мать с отцом меня Асхатом назвали. Хотели, чтоб как вырасту, мужчиной стану, то жил счастливо, дом богатый имел, женился на работающей девушке, детей чтоб с ней народили, жизнь вместе в любви и достатке прожили. А на старости лет, когда все заботы, хлопоты кончатся, чуток пожить останется, то внуки бы меня под руки в погожий день на улочку выводили на солнышке посидеть, погреться. Да только, видать, не суждено их мечтам-желаниям сбыться-исполниться, Аллах иначе рассудил. Но то история длинная, сразу и не расскажешь, всего, что случилось, не припомнишь, а виной всему лесные девушки, что испокон века в лесах окрестных живут, землю нашу от недругов охраняют. Вот об этом и расскажу вам, как все началось и чем для меня обернулось.

Мой народ издавна в лесу селится по берегам речек или озер, что рыбой богаты. И хоть вокруг лес-урман, болота топкие, но лихой, чужой человек в эти места не сунется, без приглашения не заявится. Не только чужой, но и кто из местных жителей, если окрестные места плохо знает, далеко от дома забредет, то и заплутать недолго, с дороги сбиться, в лесу заблудиться. Потому испокон века стоят в укромных местах избушки об одно оконце, где от непогоды укрыться любой может, обсушиться, обогреться, похлебку сготовить. Оттого и не боятся, не переживают жители наши, если бывало, пойдет кто за клюквой на болото да только через несколько дней обратно в деревню вернется. Значит, в избушке лесной ночевал, чтоб ноги зря не бить, пустым с болота не возвращаться пока мешок другой ягод не соберет, да в укромном месте не схоронит. А по нашему обычаю, что не твое, кем другим собрано, то сроду его никто не возьмет, не позарится, коль тебе не принадлежит. Только вот нынче иной народ пошел, могут старые правила, обычаи не соблюсти, стариков не послушаться, чужое добро к рукам прибрать, будто так и положено. Не понимают, что все это потом против них же и обернется, и знать не будешь, откуда беда пришла. Да что об этом говорить, если умный, то сам поймет, а дуракам все одно объяснять бесполезно.

Так что не нами заведено-придуманно, чужого не брать, но и своего не упускать, особенно, если рядом с тобой те богатства лежат: дичь разная, рыба речная, озерная, орехи кедровые, ягода лесная. По осени на клюкву и старый и малый собираются, целыми семьями отправляются. С собой пропитание на много дней берут, подле клюквенного болота лагерем располагаются, ночью костры жгут, а днем ягоду спелую собирают. И плохота семья, что хотя бы десяток мешков на зиму не наберет, в кладовую не положит.

Клюква для сибирского человека ничем иным незаменима: морс клюквенный жажду утоляет, от усталости помогает, лучше всякого лекарства

болезни из тела гонит. А уж какие пироги, шаньги с хозяйки наши с клюквой пекут, то словами не обскажешь, а самому попробовать надо – поначалу кусочек от того пирога отломишь, попробуешь, а там и не заметишь как весь пирог умял, сытым из-за стола встал. А зимой, как дороги встанут, то клюкву в город на базар везут продать по хорошей цене тем, кому в лес сходить недосуг было. Так что клюква для нас крепким подспорьем служит, пережить долгую зиму помогает, и редкий человек по осени на болото не снарядится, красной ягодой не запасется.

И меня мать с отцом с детских лет приучили не лениться, а с березовым туесом раза два на болото по осени прогуляться и ягоду насобирать, домой принести, к зиме подготовиться. Дорога до болота давно известная, проторенная: вначале до речки Убы, где поваленный кедр лежит, с час идти, а то и больше, коль неспешно пойдешь, а потом напрямик через лес к другой речушке, что Малым Ешаиром зовут, выходишь. А вот дальше проезжая дорога заканчивается и лишь тропинка малая вьется, петляет, то в одну, то в другую сторону уходит. Тут не зевай, гляди внимательно, не ровен час и в другую сторону уйдешь и вместо болота на старые гари или в глухой урман угодишь. Лес не город, заплутать и бывалый человек может – в такую глухомань попадешь, что кричи не кричи, а никто тебя не услышит.

Вот как-то раз, когда еще совсем молодым был, только школу закончил, на ногу легкий, на сборы скорый, то решил в конце лета на клюквенное болото сходить, разузнать какой нынче урожай будет, много ли ягоды уродилось. Урожай клюквы много от чего зависит, не каждый год она сполна родится, вызревает. Бывает и так, что и собирать нечего. Лето в тот год сухое выдалось, дождей почти не было, а клюква влагу любит, чтоб соком налиться, вызреть до спелости, а коль дождей не случится, то надо самые низкие места искать, где ягода завсегда имеется. Только путь туда не близкий. Иной раз не на ту дорогу угодишь, пойдешь круголя давать, зигзаги выписывать и, бывало, что едва за два дня до настоящих клюквенных мест добираешься. Да при том все ноги собьешь, в болоте перемокнешь, одежду о кусты поизорвешь, от мошки-комара едва отобьешься, устанешь, вымотаешься так, что клюква та тебе самой драгоценной ягодой на свете покажется. Потому и надо заранее знать, уродилась ли клюква вблизи от деревни на старых ягодных болотах и другим о том сообщить, чтоб все знали, когда нужно в путь собираться, готовиться, какой запас с собой брать, в какое время лучше всего отправляться.

Вышел, значит, я спозаранку, как только коров пастухи на луг прогнали. Туес за плечами, в нем полбулки хлеба серого, два язя жаренных, да пара свежих огурчиков с нашей грядки; за поясом ножик на всякий случай, в кармане коробок спичек; на ногах сапоги-болотники, на самом курточка легкая от дождя-ветра сохранный. Большого в лес с собой не возьмешь, а то дорога долгой показаться может, и не рад будешь, что нагрузился, лишку с собой прихватил. Ружья у меня никогда не было, поскольку в семье нашей никто охотой не занимался, склонности к тому не имел.

Иду себе скорым шагом, по сторонам с улыбкой гляжу, знакомые места узнаю: там рыбачили, там сено ставили, а в том леске дрова заготовливали. Все тут мое, все родное, привычное. Казалось бы, в глухом краю живем, до города иногда на машине и за два дня не всегда доберешься, но мне туда ехать нет особой надобности, и здесь дел хватает. В своей деревне жить куда как сподручнее. Тут тебя каждый человек сызмальства знает, в трудный час поможет, пропасть не даст.

Уже и Убу-речку прошел, скоро должна Малая Ешпаирка показаться, как вдруг слева от себя, среди берез словно мелькнул кто – то ли зверь, то ли человек. Остановился, слушаю... Кому тут быть вдали от деревни? Человек бы ко мне сам подошел, а зверь себя шумом выдаст, даст о себе знать. А тут тихо кругом и веточка не шелохнется, но что-то не так, чувствую, еще кто-то живой рядом есть. Стою так, головой по сторонам верчу. Опять что-то меж березок всколыхнулось, зашевелилось, и вроде как голос мне послышался, будто зовет кто меня.

«Нет, – думаю себе, – показалось видать». В лесу всякое почудиться может, на то он и лес, а не чистое поле. Пошел дальше, а внутри вдруг какое-то беспокойство случилось, словно забыл чего, а вспомнить никак не могу. Иду, иду, а нужной мне речки все нет и нет. Что за напасть? Опять остановился, стал по сторонам озираться, чтоб определить куда зашел. Места совсем незнакомые. Значит, сбился с тропы, когда мне в лесу что-то почудилось, померещилось, надо обратно к тому самому месту возвращаться. Ругнулся про себя, пошел обратно, опять к речке Убе вышел, сел отдохнуть, хлеб из туеса достал, половину рыбины отломил, перекусываю.

Тут, откуда ни возьмись, сорока трескотушка села на нижнюю ветку рябинки, у которой ягоды только, только багроветь начали. И уселась как раз напротив меня да как затрещит, застрекочет! Я даже рыбину из рук на землю выронил, на ту сороку с удивлением уставился. Небывалое дело, чтоб такая осторожная птица как сорока, да так близко к человеку подлетела совсем безбоязненно! Или я сам чуток умом тронулся или с птицей чего приключилось для меня непонятное, коль всякий страх потеряла.

Протянул к ней руку, с земли осторожно поднялся, думаю, сейчас поймаю ее, за хвост схвачу. Не тут-то было. Сорока прыг-скок и на другую ветку повыше перебралась, не хочет в руки даваться. Остановился, смотрю, что дальше будет. А она пострекотала, пощелкала надо мной вверху и чуть в сторону перелетела и опять свою трель выводит, словно сказать чего хочет. Прислушался я к ее стрекотне, и послышалось мне, будто бы она мое имя называет: «Асхат, Асхат, Ас-хат!».

«Ну, дела, – думаю, – сороки заместо попугаев говорить начали!» Никогда о таком не слышал, а уж видеть и вовсе не приходилось. Чудо, да и только! А сорока с одного дерева на другое перелетела, но недалеко, на меня глядит, стрекочит, головой в разные стороны вертит. Выходит, зовет она меня что ли?! Делать нечего, пошел за ней следом и только несколько шагов сделал, как вижу, совсем молоденькая березка горит, огонь прямо по белой кожеце ползет, лижет ее своим хищным языком, к вершинке подбирается. Я даже удивиться не успел, с чего это в лесу ни с того ни с сего деревце огнем взялось. Скинул с себя куртку, принялся жадное пламя сбивать, гасить, бедную березку спасать. И нескольких минут не прошло, как огонь унялся, и даже дымка не осталось.

Устал я, взмок, запыхался, пошел к речке попить, сажу с себя смыть. Подошел к берегу, наклонился к воде и... на тебе – в речке отражение девушки красоты необыкновенной с толстой косой на голове, лицом белым, глазами голубыми, а на ней самой сарафан зеленый, словно осока речная, яркий, сочный, красивыми узорами расшит. Отскочил от речки, назад оглянулся, а там березка молодая растет совсем такая же, как та, с которой только что огонь сбивал. Ничего не пойму! Или на солнце перегрелся или заболел дурной болезнью. Прошел чуть по бережку, опять в воду глянул и ничего не увидел. Успокоился чуть, умылся. Но не утерпел, вернулся к

тому деревцу, что в воду смотрится, опять в воду глянул. И снова девушка в зеленом сарафане мне оттуда улыбнулась и подмигнула даже. Ущипнул себя для верности, ажно вскрикнул от боли. Нет, не сплю, не чудится. Вот ведь рассказать кому, не поверят, засмеют.

Выбрался на берег, на солнце поглядел, а оно уже за кромку соснового бора спряталось, значит, вечер скоро, а там и ночь придет, стемнеет. Какое тут болото в потемках искать! И домой возвращаться неловко. Соседи спросят: «Как клюква нынче, Асхат, уродилась?» А я что в ответ скажу? Врать с детства не приучен, но и рассказывать как заплутал, как сорока мое имя выкрикивала, как березку тушил тоже неловко. Вспомнил, что чуть в стороне от речки, ближе к озеру, где хороший карась ловится, избушка нашего лесника Кадира стоит. Подумал, подумал, рыбину доел, хлеба половину сжевал, остаток на потом оставил и решил в избушке той заночевать, а уж завтра на клюквенное болото наведаться. На душе сразу веселее стало, отряхнулся и отправился избушку искать, чтоб, значит, на ночлег определиться.

Избушку лесника Кадира быстро нашел – она подле старой ели сложена, а верхушку еловую издалека видно. Посмотрел по следам вокруг, но свежих не заметил, видать давно сюда никто не заходил. Глянул вверх, а на крыше бурундучок сидит, на меня глазками-бусинками посверкивает, усиками шевелит, интересуется, с чем пришел. У нас в тайге бурундучки самые любопытные из всех зверьков, людей не боятся, доверяют человеку, почти ручные. И всегда возле охотничьих избушек и держатся, за человеком крошки со стола подбирают, пропитание в том находят. На зиму бурундук несколько ведер кедровых орехов себе заготавливает, в дупле или норе прячет. Старики рассказывают, что если кто из людей запасы его найдет, себе заберет, то бурундук головой на развилку у кустика бросается и сам себя так душит, потому, как не выжить ему без зимнего припаса.

Зашел я в избушку – никого. На столе несколько кружек перевернутых стоит, соль в баночке, в углу возле железной печки мелко колотые дрова лежат, береста, коробок спичек на полке. Все, что нужно путнику. Можно с дороги, с мороза обогреться, обсушиться, чай сварить, сил поднабраться. Даже свечной огарок оставлен, чтоб без света не сидеть. У нас издавна обычай такой: кто ту избушку срубил, тому она и принадлежит, но зайти в нее каждый может, коль нужда есть.

Только все одно как-то беспокойно у меня на душе было в тот вечер: про говорящую сороку забыть никак не мог, отражение девушки в зеленом сарафане вспомнилось. Беду, что случиться должна, человек завсегда заранее чует, предвидит. Но мало ли что на душе у тебя творится, а все одно жить дальше надо. Доел остатки хлеба с солью, чайку вскипятил, попил, похлебал, да и спать на топчан улегся.

Ночь быстро свое темное покрывало на лес накинула, тихо кругом, только свечка на столе потрескивает, да мыши под полом шуршат, сова изредка ухнет где-то и опять тишина. А мне не спится никак, что за день со мной случилось, вспоминается. Девушка в зеленом сарафане в так в глазах и стоит, улыбается, веселым глазом подмигивает. Может час прошел, а то и больше, задремал. Находился за день, вот и сморило, а девушка та и во сне продолжает мне улыбаться, говорит что-то, да только слов ее понять не могу.

Вдруг слышу, как дверь скрипнула, словно вошел кто. Поднял голову, глаза открыл и увидел... старика в старинном черном бешмете с нахмуренным лицом, строгим взглядом и белая борода у него до пояса

мелкими кольцами вьется. Вот только усов у него не видно и бровей не разглядел, а так старик строгий, спина прямая, словно из сказки ко мне в избушку явился. А сзади него три девушки стоят, улыбаются мне как старому знакомому. Волосы у них льняные, глаза большие, голубые как небо в ясную погоду. Красавицы такие, что слова их описать не сразу и подберешь.

Хотел я встать, поздороваться, но ноги как ватные сделались, не слушаются, и ни словечка выговорить не могу, только таращусь на них, глазами хлопаю.

А старик тем временем к столу подошел, свечу погасил, а в избушке все равно светло, словно свет от прищельцев льется, приятный такой, мерцающий.

– Здравствуй, Асхат, – он мне вдруг говорит и бороду рукой оглаживает, – давно тебя жду в своем лесу, знал, что рано или поздно повстречаемся.

– А откуда вам мое имя известно? – спрашиваю и сам не понял, как речь ко мне вернулась вдруг.

– Мне все известно, что вокруг делается, потому что я хозяин здешних мест и все звери, птицы, рыба в реке – мои. Слежу, чтоб злой человек не набедокурил, беды не натворил.

– А как зовут вас? – спрашиваю.

– Зови меня просто хозяином.

– А что за девушки с вами пришли?

– То дочери мои. Им давно замуж пора, да только никак не могу для них достойного человека найти. Нужен мне зять доброй и чистый в помыслах. Чтоб не о корысти думал, а о том, как лес сохранить, братьев своих меньших в обиду не дать, злых людей от леса отвадить, зверушек из капканов освобождать, деревья лечить, пожары лесные гасить. Вот ты вроде как мне приглянулся, вижу на тебя положиться можно.

– Значит, это вы нынче в лесу меня проверяли, когда березка загорелась? Как я сразу не догадался...

– Все правильно понял, уразумел, то проверка была. Хорошо себя показал, куртку не пожалел, до дыр прожег, огонь загасил. Вот тебе взамен другая, новая совсем, носи на здоровье, – и протягивает мне куртку из прочного холста, что когда-то в старину у нас в деревне женщины пряли, износа им не было. – В куртке этой особая нитка из целебных трав пущена, и кто ее носит, то сроду ни хворобы, ни усталости знать не будет.

Взял я куртку, примерил – в самый раз по мне и легкая и теплая и прочная, всем удобная в лес ходить лучше не сыщешь.

– Спасибо, – старику отвечаю, поклонился низко, – только где я жить буду? Меня ведь дома ждут, искать пустятся, коль завтра к вечеру не вернусь.

– За то не бойся, все улажу. Народ подумает, будто бы ты пропал, заблудился, поищут, поищут, да и забудут о тебе. А жить станешь, где пожелаешь: хочешь в этой избушке, а нет, то любую в лесу выбирай, которая поглянется.

– Очень вам благодарен, – поклонился опять старику. – Только насчет того, чтоб так вот сразу и жениться, то не готов к тому. У нас так не делается – только увиделись, даже не познакомились по-настоящему, а уже и жениться... Мне бы с ней поговорить, вечерком по деревне пройтись, погулять, послушать какие она песни поет, слагает, а уж потом решать – брать ее в жены, играть ли свадьбу. Да и какая в лесу свадьба, когда никого из моей родни не будет?

– Придется тебе по нашим обычаям жить, про то, как у вас водится забудь навсегда. А пока погляди на моих дочерей и выбери, которая тебе милей, сердцу ближе.

Тут девушки вперед выступили, в ладоши хлопнули, серебряными браслетами, что у них на руках одеты, зазвенели, в пляс пустились, веселую песню запели. Я хоть слов не понял, не разобрал, но все одно – хорошая песня! И веселая и с грустинкой чуть, едва сам в пляс не пошел, да не ловко как-то. Смотрю на них, выбираю, которая краше всех, веселей, в талии тоньше. И узнал ту самую, что в речке днем увидел! Очень она мне в душу запала. А заметил ее по малой родинке над верхней губой. Пригляделся, и она с меня глаз не сводит, смеется беззвучно так. Кинулся к ней, схватил за руку, к себе потянул, говорю старику:

– Вот она, моя избранница. С ней жить буду, по нраву она мне, согласен, хоть сейчас жениться. Скажи, как зовут тебя.

– погоди, – старик отвечает. – Сам же говорил, что сразу такое серьезное дело не делается. Ты еще не все испытания прошел, выдержал. И имя моей дочери тебе знать пока ни к чему. Зови ее просто Младшей дочерью. Она у меня самая любимая, самая расторопная, первая мне помощница. Оставайтесь до утра, а там поглядим, посмотрим, как дальше сложится... – и пропал старик, а вместе с ним две других его дочери, будто никогда и не было.

Остался я вдвоем с его младшей дочерью, и сомнение меня взяло, – правильно ли поступаю, согласившись до конца дней своих в лесу жить. Оно, конечно, дело нужное, оберегать пташек, зверушек, пожары лесные гасить, но и в деревне дел много разных. Представил себе, как мать горевать станет, когда узнает, что сын ее в лесу пропал, сгинул. Она у меня уже в годах тогда была, хоть и не старая, в любой момент заболеть могла, а я ей и ничем и помочь не смогу, соображаю себе. Гляжу на девушку, что все мне улыбается, и пришла мне на ум мысль такая, что решил спросить, предложить красавице как она на мое предложение согласится.

– Скажи, а почему тебе со мной в деревню не пойти? С родней познакомлю, свадьбу сыграем как у людей. Хорошо жить станем, а в лес мы в любой момент пойти сможем, приглядывать будем, зверью, птахам, пичугам разным помогать. Может, дождемся рассвета, да и отправимся ко мне домой?

Она вмиг улыбаться перестала и серьезно так говорит, льянные брови на лбу свела, и родинка у нее потемнела даже.

– Нам, лесным девушкам, дочерям лесного хозяина, нельзя среди людей жить. Много злобы в человеке накопилось, зла всяческого, а нам это словно огонь жаркий, не выдержим, умереть можем от худого слова, от дурного глаза.

– Ни кому тебя в обиду не дам! – схватил ее за руки, на колени опустился, ладони ее себе на грудь положил. – Плохого слова от меня сроду не услышишь, клянусь тебе! Беречь стану, сам всю работу по дому делать. Заживем счастливо, детей вырастим. У нас красивые дети родиться должны будут.

– Не в тебе, Асхат, дело, – она отвечает, – ты добрый, хороший. А как ты меня от всех спрячешь, когда люди вокруг завидовать начнут, когда мы с тобой душа в душу жить станем, а зависть людская для меня хуже смерти.

– Да почему завидовать кто-то станет? У нас в деревне многие семьи хорошо меж собой живут, и остальные соседи только радуются, уважают. И у нас так же будет. Пошли в деревню.

– Глупый ты, совсем глупый, – улыбнулась она в ответ и меня по голове ласково погладила, – совсем жизни не знаешь. Люди раньше на земле ни одну сотню лет жили, когда зависти и в помине не было. А как пошли бедные, да богатые, то с тех пор все и началось, человек сам свой век укоротил от собственной злобы, от зависти. Даже малые дети еще в малолетстве умирать начали, болезни разные появились, которых раньше сроду не было. Потому и живем мы в лесу, вдалеке от людей, чтоб злобы той избежать, не встречаться с завистью. Знаешь, почему тебя мой отец отметил? А потому как ты сердцем чист, словно дитя малое, никому не завидуешь, а над тобой все вокруг смеются, за глупца почитают.

Подумал я, подумал, а ведь права девушка. Многие в деревне надо мной подсмеиваются, что добра не нажил, денег не скопил, живу в старом доме с матерью без особого богатства. Раньше даже дразнили меня обидными словами, да дядя мой, уважаемый в деревне человек, заступился, пригрозил обидчикам, они и отвязались.

– Все так, – говорю ей, – права ты, но у меня мать старая в деревне. Кто с ней останется?

– За нее не беспокойся, ее братья твои к себе возьмут, прокормят. Главное, чтоб ты согласился, а остальное все само собой сладится.

Ничего я ей тогда не ответил, потому что и с ней быть хотелось, больно поглянулась она мне – разумная, добрая, красивая, никогда таких не встречал; а с другой стороны мать жалко, как ее брошу. И так и этак думал, соображал, не заметил, как и рассвело. А девушка без дела не сидит, прибрала в избушке так, словно в доброй избе чисто и уютно стало. Вдруг слышу, собака лает, значит и человек рядом с ней где-то. Себя не помня выскочил вон, кинулся на тот лай, про девушку совсем забыл, бегу ног не чую. Смотрю, а то собака лесника Кадира облаивает кого-то на дереве и он следом идет, ружье в руках, курки взведены. Посмотрел на дерево, а там рысь молодая притаилась и на собаку глядит сверху, голову из стороны в сторону поворачивает, людей не замечает. КаDIR ружье поднял, прицелился в рысь, а я к нему бросился, схватился за ствол, дернул изо всех сил. Он и не ожидал такого, нажал на курки и выстрелил, да только не в рысь, а в собаку собственную попал, убил на месте. Как принялся на меня кричать, ругаться нехорошими словами, думал и меня тут же убьет, так ему собаку жалко стало.

– Ты, недоносок этакий, как смел за ружье хвататься? Моя собака лучшая в округе была, цены ей нет. Сколько раз предлагали мне продать ее, да все не соглашался. Она и на белку и на медведя шла, сколько зверя я с ней вместе добыл. Зачем ты дурак мне под руку подвернулся?!

– Рысь жалко стало, – отвечаю ему.

– Дураком родился, дураком и помрешь. Правильно про тебя на деревне болтают, что недоумок ты. Если бы мать твоя меня не упросила тебя дурака поискать, то и беды бы не было. А теперь вон что наделал.

Поднял он с земли мертвую собаку и к избушке понес, со мной больше и говорить не стал. Я следом иду, сокрушаюсь, про девушку лесную вспомнил, как Кадиру объясню, откуда она взялась? Побежал было вперед, да он кричит:

– Не заходи в мою избушку, не хочу видеть тебя!

Остановился я, как его послушаться, когда он лесник, его избушка. А он во внутрь вошел, и дверь закрыл перед моим носом. Постоял я так, постоял и побрел обратно домой угрюмо и про туес и про куртку, что старик подарил мне, позабыл. К обеду уже дома был, а на крылеч-

ке мать стоит, меня поджидает, глядь, а подле нее и мой туес лежит и куртка из холста.

– Ой, сыночек, – она ко мне бросилась, – я уже худое думать начала, не случилось ли с тобой чего. Живой ли?

– Да что мне сделается, – обнял маму, хотел было про лесного хозяина и дочерей его рассказать, да только голос мне того старика слышался, будто не велит он о нашей встрече никому говорить, а то заболел дурной болезнью и никто мне не поможет. – Откуда туес мой взялся и куртка? – мать спрашиваю.

– Ребята из леса принесли сегодня утром, как коров на пастбище погнали, потому и беспокоиться начала. Только что-то я у тебя раньше такой куртки не видела. Правда у отца моего, твоего деда была когда-то такая ...

– Может его и есть, – пожал плечами, хотел в дом пойти, но мать интересуется:

– Как клюква нынче? Уродилась или нет?

– Плохая нынче клюква, – ответил, а на душе тоскливо, тоскливо, словно что-то дорогое и важное для себя потерял.

Не ходил больше я в тот год на болото по клюкву и даже в лес боялся один ходить, за каждым деревом чудились мне девушки в зеленых сарафанах с серебряными украшениями на руках, будто зовут они меня к себе. Зато из соседней деревни бабушка Мака неожиданно заблудилась в лесу, и две недели ее найти не могли, даже милицию вызывали, бывалые охотники всю окрестную тайгу прочесали вдоль и поперек, а все зря. К концу второй недели она сама в деревню пришла живая и здоровая, только вся оборванная и исхудавшая. Рассказала, что встретила в лесу (как раз подле речки Убы!) нескольких девушек в зеленых сарафанах и повели они ее вглубь леса и не хотели от себя отпускать, а кормили лесными ягодами, потом к деревне вывели, отпустили с миром. С бабушкой ничего не случилось, а вот дочь ее в ту же осень умом слегка тронулась, заговариваться начала. Такое вот дело...

Потом уже вспомнил я, что в детстве, когда мы пацанами на опушке леса играли, черемуху рвали, случай вышел: ровесник наш, Рафаэлем Аминовым его звали, побежал в лес бегом ни с того ни с сего. Думали, напугал кто его, едва догнали, спрашивать стали, что случилось, а он бьется меж нас, отталкивает, кричит: «Пустите меня! Девушки к себе играть зовут...» После того случая заболел он, слег и лежал долго, не узнавал никого да так больным на всю жизнь и остался.

И другие рассказы стариков припоминаясь начали мне про тех лесных девушек, будто бы всегда они подле нашей деревни жили и время от времени кого-то к себе обязательно заманивали, с собой уводили. И если человек возвращался потом обратно в деревню, то обязательно заболел, а то и совсем память терял, с ума сходил. Потому взрослые и запрещали нам малым детям в лес одним ходить, да не всегда мы слушались их.

Я, правда, болеть не болел после того случая, но вот на девушек смотреть перестал. Мужики подсмеивались надо мной, мол, больной и все такое... Но как вспомнится мне дочь лесного хозяина красоты необыкновенной, то все другие перед ней чумичками казались. Даже в город несколько раз ездил, хотел там невесту себе найти, но если и встречал красивую, то обязательно или неряха или характером злая, неуживчивая. Зачем мне такая жена нужна? Так и живу один, уже и мать схоронил, в доме пусто, неприбранно порой и заходить в него не хочется. Но, думается мне, встречу еще тех лесных девушек и если позовут к себе, то непременно останусь, и раздумывать не буду. Лишь бы позвали...

Да, а лесник тот, Кадир, той же зимой в лесу погиб. Нашли с перегрызенным горлом неподалеку от избушки. То ли волки напали, а может рысь. Кто видел? У кого спросишь? Только лесной хозяин о том и знает да не всякому скажет.

Сибирские астана

Много, много веков назад, когда на нашей земле жил народ, который идолам и истуканам поклонялся, свершились эти события. Правил тогда в полуденных жарких странах хан Шейбан, а вопросами веры ведал ведал при нем имам Багауддин. Строили они совместно в своих землях многие мечети, открывали медресе, где учили молодых людей, чтоб они, грамоту познав, славил Аллаха и продолжали распространять учение его по всей земле.

И вот как-то раз пришли к имаму Багаутдину купцы, что ходили с караваном на север менять свои товары на драгоценные шкурки разных зверей, и рассказали, что живет в Сибири народ, который имя Аллаха не чтит, а поклоняется разным своим богам, в жертву им кровавые жертвы приносят и живут так в своем заблуждении, немало не беспокоясь о душе своей бессмертной.

Опечалился имам Багауддин, ушел к себе в покои, встал на молитву и всю ночь с Аллахом беседовал. На утро вышел он к народу и объявил волю Аллаха идти в северные края и приобщать сибирские народы к вере мусульманской. А потому призвал имам Багаутдин всех правоверных мусульман, кто может в руках оружие держать, садиться на лихих скакунов и отправляться в страну под названием Сибирь и во имя Аллаха обратить те народы в праведную веру.

Услышал народ призыв святого человека, возрадовался. Всякому благоверному хотелось жизнь свою во имя веры положить, чтоб после смерти обрести блаженство вечное. Но, узнав, что пути в те сибирские страны долог и опасен, многие испугались умереть в столь дальнем путешествии и, печально опустив головы, побрели домой, предоставив другим более сильным и молодым людям исполнить призыв своего правителя.

Тогда, чтоб людей в вере укрепить, разослал имам Багауддин по всем окрестным селениям гонцов своих, чтоб те собрали правоверных шейхов в разных местах проживавших, и привели их к нему. В короткий срок было выполнено его указание, и вскоре триста шестьдесят шесть шейхов в белых чалмах и зеленых халатах, с саблями стали дамасской, верхом на резвых конях явились к нему. А хан Шейбан им на подмогу еще тысячу семьсот джигитов-конников с колчанами полными стрел и длинными копьями в руках направил.

Вышел имам Багауддин к отважным воинам на крыльцо своего дворца и обратился с такой речью:

– Долг правоверного мусульманина повелевает нам, братья мои, нести на остриях своих копий и на клинках сабель мусульманскую веру по всей земле. Да убоятся враги ярости нашей! Да будет прославлено имя Аллаха и пророка его Мухаммеда в сопредельных странах! Не думайте о смерти, поскольку душа ваша принята в рай будет. Долг велит вам исполнить то, что никому до этого не под силу было. Идите на север и пусть вера ваша крепка будет как дамасские клинки в ваших руках.

– Да будет так! – отвечали ему шейхи и конники хана Шейбана. – Восславим имя Аллаха и пророка его на земле величайшего из людей Мухаммеда!

С тем и отправились правоверные воины в дальние сибирские земли. Путь их лежал через горы, через великие реки, через безводную степь, где водились опасные хищники, нападающие на людей. Наконец добрались они до страны, где жили люди, поклоняющиеся истуканам, и приказали им сжечь своих идолов и принять мусульманскую веру. Но те люди рассмеялись им в лицо и велели убираться прочь, иначе они возьмутся за оружие и прогонят их силой. Ничего другого не оставалось шейхам и конникам хана Шейбана как принять их вызов и выйти на битву. Тех людей со всей сибирской земли собралось в несколько раз больше, чем защитников веры, и они с криками бросились на пришельцев, надеясь быстро покончить с ними. Но правоверные шейхи и конники хана Шейбана приняли неравный бой за веру и не только не дрогнули их ряды, но одолели они дикий народ, многих закололи своими длинными пиками, посекали крепкими саблями дамасской стали и уже к вечеру противник их бросился в бегство, укрылся в окрестных лесах. Но и среди шейхов и воинов за веру праведную оказалось много раненых и убитых. Тут же, рядом с местом битвы схоронили их и возвели временный мавзолей из смолистых кедровых бревен, прочли, как и положено, должную молитву.

После этого шейхи и конники разделились на несколько отрядов и, не опасаясь больше нападения сибирских людей, поехали в разные стороны проповедовать свою веру. Только сибирские воины, что остались в живых, и не думали оставлять их в покое, а нападали из-за деревьев, ставили ловушки, поджигали лес, пускали в них стрелы. Еще много шейхов и воинов хана Шейбана полегло от рук идолопоклонников. Но, наконец, заняли они все городки сибирские и привели их жителей к истинной вере, взяли обещание никогда больше не поклоняться своим идолам.

Лишь маленькая горстка от отряда вернулась обратно к дворцу имама Багауддина, принесла с собой весть о победе. Но к тому времени не стало уже боговерного имама, а место его занял другой человек, которому дела не было до вернувшихся воинов. И хотя шейхи взывали к нему, чтоб он отправил в сибирские земли другой отряд, который бы следил неукоснительным за соблюдением установленных там законов шариата, но ничего этого сделано не было.

С тех пор прошло еще почти две сотни лет, пока ислам окончательно утвердился среди многих сибирских народов на нашей земле. Тогда и вспомнили о погибших в боях шейхах, принесших впервые к нам эту веру. Люди из всех селений стали разыскивать их могилы, названные астана, устанавливая на них памятники, рубить мавзолеи, вспоминать имена борцов за веру. До сих пор в наших краях стоят те мавзолеи или малые холмики и сохраняется память о тех давних событиях.

...Мальчишкой я был, когда о могилах шейхов услышал. Услышал и тут же забыл, верно. Мало ли дел у каждого из нас было: корове сена дать, дров для печки в дом принести, за водой на речку сбегать. Да и поиграть всегда хотелось, когда время свободное выдавалось. О чем там старики говорят, рассказывают, то все сказками казалось. А сказка она сказка и есть, какая ей вера?

Учились мы в то время в школе, что во Втором Вагае была. Всю неделю в интернате жили, а на выходные нас домой отпускали. Бывало из колхоза машина грузовая приедет, нас заберет, если какой работой водителя не

займут; а случалось и пешком до дома добираться. Вот однажды, осенью дело было, ждали мы машину, ждали, а потом кто-то и предложил: «Если сейчас пешком не отправимся, темноты дождемся, то придется ночь в интернате ночевать, не попадем домой. Пошлите, пока не стемнело...». Все и согласились, пошли, сумки, ранцы, подхватив, за спину закинув.

Ладно, идем себе по дороге, беседуем, травинки на ходу обрываем, вперед поглядываем, авось да машину за нами вышлют. Почти половину пути прошли, а машины все нет. Тогда самый старший из нас, Сафар, говорит:

– Так, если по дороге пойдем, то большой крюк делать придется. Тут можно напрямик пройти по полям, изрядно время сэкономим, быстрее до дома доберемся. Что скажете? Согласны?

– Согласны! – все закричали.

– Тогда пошли, – Сафар говорит, и первым с дороги свернул, пошел по полю.

А был среди нас один мальчик, внук муллы, его Ришатом звали. Он один на дороге остался, не пошел с нами. Стоит и с ноги на ногу переминается.

– Чего испугался? – мы ему кричим. – Идем с нами, не бойся, не заблудимся, прямо к нашей деревне выйдем.

– Нельзя здесь ходить, – он робко так нам отвечает.

– Это почему вдруг? Разбойники что ли в наших краях объявились? – мы смеемся.

– Астана там... – он говорит.

– Ну и что? – про астана мы все слышали, но почему нельзя рядом ходить и не знали, впервые об этом от Ришата узнали.

– Нельзя мертвых тревожить зря, – Ришат нам.

– Да мы и не собираемся их тревожить. Мимо пройдем и все.

– Все одно нельзя, – Ришат на своем стоит.

– Раз ты такой пугливый, то иди по дороге, а мы напрямиком, – Сафар за всех отвечает, и без остановки пошел дальше. Ну, мы постояли, помялись и пошли за ним. Ришат один на дороге так остался.

Идем, а у самих на душе от слов его нехорошо как-то. Не то, чтобы боязно, но неприятно, словно что-то нехорошее сделали и наказания от старших ждем. Но молчим, ни словечка друг другу о том не говорим. А Сафар еще и песенку какую-то веселую затянул, запел, чтоб веселей идти было. Прошли мы картофельное поле все ботвой пожухлой покрытое, к леску березовому близехонько подошли, вдоль опушки идем. Справа от нас овраг от лога, что к речке выходит, слева поля колхозные, впереди лес хвойный. Как только через него по лесной тропинке пройдем, то опять на поля выйдем, а там, через час другой и до дома доберемся.

Думаю себе: «Может зря нас Ришат пугал, ничего и не случится. Мы не на худое дело идем, а к себе домой. Кто нас за это наказать может?»

Ладно, только к лесу подходить стали как ребята, что впереди шли, как закричат:

– Кони, кони скачут!

– Где? – мы у них спрашиваем, а сами обрадовались. Наши колхозные кони к себе всегда подпускали, мы на них и на реку и на покос верхом ездили без седла, без уздечки, пятками управляли. Вот мы и подумали, что сейчас тех коней подманит, взберемся на них и дома через полчаса будем.

– Ой, какие красивые кони, – ребята опять кричат, – белые как снег. И много их, не меньше сотни будет.

Подбежали мы к ним и видим, как на фоне черного леса скачут галопом кони белой масти один за другим, и топот от их копыт такой гулкий вокруг разносится, будто они по деревянной мостовой бегут, а не по сырой земле.

– У нас в колхозе таких белых коней сроду не было, – кто-то сказал, – откуда им здесь взяться?

– Да кто его знает, – Сафар рукой махнул, – как бы нам их поймать, к себе подманить. Есть хлеб у кого? – Пошарили мы в карманах, в сумках, нашли пару кусков. – Идите, подманите коней хлебом, – Сафар как старший нам велит. И послушаться нельзя, подумают, что испугались, засмеют.

Трое нас с кусочками черствого хлеба в руках пошли к тем коням, чтоб подманить их, хлебцем угостить. И чем ближе мы к ним подходили, тем страшнее становилось, страх до самых пяток добрался и на душе жутко, будто покойника увидели или еще чего пострашнее.

А белые кони на нас и внимания не обращают, бегут себе вдоль опушки и за деревьями скрываются, а вслед за ними все новые и новые выскакивают. Нам бы сообразить, неладное что-то здесь, остановиться, а мы как заводные куклы все идем к ним с вытянутыми руками и слова разные ласковые шепчем. Вдруг один жеребец от остальных отделяется да как на нас поскачет, побежит... Грива у него по ветру развивается, а из ноздрей как будто искры летят. Не знаю, может мне то со страху показалось, а может и взаправду было, но остановились мы как вкопанные. Тут жеребец как заржет по-дикому, на дыбки вскинулся в воздухе копытами бьет, из глаз, словно молнии сыплются. Ну, мы и кинулись обратно к остальным ребятам, а они смеются над нами:

– Чего испугались? Он к вам сам подошел, а вы... спужались!

– Идите сами коней тех ловить, – мы им, – он чуть не зашиб нас, не пойдем больше.

Ребята вслед за Сафаром побежали к лесу, гляжу, а коней и след простыл, будто никогда их и не было совсем.

– Куда же они делись? – ребята на опушке стоят, озираются. – И следов от копыт не видно. Странно все как-то.

– Может, показалось нам все? – один у другого спрашивает.

– Как это показалось? Не бывает такого, чтоб всем сразу вдруг одно и то же показалось. Все коней видели? – Сафар к нам повернулся.

– Видели, – отвечаем, а у самих поджилки трясутся.

– Пойдемте в лес, может они там, где на поляне стоят, – Сафар дальше командует.

Деваться некуда, никому не хочется, чтоб его потом трусишкой дразнили, если вдруг со всеми в лес не пойдет, двинулись следом за Сафаром. А в лесу вдруг тишина такая сделалась, установилась, словно вымерло все: ни одно дерево ни скрипнет, ни ветерок по кронам не прошумит, никакая птичка голоса не подаст. И сам лес стоит нахмуренный, пригорюнившийся, сумрачный, боязно в него заходить даже.

А Сафару хоть бы хны, впереди идет, палку с земли подобрал, по веткам вниз склонившимся ей как саблей ударяет, желтые осенние листья на землю сшибает, насвистывает что-то негромко. Ну, и мы плетемся, по сторонам озираемся, все ждем чего-то. Впереди полянка показалась и вдруг туман, откуда ни возмись, опустился на землю, белесым паром все покрыл, укутал да такой густой, что кто впереди тебя идет и не разберешь сразу, а лишь спину видишь, и дыхание его слышишь.

– Вот шайтан, – Сафар крикнул, – как дальше дорогу найдем? Не видно ничего из-за проклятого тумана.

– Может, обратно повернем? – кто-то из ребят спрашивает. – Боязно...

– Кому боязно, тот пусть и обратно идет, а я ничего не боюсь, – Сафар засмеялся, – меня бабушкиными сказками не удивишь, не напугаешь. Вранье все это...

И только он эти слова проговорил, перед ним прямо из земли огненные брызги посыпались, как бывает, когда головню из костра на землю бросишь, только самого огня нет, а искры летят.

Сафар-то и раскрыл рот, палку из рук выронил, остановился как вкопанный. И мы тоже застыли, с места двинуться не можем. Вдруг, видим, меж искр старик стоит с белой бородой длиннющей, предлиннющей чуть не до земли она не достает, а на голове у него чалма белая, из одежды халат зеленый с узорами. А глаза у того старика такие сердитые, пресердитые, что и передать словами нельзя. Сафар от испуга весь затрясся, упал перед стариком на колени и только одно слово повторяет:

– Мама, мамочка милая... Мамуля...

– Зачем ты меня потревожил? Зачем в мой лес пришел? – старик тут грозным голосом его спрашивает. – Или тебе жизнь не дорога? Отвечай! – да как притопнет ногой, что земля вокруг загудела, будто гром ударил.

– Домой мы идем, – Сафар тихим голосом проговорил, – не знали, что вы, дедушка, здесь живете. Мы больше не будем.

– Разве старики ваши не рассказывали, что в лесу этом святые могилы, астана, находятся?

– Говорили...

– А вы, выходит, не поверили? Плохо, ох как плохо. Что за люди из вас вырастут, если сейчас уже стариков не слушаете и всему, что они рассказывают вам, не верите? Какое бы наказание вам придумать... Ваше счастье, что малы еще, а то бы наказал по заслугам, чтоб другим неповадно было наш сон тревожить, ходить возле святых мест без дела.

– Мы, дедушка, больше не будем, – Сафар ажно заплакал от страха. А как тут не испугаться, когда старец такой сердитый и грозный перед нами стоит.

– Хорошо, – старик говорит, – идите своей дорогой, но в лес без даров, без молитвы больше никогда не заходите. А как домой вернетесь, то всей деревне расскажите и муллу пригласите, чтоб молитву прочел, всех погибших на этой земле помянул. – Сказал и пропал, лишь пар кружится над тем местом, где он только что стоял.

Мы все ног под собой не чуя как кинулись бежать, некоторые даже портфельчики свои побросали. Бежим, и кажется, что старик нам в спину глядит и грозно в бороду усмехается. Промчались через подлесок березовый, лица ветками поисцарапали в кровь и на поле какое-то выбежали. Глянули, а впереди, совсем поблизости деревня наша огоньками светится, собаки тявкают и близ околицы табун конский стоит, пофыркивает.

– Опять те же кони, – закричали мы испуганно. – Бежим отсюда!

– Да нет, то наши, деревенские кони, – кто-то, присмотревшись, отвечает, – заправдешные.

– Чего делать-то будем? В деревню пойдем? А вдруг старик тот нас опять где-нибудь встретит?

– Не встретит, – Сафар отвечает. Он вроде как успокоился, отдышался и говорит нам. – Про то, что случилось, молчок. Не хочу, чтоб все потешались над нами.

– А как же старик? Он ведь нам велел рассказать обо всем и муллу позвать, чтоб молитву прочел.

– Да мало ли кто чего сказать может, – Сафар возражает, – здесь мы уже дома и никто нам не страшен. Молчите, будто ничего и не было.

Ну, мы и послушались Сафара. Он, как ни как, а самый старший среди нас был, уже с девушками встречался, курил потихоньку от родителей, нож складной у него был, которым он частенько хвастался, нас, маленьких попугивал. Послушались мы его и вернувшись в деревню никому ничего рассказывать не стали, ни про белых коней, ни про старика с седой бородой.

Когда мама меня спросила, отчего одежда рваная и лицо поцарапано, то сказал, будто бы в лесу заплутали и в темноте о деревья изодрались, оцарапались. Вроде и правду сказал, только не всю... И остальные ребята ничего родителям о том случае не рассказали, смолчали, чтоб на смех нас не подняли, дураками перед всей деревней не выставили.

Неделя или больше прошла, потихоньку та история забываться стала, как вдруг Сафар потерялся. Учителя в школе всех нас порасспросили, когда его в последний раз видели, а мы с ним и не дружили особо, у него своя кампания была из старших ребят. Все решили, что он к кому-то из родни уехал, не сказав о том, думали, скоро объявится.

Только ни через день, ни позже Сафар так и не объявился. Родители его к родне в соседнюю деревню кинулись, в других, дальних побывали, милицию на ноги подняли, а ничего не помогает. Нет Сафара нигде и все тут.

Один только Ришат, которому мы под большим секретом рассказали и про коней белых, и про старика в чалме больше всех волнуется, и советует к деду его, к мулле, в соседнюю деревню поехать и с ним посоветуется. Отпросились мы с уроков пораньше и подались пешком к деду его. Тот нас встретил и сразу спрашивает:

– Вы, верно, про Сафара пришли мне что-то рассказать?

– А откуда вы знаете? – мы удивились.

– На то я и мулла, чтоб знать про такие вещи. Ну, рассказывайте.

Мы без утайки всё ему и выложили: и про коней и про старика в чалме. И про то, как Сафар велел нам молчать, старшим ничего не говорить.

– Да что же вы наделали! – тот аж в лице переменялся. – То-то у меня на душе не спокойно, а почему сам понять не могу. Теперь все понятно. Сейчас, подождите меня чуть, пойдём на то место, где вам святой встречался.

– А он правда святой? – мы так до конца тогда и не верили в это.

– Конечно. Иначе и быть не может. Ещё от своего деда слышал, что рядом с нашей деревней святой шейх похоронен, но только все позабыли, где это место находится. Дед все обещал сводить меня туда, показать, а потом совсем стар стал, сам ходить не мог так и умер. А коль он вам детишкам малым сам явился, значит, время пришло к его могиле всем народом с дарами, с молитвами идти, прощения просить, что забыли о праведных людях, что жизнь свою за веру положили.

Ушел он недолго за перегородку и вышел вскоре одетый празднично и толстую старинную книгу в руках держит.

– А книга зачем? – у него спрашиваем.

– То священная книга, Коран называется. Она нам прежде всего понадобится.

Вышли мы за деревню, а земля уже замерзшая, первым снежком припорошенная, следы на ней хорошо видны. Пошли напрямик к тому лесу, где все с нами приключилось, а самим страшно.

– Дедушка, а тот старик на нас не рассердится, что мы опять к нему без разрешения пришли.

– Не должен рассердиться. Я молитву про себя читаю, он знать должен, что мы с добрыми мыслями и чистым сердцем к нему идем.

– А как он узнает про это?

– Вот, когда вырастете, большими станете, то все сами поймете. А сейчас голову пустыми разговорами не занимайте.

Дошли мы скоро до того леса, шаг замедлили, озираемся кругом, все нам чудится, что сейчас лошади выскочат, на нас побегут. Но тихо все, дальше идем, на полянку небольшую вышли. И видим под деревом Сафар сидит теплой попоной укрытый и в руках что-то держит. Кинулись было к нему, а мулла, дед Ришата, удержал нас за плечи.

– Погодите, тут спешить нельзя. Сперва я к нему подойду. Мало ли чего случиться может...

Остались мы на краю полянки, смотрим издали. А дедушка Коран раскрыл и начал что-то читать по ней и низко так на все стороны кланяться. Подошел он к Сафару, потрогал его, а тот не отзывается. Мы уж испугались, не умер ли, но встал он, за дедушку держится, тот его к нам повел.

Смотрим, а в руках у Сафара глиняный горшочек с рисом или с чем-то другим наполовину пустой. Мы его за одежду дергаем, тормозим, а он словно спит, глаза полус закрыты, только бормочет чего-то непонятное.

Так и привели его полусонного в деревню, родителям отдали. Те в слезы, понять не могут, как он столько дней в лесу провел, не замерз и чем питался непонятно. Горшочек тот глиняный мы с Ришатом едва у него из рук вынули, я его у себя оставил. Интересно мне было, откуда он у Сафара в лесу взялся.

Долго так Сафар в забытии пролежал, ни с кем, ни разговаривал, ни на один вопрос не ответил. Только одно слово повторял: «Астана...» Родители его в город в больницу возили, но и там ничем помочь не могли, хотя целый месяц его у себя продержали, уколы разные ставили. Обрато вернулся грустный, задумчивый какой-то, словно подменили человека. Родители из школы его забрали да вскоре и увезли к родне куда-то далеко, там он и жить остался.

А старики теперь каждый год собираются по осени и в лес к тому самому месту идут с молитвами, с дарами разными, домой уже поздно, под вечер возвращаются. Нас, ребят, с собой не берут. Лишь строго настрого запретили одним в те места ходить без старших.

Ришат как школу закончил, уехал в Казань учиться, говорили, потом муллой стал, как и его дедушка. А мне на память тот глиняный горшочек остался, у меня дома на отдельной полочке стоит. Если когда мне особо плохо бывает, то возьму его в руки, подержу, грустными мыслями поделюсь и, глядишь, много чего меняется, жизнь иначе идет.

Может, именно тот случай заставил меня остальные астана по всему нашему району искать, путешествовать от деревни к деревне, стариков расспрашивать, кто что помнит, в газеты о том писать. А как иначе? Помнить народ должен о тех людях, что их на праведный путь наставляли, от идолопоклонства отучали, истинными верующими сделали. А то придется все сначала начинать, веру отцов наших и дедов обратно на нашу землю возвращать. Без веры жить человеку никак нельзя.

Пэри и мой народ

Раньше люди совсем не так как нынче жили: стариков почитали, лес без причины не рубили, без нужды зверя не добывали, злых духов зря не тревожили. А нынче скажи кому, что те духи рядом с нами живут, промышляют, так ведь и не поверит никто, на смех поднимут. А вот старики сказывали, что с теми духами, которых пэри зовут, наш народ раньше в родстве был, общих детей имели, в дружбе с ними жили. Может и не в дружбе, но с пэри ссориться себе дороже выйдет. Ты его не тронешь, и жизнь спокойнее будет – худой мир завсегда лучше доброй ссоры.

Пэри, если захочет, то может и болезнь-лихоманку наслать, скот в лес угнать, ребенка речи лишить, жену от мужа отбить; а может показать, где клад зарыт, от врага защитит, от пожара спасти. А бывает, обернется пэри человеком, да и живет среди людей, сколько ему захочется и никак его не отличить от остальных жителей, коль повадки их не знаешь, внимательно к нему не присмотришься, не приглядишься.

Вот мать моя рассказывала, что бабушка ее из рода пэри была и многие их секреты знала, хранила, да только детям открывать не спешила, так с собой в могилу и унесла. Значит, не хотела, чтоб дети колдовством занимались, власть над другими людьми имели, а жили как все и ничем от остальных не отличались. И мне моя мать про ту историю рассказала, как все случилось, и чем все закончилась.

Жил в нашей деревне охотник один, Карим звался. Молодой, красивый, собой приметный. Ни перед кем не заискивал, гордый был, сильный, выносливый. Мог пешком сотню верст пройти и не присесть ни разу. Как осенью в тайгу уходил, то обратно в деревню лишь по талому снегу возвращался с богатой добычей, с заплечным мешком, полным дорогих шкурок звериных. В том же селении жила в то время девушка именем Камиля, которой тот охотник больше всех других парней нравился. Как завидит его, на улицу выскочит, ведра схватит и будто бы за водой направится к речке. А обратно мимо него пойдет, ведром парня зацепит, словно ненароком и ждет, что он с ней заговорит, слово скажет. Только тот посторонится, от ведра увернется, и дальше себе идет, как ни в чем не бывало. И так и эдак она с ним заговорить пробовала, только ничего у нее не получалось, сколько ни старалась.

Подумала, подумала Камиля и решила к старухе одной обратиться, что ворожила для всех в деревне, плату за дело свое черное небольшую брала рыбой, мукой или ягодой. Вот отправилась она к ворожею вечером, чтоб никто не увидал, не прознал, по селу не раззвонил. Рассказала бабке-ворожею о своей беде, что нравится ей охотник молодой, а как с ним заговорить, словом перемолвиться и не знает.

– Попроси брата своего старшего, чтоб подружился с Каримом-охотником, к вам в дом на праздник пригласил, а там с ним, глядишь, и сумеешь переговорить, авось дело и сладится, – бабка ей советует.

– Брат мой меня на смех поднимет, потакать не станет, а еще и отцу с матерью скажет, те и вовсе меня в доме закроют, за дверь не пустят.

– Чем же я тебе помочь могу, хорошая моя? – ворожея ее спрашивает. – Приворожить его к тебе, чтоб сам пришел, то можно. Но помни, коль моя ворожба подействует, то начнет он болеть, хворать, а может и умереть раньше времени.

– Неужели другого способа нет, чтоб заметил он меня? – девушка не понимает.

– Можно иначе сделать, – старуха ей, – удачи его лишить, от охоты отвадить. Если он про лес забудет, без добычи раз, другой вернется, то непременно ко мне придет просить, чтоб поворожила ему, добычу в охотничьем деле послала. Вот тут и расскажу о тебе, мол, такая девушка красивая, Камиля, все глаза проглядела, ждет, не дождется, когда свататься придешь, своей невестой назовешь.

– Ой, стыдно мне такие слова слышать, – Камиля покраснела, платочком румяные щечки закрыла, глазки в пол потупила. – Но делать нечего, поступай, как знаешь, а я тебе через день, другой свежей рыбки принесу за ворожбу твою.

На том и порешили. Ушла Камиля от старухи-ворожеи домой, да и ждет, как дальше дело пойдет, повернется. Вот лето минуло, осень настала, все охотники с их деревни на охоту в тайгу собрались, приготовились. Карим самым первым ушел в свою избушку на лыжах лосиной шкурой подбитых. И братья Камили через какой-то срок отправились. Зима в тот год студеная выпала такая, что птица на лету замерзала. Все женщины в деревне мужей ждут, на опушку леса поглядывают: не вернутся ли мужья обратно.

Первыми братья Камили пришли, на санках-волокушах тушу медведя тащат, в мешках беличьей шкурки, сестре в подарок на шапку лису-огневку принесли. Стали рассказывать, как трудно нынче зверя добывать, когда в этакий морозище и из избушки лишний раз выходить не хочется. Камиля их рассказы не слушает, а момент улучит, на крылечко выскочит, смотрит, не покажется ли Карим из тайги. А его все нет и нет. Вот уже и другие охотники домой пришли, кто с чем, но пустым ни один не вернулся, каждый что-то да добыл, с достатком вернулся. А Карим все не возвращается.

– Ну, – мужики говорят, – видать, он нынче столько зверя добыл, что лошадь запрягать надо, добро вывозить.

Уже наст рушиться стал, потеплело, когда Карим из леса вышел и ни с кем слова не сказав в свой дом незаметно прошел и закрылся там. Соседи к нему наведались, добычей поинтересовались как то меж соседями принято. А он на пустой мешок показывает, вздыхает горестно:

– Совсем ничего не взял, ни добыл. Отвернулась, видать удача от меня. Может лесного хозяина обидел, а может, не повезло в эту зиму. Сам не знаю, как год проживу.

Камиля о томуслыхала, обрадовалась. «Ага, – думает себе, – будешь знать, как меня не замечать».

Лето прошло, осень настала, а там и зима неслышно подобралась. Вновь все охотники в лес пошли зверя добывать и Карим как всегда, первый ушел на своих широких лыжах, лосиными шкурами подбитых. И снова последним вернулся исхудалый весь, от голода черный и ни одной шкурки не принес в мешке, даже куропатку лесную и то не подстрелил, чтоб было из чего суп сварить. Чем он там, в лесу питался никто и не знал. Так ему стыдно перед селянами, что из дома месяц не выходил, двери никому не отпирал, больным сказывался. Ну, друзья его видят такое дело, собрали кто что мог, принесли Кариму рыбы, мяска немного, чтоб не помер, рук на себя не наложил, да и советуют:

– Сходи к бабке-ворожее. Не иначе как кто на тебя порчу наслал, удачи лишил. Пусть она поколдует, поворожит, авось да поможет.

– Не пойду, – Карим отвечает, – не верю в заговоры. Сам виноват, что зверя добыть не мог, на другой сезон все изменится. Надо в другом месте зверя промыслить, где никто до сей поры его не пугивал. Вот отдохну чуть,

отлежусь, отправлюсь в дальний лес новую землянку в тех местах ставить, чтоб было зимой, где жить.

Друзья спорить не стали, пошли по домам. У каждого своя голова на плечах, все по своему собственному разумению живут, один другому не указчик.

Как Карим решил, так и сделал, – захватил пилу, топор, да и пошел в самый дальний урман новое жилье себе строить, ладить. Шел он сперва вдоль малой речки, потом на полночь повернул, через горелый лес пробрался, на моховое болото вышел, заночевал там, в старой избушке, утром дальше отправился. Только на третий день пути вышел на высокий холм, что посреди густого леса стоит от людей сокрытый, никому не видимый. Внизу, близ холма, речушечка со светлой водой бежит, струится, рядом кедровый лес вековой кроной шумит. Урманное место, заповедное. Видать, сроду никто из их селения сюда не закахивал, зверье в лесу не пугивал.

«Вот, – думает, – самое и место для жилья. До холодов, до снега успею себе землянку вырыть, дров наготовить, обживусь, обустроюсь». Принялся за работу себя не жалея, обо всем забыв. И недели не прошло, как выстроил на вершине холма сухую землянку, крышу из бревен накатал, березовой корой покрыл, сверху дерном обложил. Мимо пройдешь, а не заметишь, что человек тут живет, обитается. Пошел к речке искупаться, пот с себя смыть. Стал обратно на холм подниматься, как налетел неведомо откуда ветер-ураган силы небывалой: столетние стволы к земле гнет, малые деревца с корнем вырывает, песок крутит-вертит, столбом в воздух поднимает.

Остановился Карим, заслонил руками лицо от бури, как слышит вдруг голос тонкий, девичий:

– Что, охотничек, испугался силы моей? Говори, зачем пожаловал, а то засыплю песком, с холма сброшу, в реке утоплю.

– Кто ты? – он спрашивает. Через силу глаза открыл и видит девушку красоты необыкновенной в черную шаль закутанную, на вершине холма стоящую перед самой его землянкой.

– Или сам не догадался? – та со смехом его спрашивает.

– Откуда мне знать кто ты?

– А ты подойди поближе, может тогда поймешь.

Шагнул к девушке Карим, руку протянул, а нет никого. Оглянулся, она сзади него стоит, смеется, белые зубы кажет. Он опять к ней тянется, а рука лишь воздух хватает, никак ту девушку зацепить не может. Будто и нет ее вовсе, а снится все молодому охотнику.

– Кто же ты? – он ее опять спрашивает.

– Какой ты недогадливый, Карим. Я и есть, и нет меня. Ты меня видишь, а в руки взять не можешь. Про пэри, небось, слышал когда-нибудь?

– Как не слышать.... Каждый про них слышал, да не всякому встречаться с ними приходилось. Неужто ты настоящая пэри и есть?

– На сей раз угадал. Что, страшно?

– Да нет.... Не очень пока. А откуда ты знаешь, как зовут меня?

– Все нам, пэри, про вас, людей известно, обо всем знаем. Даже сказать можем, о чем вы думаете, и что завтра произойдет, случится. Сказать?

– Скажи. Кому не хочется знать, что с ним будет...

– Завтра ты со мной жить станешь, а срок придет и родится у нас сын, а потом.... А что потом будет, то тебе знать ни к чему. Пора придет, и все своими глазами увидишь.

– Как же звать тебя?

- Зови как хочешь. У нас, у пэри, имена на ваши людские не похожие.
- Можно я тебя Бибигой звать стану? Так когда-то мою бабушку звали.
- А почему бы нет? Пусть Бибига будет.

– Только скажи мне, если я тебя лишь вижу, а тела ощутить не могу, то как мы с тобой жить станем? Да и умеешь ли ты женскую работу делать? Наши женщины мужьям своим и пищу готовят, и огонь в доме поддерживают, все хозяйство на них, когда муж в лес уходит.

– О том не беспокойся, не думай. Все будет как надо. Лучшей жены, чем я, во всем мире не сыщешь. Вкуснее меня обед никто не сготовит, хоть сто женщин из своего селения собери. А что бестелесная я, то не беда. Протяни руку... Чувствуешь?

Карим с опаской к девушке подошел, руку ей подал, боится, а вдруг да случится с ним что. То не шутка, с девушкой из рода пэри беседу вести. Но нет, ничего с ним не случилось, а ощутил он и тело ее и по волосам рукой провел – все как у настоящей женщины. Вот только тепла женского нет, что от тела исходит, да и улыбаться Бибига, похоже, не умеет.

«Ладно, – думает он себе, – коль судьба моя такая с пэри жить, то надо покориться, принять как должное. А там посмотрим, как дело пойдет...»

– Правильно думаешь, – Бибига ему говорит, – нам, пэри, ни один человек сопротивляться не должен, а то только хуже будет.

Он и забыл совсем, что она мысли людские читать умеет. Призадумался, было. По всему выходит, что несладко придется с такой женой, да деваться некуда. Стали они жить в землянке возле дальнего леса как настоящие муж и жена: Карим с утра на охоту отправляется, а Бибига дома остается, пищу ему готовит, одежду штопает, тепло в землянке поддерживает, чтоб мужу после охоты было где обогреться, отдохнуть, отлежаться.

И такая удача Кариму в охоте в ту зиму привалила, что, сколько себя помнил, а ни разу по столько шкурки дорогого зверя никогда не добывал. Тут тебе и белка, и соболь, и куница, и на что лиса хитрая, осторожная, а сама на охотника выскакивает, только что в мешок не запрыгивает. Не нарадуется Карим удаче своей охотничьей. Только все одно что-то гложет внутри, спокойно жить не дает. Рано ли поздно ли, а придет пора к людям в деревню возвращаться, куда же он Бибигу денет. Неужто согласится она с людьми рядом жить?

Вот зима к концу подходит, зверь линять начал, добывать его нельзя. Да и куда еще добывать, когда полные мешки шкурками набиты, едва на охотничьи санки помещаются.

– Что делать станем? – Карим спрашивает Бибигу. – Шкурки, что добыл, продавать самое время, пока цены на них высокие. Не дело, если пропадут они. Пора бы и к людям выходить, да не знаю, как тебя здесь одну оставить.

– То не беда, – Бибига отвечает, – нашел, о чем беспокоиться. Собирай что тебе надо, бери в руки, и жди что будет.

Карим плечами пожал, собрал все имущество, пожитки свои, вышел на вершину холма, лыжи нацепил, к дальней дороге приготовился.

– Зря ты лыжи одел, – Бибига ему, – ну, да ладно. Закрой глаза и не открывай, пока я тебе не разрешу.

Послушался ее Карим, глаза закрыл и слышит, как вдруг ветер-ураган налетел, откуда ни возьми, завертел, закружил его, от земли оторвал, по воздуху понес и опять на землю опустил. Стоит, а сам боится глаза открыть, а вдруг да в худое место попал или вовсе... на тот свет его занесло.

– Ну, теперь можешь и оглядеться вокруг, – слышит голос Бибиги. – Узнаешь ли родные места?

Открыл глаза Карим и ... видит, что близехонько к родному дому посреди своей деревни стоит, а рядом с ним мешки со шкурами и лыжи на ногах. И Бибига тут же стоит, усмехается.

– Как же так? – не успел спросить, как видит, люди к нему бегут, кричат что-то, руками размахивают. Первыми мальчишки подбежали, здороваются.

– А все говорят, будто ты в лесу сгинул, – соседский парнишка самый языкастый ему сообщает.

– Сам теперь видишь, что не сгинул. Вот, вернулся...

Тут остальные селяне подошли, кланяются, на мешки его с охотничьей добычей поглядывают, на Бибигу косятся.

– То жена моя, – он им объясняет, – из дальней деревни взял.

– Из чьих будешь? – старик один интересуется. – Что-то не припомню, чтоб жила там такая красавица.

– Приезжие мы, видать, не знаете, – она отвечает.

Ладно, постояли, посудачили, повел Карим молодую жену в дом. А она к тому времени уже потяжелела, ребенка ждала, как и обещала. Стали они в деревне жить, как остальные люди живут ничем от них не отличные. Никому в голову не пришло, что жена у Карима-охотника из рода пэри оказалась.

Но больше всех Камиля переживала, когда узнала, что Карим с молодой женой с охоты вернулся. В тот же вечер к бабке-ворожее кинулась, чуть не плачет:

– Как же ты, дура старая, ворожила? Как случилось, вышло, что охотник вместо меня другую себе в жены взял? А может, ты специально это все подстроила, чтоб надо мной посмеяться? Так я сейчас тебя живо за патлы седые оттаסקаю, чтоб на всю жизнь меня запомнила и другим заказала на-смешничать.

– Что ты, что ты, – старуха на Камилю руками замахала, запричитала, – и в мыслях у меня подобного не было. Чем хочешь поклянусь! Сама не знаю, где он ту девку нашел. По моему раскладу выходило, что должен был он с тобой нынче встретиться, только что-то помешало задуманному.

– А мне тем более про твое колдовство ничего не известно. Садись прямо сейчас при мне ворожить, и чтоб девки той пришедшей завтра же в нашем селении не было.

– Хорошо, хорошо, милая, как скажешь, то все исполню. Только, учти, дорого мое колдовство стоить будет.

– Этого хватит? – Камиля спрашивает и старинный браслет из чистого серебра с камнями в него вделанными, с руки снимает, перед бабкой кладет.

– Ой, дорогая вещица! – та обрадовалась, схватила быстрехонько браслет, в сундук заперла и села ворожить.

Налила в миску чистой родниковой воды, опустила на воду свечку горящую, к дощечке прилепленную, взяла клок кудели бараньей, меж ладошек скатала, зажгла от свечи и ну, ворожить. Долго она чего-то шептала, на огонь дула, зерно заговоренное в воду бросала, устала, умаялась.

– Получается али как? – Камиля ее спрашивает.

– Все получится, коль я взялась, – ворожея отвечает, – не сомневайся, а чуть еще посиди, подожди. Сейчас самый главный заговор произнесу, и он сам к тебе сюда придет, бегом прибежит.

Только она это сказала, принялась сызнова шептать заклинание свое, как страшный ветер поднялся за окнами у избышки ее. И такая у него сила неимоверная, что вот-вот избышку на бок повалит, крышу сорвет,

по бревнышкам раскатает все, как есть. Задрожала колдунья, испугалась, заголосила:

– Ой, что творится, делается! Видать, против меня страшные силы поднялись, мне с ними не совладать, не справиться! Забери свой браслет обратно, но лучше ворожбу нашу на том и закончить, прекратить, а то как бы хуже не было.

– Нет! – девушка ей отвечает. – Коль принялась за дело, то доводи до конца, как уговорились.

Колдунье деваться некуда, стала дальше заговор свой шептать, да только вдруг сильный ветер распахнул дверь в дом, задул свечку, миску с водой перевернул, старуху в угол швырнул, седой головой о стену ударил. А Камиллю поднял, закрутил, на улицу вынес и опустил на верхушку самой высокой ели, что подле деревни росла. Просидела она там до самого утра, а спуститься вниз сама не может, потому как непонятная болезнь перекосила ее всю, всяческих сил лишила. Утром ее ребята соседские увидели, людей позвали, едва вниз стащили, в дом принесли. А она ни словечка сказать не может лишь как рыба на берег из воды вытащенная рот открывает, да хрипит чего-то непонятное. Так она с тех самых пор и осталась немой и сама даже с кровати подняться не могла, целыми днями лежала, в потолок уставившись. А уж о чем она там думала, размышляла, то нам знать не дано.

А бабка ворожея вовсе после той ночи и недели не протянула, померла в страшных мучениях. Ну, ее особо никто не жалел, женщины деревенские бабку ту побаивались, дом ее стороной обходили, а вот про Камиллю долго судачили, удивлялись, что с ней случилось вдруг, за что так девушка наказана.

У Бибиги к осени сын родился. Карим же все добытые за ту зиму шкурки сдал, деньги немалые выручил и на них новый дом себе выстроил, лучший в деревне, на весь сезон на охоту в лес уходить перестал, а лишь ненадолго и быстрее обратно домой. Еще через год дочь у них родилась. Все вроде как хорошо в доме, да только стали соседи замечать, что Карим частенько грустный идет, ни на кого не смотрит, ничего вокруг не замечает. И в гости они сроду никого не позовут, стол не накроют, живут, словно в лесу, дружки бы ни с кем не водят, а все сами по себе, будто мышь в норе, шебаршатся.

Ладно, дети у них подрастать начали, тут Карим и совсем охоту забросил, а купил двух коров, овец, нанял к себе в хозяйство работников, но и сам без дела не сидит, то в стайке, то в поле самую тяжелую работу работает, рук не покладая. Только стал он замечать со временем, что с Бибигой чего-то неладное твориться: молчит сутками, с детьми не играет, одежду не шьет, еду кое-как сготовит и все сидит, в окошечко поглядывает. Он к ней и так и эдак, разговорить пробует, в лавке леденцов накупил, воды сладкой. Нет, не помогает, молчит Бибига и ничего ему объяснить не желает.

Вот как-то вернулся он с поля позже обычного, а жены в доме и нет. Кинулся было к соседям, на речку, с ног сбился, нигде ее отыскать не может. Вернулся в дом, а она на лавке у окошка сидит, как ни в чем не бывало. Принюхался Карим, чувствует от нее лесным духом так и веет, будто бы в траве валялась или по лесу весь день бродила. Спрашивает ее:

– Где же была ты? Куда пропала?

– Родичей своих проведывала, – она ему говорит, а глаз не поднимает, – пришла пора обратно мне возвращаться. Пожили, и хватит. Не могу с людьми рядом жить, не по мне это все.

– Как же так? Или ты не жена мне? У нас дети малые растут. Их на кого оставишь?

– И детей с собой возьму. Они моей крови, пусть при мне и будут.

– Не отпускаю детей! – Карим закричал и дочку младшенькую схватил, к груди прижал, держит, а у самого слезы по щекам текут, сердце в груди разрывается.

Тут откуда ни возьмись, налетел ветер, распахнул двери в доме, закрутил, завертел, дочку от него оторвать пытается. Только Карим все силы собрал, зубы стиснул, за печку одной рукой ухватился так, что хоть топором руби, не отпустит. Сколько времени тот ветер дул, крутил, вертел его он и вспомнить потом не мог, словно в беспамятстве был, а как в себя пришел, глаза открыл, то видит, что все в доме переломано, перевернуто и ни жены, ни сына нет нигде. Только дочка у него в руках плачет, закатывается, дрожит вся от страха. Успокоил он ее, как мог, в доме прибрал, стал думать, как дальше жить. А что тут думать, когда дочь малая на руках, коровы, овцы из стайки голос подают, значит дальше жить надо только уже одному и по хозяйству управляться и дочь на ноги ставить, в люди выводить.

Люди как узнали, что Карим один живет, без жены, шептаться, судачить начали, но помощи своей никто не предложил, не отважились порог дома переступить, лишь издалека ему кивнут, поклонятся и дальше бегут. А каково мужику одному жить, ребенка растить, дом содержать, того добрый человек и врагу не пожелает.

Но время идет, дочь подрастает, жизнь на месте не стоит. Приноровился Карим к своей беде, только почернел, осунулся весь, а ни разу ни к кому за помощью не обратился, в ноги не поклонился, со всем сам управляется, ни топор, ни лопата у него из рук не выпадают. И дочка в отца пошла первая ему помощница, наилучшая в деревне рукодельница. А собой хороша, пригожа, Карим как посмотрит на нее, возрадуется и жить, работать веселей, когда месяц ясный в доме светит. А еще замечал он за дочкой, что от любой болезни скотину вылечить могла, стоило ей пошептать над телушкой или овечкой слова какие-то непонятные.

Как-то пошли они с дочкой на покос сено ворошить, в копны метать, запас к зиме готовить. За работой и время незаметно бежит, полдень наступил. Вдруг начало небо тучами затягивать, того гляди, гроза ударит, сено сухое вымочит, перепортит. Подгоняет Карим дочку и сам спешит побыстрее сено сгрести, до дождя управится. Только голову приподнял, спину разогнул, от работы оторвался, глядь, а перед ним Бибига стоит, жена его бывшая. Он было не поверил, думал чудится, а она говорит ему:

– За тобой пожаловала, чтоб к сыну нашему на свадьбу позвать. Отец как ни как. Завтра женю его. Так что собирайся, со мной отправишься.

– Не могу, – Карим отвечает, – или не видишь, что сено до дождя убрать надо, а то сгниет все, как есть и скотине на зиму клочка корма не будет.

– То не беда, – Бибига ему, – отойди-ка в сторону, да гляди что будет.

Тут она руки подняла, взмахнула, и задул ветер не сказать, чтоб сильный, но порядочный. Поднял тот ветер-дуновей сено с земли, завертел, в одну кучу собрал и ровнехонько на землю прямо перед Каримом опустил. Все, стог готов и грести не надо, хоть завтра с поля домой вези.

Кариму от того не то, чтоб страшно, но не по себе сделалось. А тут дочка к нему подбежала, прижалась, на мать исподлобья глядит, но тоже, видать, встрече не рада.

– Ну, – Бибига усмехается, – принимаете мое приглашение? А то и без вас свадьбу справим, ждать не станем.

Молчит Карим, не знает что ответить. Вроде как и на сына поглядеть хочется, да только за дочку боязно, а вдруг да Бибига ее к себе переманит,

такой же как сама пэри сделает, научит как людям вредить, колдовству разному. Тут вдруг дочка голос подает:

– Не с руки нам на вашу свадьбу ехать, дом бросать. Коль желаете, то в деревне свадьбу справим как то положено, а нет, так поступайте по-своему.

Удивился Карим таким разумным речам своей дочери. Он ее все не-смышленной считал, никогда про мать не рассказывал. Как она обо всем узнала, догадалась, и понять не может. А Бибига в ответ засмеялась, захохотала дико и говорит им:

– Коль вам больше нравится спины гнуть, себе пропитание тяжелым трудом добывать, то живите, как знаете, мешать не стану. Хотела помочь вам, неразумным, да зря время трачу. Прощайте, больше не свидимся... – и исчезла, словно ее никогда и не было. Лишь стог сеной стоит шапкой богатырской.

Давно это было, теперь уж никто про то не вспоминает, а расскажешь кому, не поверят. Но стоит ветру большому на деревню налететь, пыль поднять, закружить вихорки, то люди их стороной обойти пытаются, молитву про себе шепчут, верят, что пэри, прежде чем появиться, ветер наперед себя посылают, людям беду, болезни несут.

А дочь Карима-охотника потом замуж за нашего деревенского парня вышла, до старости прожила, много детей родила. Вот она моей матери бабушкой и приходится, много чего та от нее переняла, чего не каждому человеку знать положено. В деревни уважали ее, потому как скотину от всякой болезни вылечить могла и любому человеку сказать, напорочить, чего ему на роду написано. Просил ее и меня научить, да она отвечала, что мне иной дар дан, а какой – не объяснила. Так и живу, не знаю, о чем таком мать мне говорила, про какой дар. Может, кто из вас знает, мне скажет? Уж я того человека отблагодарю как смогу, могу легенды моего народа хоть целый день рассказывать.

Медвежий род

Медведь на земле задолго до человека появился, наперед него хозяином всей сибирской тайги сделался. А когда наш народ на эту землю пришел, поселился, то завсегда с хозяином в мире, дружбе жил, законов неписанных не нарушал, относился к нему с полным почтением, уважением. Даже, если разговор о нем в доме или ином где месте зайдет, то звали его не иначе как Бабай, будто старейшину рода, по-особому. Нельзя сказать, чтоб народ особо медведя боялся, коль в лесу с ним случайно кто встретится, задирать, нахальничать не станешь, то и он тебя не тронет, с миром отпустит. А уважали люди медведя за особые повадки с человечьими схожие, за то, что мать детенышей своих сроду в беде не бросит, на выручку придет, смерти не побайтса, а их отстоит.

Да и медведь в отличие от многих зверей человека нисколько не боится и если тот в неурочный час в его владения пожалует, то непременно навстречу выйдет, заревет грозно, предупредит, попугает, мол, нечего не спросясь тут хаживать, прогуливаться. Потому человеку лишний раз лучше в темный лес не заходить, не соваться от греха подальше, для себя же спокойнее.

А уж сколько историй разных про медведей в наших краях рассказывают, о том можно неделю слушать и все одно всего не переслушаешь. В нашей деревне, верно, человека не найти, кто бы в лесу на хозяина здешних мест

в сенокос или на рыбалке, а особенно, когда малина поспевает, случайно не наткнулся. Бывало, как рыкнет он из кустов на ягодников, что малину собирают, до которой он сам большой охотник, то бабы лукошки с ягодой побросают, не помня себя на утек, пустятся, только пятки сверкают.

Может он и корову, а чаще телку или бычка от стада отбившихся задавить, а потом валежиной, лесиной привалить, чтоб лежал под спудом дня два-три, подпротух чуть, то его медвежье первое лакомство. Бывает и человека лапой так по башке двинет, что тот без памяти день пролежит, а потом, коль жив останется, то лет десять сам по доброй воле в лес сунется. Всякое бывает, разное случается на этом свете, но чаще всего сам же человек во всем и виноват: коль смолоду ума не нажил, то и на старости лет грех жаловаться.

И мне случалось с косолапым нос к носу встречаться по собственной оплошности, да расходились каждый раз мирно, он в одну, а я в другую сторону, поскольку мне заветное слово известно, которое от соседей наших узнал давным давно. А те его от отца к сыну передают, сказывают, поскольку с медведем в кровном родстве состоят. Вот про эту историю, видать, и расскажу вам сегодня, чтоб и вы знали, помнили: коль со зверем по-людски, по человечески обойтись, то и он вам добром ответит.

Когда я еще мальчишкой был, по деревне босиком бегал, на палочке верхом скакал, то хорошо запомнил, какая история с соседями нашими приключилась. Они от нас через дом жили, на одной улице, фамилию носили Мирясовы вроде бы... Потом съехали в другую деревню, но народ-то помнит, как все было, случилось.

А вышло так, что старшая их дочь, Танзиля, замуж вышла за молодого парня. Его имени уже и не припомню, да и не в нем дело, а как дальше судьба интересно всем распорядилась, боком к Танзиле повернулась. И года они не прожили, как муж ее утонул на рыбалке в сильную грозу, едва через неделю нашли его в тальнике малые ребята, что купаться отравились. Ладно, схоронили его по нашим обычаям в тот же день, пока солнце за кромку леса не опустилось, а Танзиля уже на сносях ходила, не сегодня-завтра родить должна. Только как она мертвого мужа увидела, то так по нему так плакала, убивалась, что в тот же день и родила мертвого ребеночка, его вместе с отцом и похоронили, в одной могилке они и успокоились навсегда. Прочел над ними мулла молитву общую, но тем дело не кончилось, а вышло ему продолжение необычное.

Отлежалась Танзиля после родов день, другой, встала едва живая, а родители мужнины и говорят ей:

– Невестушка, дорогая, не хотим неволить тебя, держать в доме вместо работницы. По законам нашим, коль калым отцу твоему сполна уплачен, то и жить ты должна до самой смерти здесь, при нас. Но и так на тебя две беды одна за другой свалились, обрушились. А потому, коль пожелаешь, то возвращайся обратно к своим отцу, матери, авось тебе там полегче будет. А коль Аллах даст, то сызнова замуж за хорошего человека выйдешь. Согласна ли ты на такое наше предложение?

– Спасибо вам, люди добрые, – она им отвечает, – как скажете, так и сделаю. Думаю, отец с матушкой меня в дом обратно примут, не чужая им. А коль пособить в поле или по дому надо, то только кликните меня, мигом прибегу и любую работу выполню.

Всплакнули старики на такие ее слова, проводили с миром в родной дом, остались одни горе мыкать, слезы по сыну раньше срока погибшему проливать.

Только и Танзиле в родительском доме не сладко пришлось, коли там и без нее братьев да сестер почитай десяток с лишком. Всех одеть, обусть, накормить надобно, а тут еще она, вдова молодая. Родители хоть вида и не показали, но у Танзили и у самой глаза есть, видит, как они с утра до вечера по хозяйству бьются, маются, чтоб концы с концами свести, хоть какое-то пропитание себе и детям добыть.

Принялась Танзиля с ними вместе наравне самую тяжелую работу выполнять, ни в чем от отца с матерью не отстает. Встанет раньше всех, когда солнышко еще только собирается на краешек неба взобраться, первый свой лучик пустит, мир земной осветит, росу на траве, на деревьях ночную высушит, пташек лесных пробудит. А Танзиля уже к речке с ведрами бежит, воду в дом несет, скотину поит, с подойником под корову садится, чтоб братьям, сестрам свеженького парного молочка нацедить, как глаза со сна раскроют. Мать с отцом смотрят на нее, не нарадуются, что такую помощницу вырастили, будет, кому на старости лет за ними ухаживать, тепло, уют в доме поддерживать.

И все бы ничего, может так и жили бы они дальше, да только начал на Танзилю деревенский богатеи Акрин поглядывать, всякие подарки ей дарить, приглашать на лошади покататься, в город с ним съездить, на людей городских поглядеть. Акрин тот по соседским деревням шкуры скупал, на ярмарку торговать ездил, товары оттуда привозил разные, на том и разбогател. Было у него уже три жены, а все, видать, мало, коль на молодую вдову глаз положил, проходу ей не давал.

Уж Танзиля от него пряталась, украдкой, подле огорода с речки домой крадется, пробирается, ан нет, все одно тот ее выследит, масляные глазки щурит, улыбается, руки тянет, обнять норовит, слова пакостные разные шепчет. Танзиля вырвется, вспыхнет как маковый цвет, домой прибежит, в кладовке, где укроется и даст волю слезам, а как выплачется, слезинки вытрет, чтоб отец с матерью не заметили чего худого, к ним выйдет и вновь за работу примется как ни в чем ни бывало.

Только те примечать начали, что с их дочкой старшей неладное что-то творится, делается, попытались узнать, выпытать, а та молчит, мол, о муже раньше времени погибшем, ее вдовой сделавшим плачет, сокрушается. Ладно, те вроде как поверили, но только зорче за ней присматривать начали, не ровен час, как бы с девкой чего худого не вышло, не случилось.

А Танзиля как по хозяйству управится, стала в лес по ягоды одна без подружек хаживать, землянику, что поспела собирать, все к столу хоть малая, да подмога. Опять же от Акринина подальше, себе спокойнее. Полдня походит и кружечку насобирает, обратно домой спешит.

Только прознал Акрин про то и как-то скараулил ее на опушке, спрятавшись под березкой плакучей, а как она мимо пошла, выскочил, за руки схватил, к себе прижал, притянул, дышит в лицо жарко, целует Танзилю в щечки румяные, слова нехорошие шепчет:

– Ответь на любовь мою и одену тебя с головы до ног в самые богатые одежды, подарю тебе колечко золотое с камешком заморским, будешь первой красавицей на деревне, станешь жить, ни в чем нужды не знать.

– Отпусти, а то закричу, – Танзиля пробует из его рук вырваться, с ненавистью глядит, все ягоды на землю уронила, просыпала.

– Кричи, не кричи, а никто тебя не услышит, на помощь не придет. Одни мы тут. Попалась, птичка, теперь хоть какую песню запой, а кроме меня слушать некому.

– Отец узнает, отомстит тебе за обиду мою.

– Стар твой отец, а братья малы пока. К тому же он мне знаешь, сколько задолжал? Откажешь в любви моей и по миру вас, голодранцев, пуцу, дом себе заберу вместе со всей скотиною.

– Пощади хоть честь мою! И года не прошло, как муж мой погиб, мне его еще оплакивать положено. Неужели и Аллаха не боишься?

– Хватит неутешной вдовой притворяться, – Акрин злиться начал, – сейчас ты в моей власти и не люди, ни Аллах тебе не помогут. Так что лучше соглашайся добром, чем худом, – подхватил он ее тут как перышко на руки, понес вглубь леса от людских глаз подальше, чтоб никто не мог черному его делу помешать, остановить.

– Будь ты проклят навек и весь род твой! – Танзиля закричала, в руках его потных забила, а вырваться силенок не хватает.

И тут вспомнила она древний заговор от всех бед и невзгод, который в малолетстве от бабушки своей слышала и накрепко запомнила. Зашептала его про себя, повторяет слово за словом, поскольку больше ей и надеяться не на кого.

Прошел Акрин шагов сто, притомился, опустил Танзилю на зеленую траву, на мягкий мох, начал ласкать ее, по волосам гладить, платок с головы снимать. А она глаза закрыла и лишь губами шевелит, продолжает заговор бабкин нашептывать.

– Скажи хоть словечко, – Акрин ей в ухо жарко дышит, а пот с него девушке на лицо каплет, а не пошевелишься, не оботрешь, так сильно он сдвинул ее, стиснул, словно медведь облапил.

Только Танзиля про медведя вспомнила, как кусты соседние затрепщали, валежник хрустнул и злой рык послышался. Открыла она глаза и не поверила сразу тому, что увидела. Вышла к ним медведица величины преогромной, а при ней два медвежонка по бокам стоят, глазками поскривают.

Акрин как их увидел, на ноги вскочил, за нож схватился. Знает, что, коль побежит, то медведица все одно догонит, заломает, жизни лишит. Видать, не робкого десятка мужик был, решил недешево жизнь свою отдать, а коль повезет, то и медведицу одолеть. А та грозно так зарычала, на задние лапы поднялась, пасть раскрыла, здоровенные клыки кажет, да на Акрину и кинулась. А тот не будь плох, изловчился, ударил ее ножом под самое сердце, вогнал лезвие по самую рукоять, да от звериных когтей защититься не смог, зацепила его медведица по голове, кожу вместе с волосами сняла, глаз выдрала. Упали оба на землю, а Танзиля сидит ни жива, ни мертва и что делать не знает: то ли Акрину из-под медведицы вытаскивать, спасать, то ли на подмогу кого звать, в деревню бежать.

И медвежата, что при матери были, заголосили, по-своему заплакали. Один в чащу лесную обратно кинулся, а другой стоит, где стоял только скулит так жалобно. Танзиля подхватила его на руки и бегом в деревню кинулась, рассказала там отцу и соседям, что на крик ее сбежались, что медведь на человека напал, а обо всем рассказывать не стала, промолчала, что за история меж ней и Акримом вышла, приключилась.

Ну, мужики кто вилы, кто топоры, а у кого ружье есть прихватили и в лес всем скопом повалили, только помощь их уже не потребовалась: медведица бездыханная лежит, а Акрин рядом в беспомысленности едва дышит, кровью исходит. Притащили его на руках обратно в деревню, в дом занесли, на кровать положили, жены вокруг хлопочут, ревмя режут, с мужем прощаются. Да только выжил он, а память как есть потерял, кто он и откуда забыл, узнавать людей перестал. Торговлю забросил, а все больше сидел на

лавочке подле дома, прутиком на земле всякие знаки непонятные рисовал, словно в детство впал, так его медведица помяла, покорежила.

А у Танзили в доме медвежонок остался, жить стал. Она его заместо дитя малого растила, приглядывала и даже потихоньку от людей посторонних грудью кормила. Молоко-то у нее после родов осталось, не отошло, вот она и кормила мальчика как дите родное. Даже имя ему придумала, Нургали назвала, так его потом и другие кликать стали.

Рос медвежонок, подрастал, а через год совсем зверем сделался. Соседи ворчать начали, мол, как бы беды не вышло, да и скотина ревет, беспокоится, на двор идти не желает, медведя чует. Вот отец и говорит Танзиле:

– Зачем нам с людьми ссориться, с соседями в разладе жить? Отпусти Нургали в лес, пусть живет как иные звери.

– Как же я отпущу его, когда он среди людей вырос и сам себе пропитание добыть не сможет, за себя не постоит, – Танзиля заплакала в голос, до того ей Нургали собственной грудью вскормленного жалко стало. Что и говорить, привыкла она к нему, и он ее во всем слушался, словно мать родную.

– Ой, дочка, – отец ей отвечает, – зверь он зверь и есть. Никак его человеком не сделаешь, по-людски жить не научишь. А в лесу он не пропадет, за то не переживай. Голод ни тетка, он мигом все свои повадки вспомнит, всему как есть научится. Иного выхода нет, а то народ осерчает на нас, разговаривать перестанут, а то еще чего доброго убьют тишком воспитанника твоего.

Делать нечего, поплакала Танзиля незаметно, да и стала прощаться с Нургали. Привязала ему на шее ленту голубую и свела в лес в самый дальний урман, взяла хворостинку с земли, хлопнула его по боку, чтоб он обратно следом за ней не пошел и говорит:

– Век не забуду, как твоя мать меня из беды выручила, от позора несмываемого спасла. Но и ты не забывай как я тебя кормила собственной грудью, собакам в обиду не давала, от злых людей берегла. А потому прошу тебя: коль встретишь в лесу кого из моих родственников, то тоже не трогай их. Помни, что ты теперь родня нам, но вот жить вместе мы никак не может. Иная у тебя судьба. Все понял?

А Нургали ее внимательно так слушает, урчит чего-то, по-своему головой лохматой качает, принюхивается к новым незнакомым запахам и словно все ее слова понимает. Повернулась Танзиля и пошла обратно в деревню, а сама думает: «Наверняка он за мной увяжется, обратно в деревню возвратится...» И обернуться боится, чтоб тот к ней не кинулся, а то не выдержит, приведет с собой обратно.

Но тихо все сзади, лишь лес шумит, да дятел где-то по трухлявому дереву стучит, а так больше ничего не слышно. Прошла Танзиля полпути, не выдержала, оглянулась. Никого. Хотела крикнуть, позвать Нургали, да вовремя спохватилась. Вздохнула тяжело и потихоньку дальше пошла.

Год прошел, а может и больше. Несколько раз люди сказывали, что встречали в лесу медведя с голубой лентой на шее. Он от них не убежал, но и на голос не шел, а лишь смотрел внимательно, будто ждал кого. Узнает о том Танзиля, кинется в лес к тому месту, где медведя встретили, зовет: «Нургали, Нургали! Выйди ко мне, дай посмотреть на тебя какой ты стал...» Только никто к ней не выходит, на зов не откликается, так ни с чем и уходила обратно.

А потом посватал ее тоже вдовый мужик из соседней деревни. Родители согласие дали и переехала она к новому мужу, стала в его доме жить. Начали у них дети на свет появляться, первым сын родился отцу на радость,

что помощник вырастет. Танзиля и назови его Нургали ничего мужу про случай с медведем не рассказав, чтоб лишних пересудов не было. Вырос Нургали, юношей стал и больше всего любил в лесу пропадать, сколько его отец и мать не ругали, не наказывали. Никак его не удержишь, все одно сбежит и допоздна бродит где-то, вернется весь в колючках, в иголках хвойных, смолой перемазанный. А однажды и не вернулся ночевать совсем. Подождали до утра, родню с собой позвали, пошли Нургали в лес искать. Ходят, аукают, в колотушку стучат, да он не откликается. Или зашел далеко или случилось что. Танзиля, понятное дело, в слезы, муж брови хмурит, молчит, что делать, как быть и не знает. Время уже к вечеру близится, солнце на закат клониться, скоро ночь наступит, а они никак парня сыскать не могут.

Вдруг Танзиля плакать перестала, платок на голове поправила, да и заявляет решительно так:

– Идите все по домам, а меня одну оставьте, сама сына сыщу.

– О чем ты, жена? – муж к ней кинулся, испугался, не тронулась ли она умом от горя такого. – Где это видано, чтоб женщина одна на ночь глядя, в лесу осталась. Ты как желаешь, а я тебе не согласие на то не дам

– Хочешь, чтоб из дома ночью сбежала? – Танзиля ему отвечает. И такой у нее голос уверенный да решительный, что не стал муж перечить, собрал родню и пошли они обратно в деревню.

Как Танзиля увидела, убедилась, что никого рядом нет, ушли все, то зашептала негромко то самое заклинание, что от бабки родной когда-то слышала, которое один раз уже помогло ей, от позора спасло, медведицу из леса вызвало. И часа не прошло, ночь еще на землю не упала как, словно шум какой до нее сзади донесся. Повернулась, а из кустов огромная голова медвежья высунулась и точно, на нее в упор глядит.

– Ты ли, Нургали? – вскрикнула она радостно. – Признал меня? Подойди ближе, дай погладить, поласкать... – Но стоит медведь и шага не сделает, только голос ее внимательно так слушает, да башкой с крутит. – Не хочешь? Ну, как хочешь. Помоги тогда мне сына родного найти, что вчера в лесу заблудился. Ты наверняка знаешь, где он есть.

Рыкнул медведь коротко, носом воздух втянул и пошел мимо нее куда-то. Танзиля следом бежит без остановки, не замечает, как ветви ее по лицу хлещут, корни деревьев за ноги цепляются. Сколько она так за медведем бежала и не помнит. Вдруг остановился он, повернул голову к ней и рыкнул опять. Танзиля глянула, а прямо перед ней ямина водой промытая высотой в человеческий рост, а на дне лежит сыночек ее Нургали и жалобно хнычет:

– Прости меня мамочка, что не послушался тебя с отцом и в лес без спросу ушел. Не заметил эту ямину, провалился в нее, ногу подвернул и наверх вылезти не знаю как.

– Да то, сыночек, не беда, – Танзиля ему отвечает, – сейчас я тебе помогу, и отправимся домой потихонечку.

Сняла она пояс от платья, связала его с платком своим, опустила на дно ямы, а Нургали ухватился крепко, и вытянула она его наверх, к себе прижала, не замечает, как от радости слезы по лицу побежали, потекли ручейком тоненьким.

– А это кто? – вдруг вскрикнул Нургали и рукой на медведя показывает, что рядом стоит, мордой вертит.

– Не бойся, сынок, то брат твой названный. Я его, когда тебя на свете еще не было, своим молоком вскормила, на свободу потом выпустила. А

он видишь, как меня отблагодарил, указал, где тебя искать. Спасибо тебе, Нургали, что добро не забыл. Ступай теперь с миром...

Тот рыкнул тихонько и в лесу скрылся, словно растаял, даже ни одна веточка не шелохнулась.

– А почему ты его, мама, моим именем назвала?

– Да уж так вышло, что одинаковые у вас имена. Ничего в том плохого нет. Пошли лучше потихоньку, помаленьку в сторону деревни, чтоб по свету добратся.

Когда наши деревенские о той истории узнали, то стали Нургали медвежонком дразнить. И впрямь он чем-то на медведя походил: косолапил здорово, ходил чуть руки раскинув, ну, медведь и медведь по всем повадкам. А уж какая у него силища объявилась, когда он в лета вошел! Никто с ним справиться, совладать не мог. Да он и не скрывал, что через мать в родство с медведем вступил, а наоборот гордился тем.

И если вам когда придется человека встретить, что ходит вразвалочку, ногами косолапит, а руки так держит, словно два бочонка под мышками несет, то знайте – не иначе как он из того самого рода, с медведями, лесными хозяевами, в родстве состоит. Это и хорошо, когда все вокруг братья и зла друг на друга не держат, а лишь помогают один другому. Вот, если бы весь народ на земле так жил... Может, когда и будет так. Как думаете? Доживем мы до такого дня?

Яль-Мамыш и Анима-хромоножка

Трудно человеку жить, когда друзей вокруг него мало, а еще трудней, когда друзья тебя предать, в беде кинуть могут. Потому дружба во все времена дороже золота ценится, на дружбе мир крепится, держится и земля вертится. Но еще важней, когда жена тебе не только помощница, но и друг, готова за тебя и в огонь и в воду, лишь бы семью сберечь, сохранить. Но такую жену ох как трудно найти-сыскать. А уж коль нашел, то стой за нее горой, ни на что не меняй, а коль ополчатся против тебя темные силы, то не поддавайся им. Тогда и друга приобретешь и семью сохранишь, род свой продолжишь.

Жил когда-то давно в сибирском краю человек один по прозвищу Яль-Мамыш. Жил как и все в труде, в заботах. Старых отца с матерью кормил-содержал, зверя, рыбу для них добывал, чем мог помогал. Был он у родителей самый младший, а старшие братья его давно свои семьи завели, детей имели. У них свои заботы-хлопоты, а на Яль-Мамыше старики немощные остались, за ними как за детьми малыми присмотр-пригляд нужен вот и жил младший сын Яль-Мамыш при них заместо няньки и самому о себе подумать некогда. Жениться бы надо, а вечером у него и сил нет, чтоб на гулянку деревенскую пойти да там себе невесту присмотреть-выбрать. Хотя он к тому времени уже и в возраст вошел, усы на верхней губе пробились, борода закустилась бритву требует, всем хорош, да только холост. Оглянуться не успел, как девки молодые, его ровесницы, все замуж повыходили, повыскакивали лишь одна хромоножка Анима осталась без мужа в родительском доме. Народ над Яль-Мамышем подсмеивается, только что пальцем в лицо не тычут, в спину насмешничают-дразнятся: «Наш Яль-Мамыш один как кукиш! Некому его приласкать-приголубить, еду сготовить, одежду новую сшить. Ходит оборванцем, словно голь перекатная». Молва людская да языки злые

кого хочешь доймают-достадут, на всю оставшуюся жизнь припечатывают.

Так и шел год за годом, бежало времечко вслед за солнышком: вроде недавно встал, а уж спать ложиться пора, вчерашний день ушел со двора. И родители Яль-Мамыша с каждым годом не молодеют, а все больше старятся, совсем немощными делаются, болезни да хворости разные их одолевают, к земле клонят. Разве от таких уйдешь, свой дом заведешь, их на произвол судьбы бросишь, когда испокон века завещано всем и каждому: больше всего на свете родителей любить-почитать, в обиду их не давать, а коль нужно, то и о себе забыть накрепко, лишь бы последние годы они в спокойствии да ласке прожили.

Но порой, когда уже совсем сил не оставалось, приходили на ум Яль-Мамышу думы грешные: «Почему только мне доля такая горькая выпала, а братьев моих старших совсем не коснулась? За что мне такое наказание?». Пробовал он со своими братьями разговор завести, чтоб они стариков к себе хоть на время взяли, к своему хозяйству ненадолго пристроили, ему передохнуть дали, помогли чем могли: когда вместе дружно, то оно и негрузно, а врозь, хоть брось. Только братья о том и слышать не хотят, младшего брата не слушают: у одного своих детей трое, у второго четверо, за ними тоже пригляд нужен, женам их вздохнуть-разогнуться некогда, а у каждой всего две руки, больше почему-то Аллах не дал, а если бы и дал, то и их бы не хватило при хозяйстве таком.

– Уж такая судьба у тебя, Яль-Мамыш, отца с матерью на старости лет кормить-ухаживать, – один говорит.

– Чего хочешь, проси, не откажем, – другой вторит, – а взять к себе стариков не можем. Сам видишь, какое нынче время трудное: рыбы в реке почти не осталось, зверь далеко ушел, чем детей своих кормить и не знаем.

– Терпи, брат, на том свете воздастся...

– Хорошо вам говорить, терпи, а мне каково? Без жены в доме никак нельзя, а кто за меня пойдет? Одна хромоножка Анима в селении осталась, остальные девушки все замужние.

– Вот Аниму и посватай за себя, – один брат советует, – дело не в хромоте, главное, чтоб хозяйкой доброй оказалась.

– Ни за что! – Яль-Мамыш им отвечает, зубы, стиснув от злости. – Лучше век бобылем проживу, чем нелюбимую женщину в дом к себе введу!

– Ну, тебе жить, сам и решай-думай, – братья ему.

Год, другой прошел, а там и десять годков пробежало.... Живет Яль-Мамыш при родителях, словно каторжник при тюрьме-остроге: и воля близка, да караул не миновать. Совсем он загрустил-запечалился и белый свет не мил, коль в полон угодил. А народ в селении их не успокаивается, если раньше в спину смеялись, то потом и вовсе не стали ему прохода давать, куда бы он не пошел: смеются над нянькой при стариках, рожи строят.

Терпел Яль-Мамыш все это сколько мог, но все когда-то заканчиваться должно, а потому решил он с жизнью проститься, руки на себя наложить. Взял веревку, пошел в лес, чтоб вдали от людей удавиться-повеситься. Нашел ветку потолще у березы, что к земле наклонилась, стволом низехонько опустилась, привязал к ней веревку, петлю сделал, голову всунул, глаза закрыл. Стоит так со всем светом прощается. И жалко ему не пожив совсем на тот свет идти, родителей старых без присмотру оставлять, да больно на-смешки надоели, опротивели. Стоит и шепчет тихонечко: «Простите меня отец и мать, что бросаю вас, но нет у меня сил так дальше жить, весь белый свет опостылел...».

Только он сказал такие слова, как слышит голос чей-то:

– Негоже так, Яль-Мамыш, поступать-делать, когда только еще жить начал. Да и пожившему человеку нельзя на себя самого руки накладывать, а уж тебе-то при старых отце с матерью и подавно.

Открыл Яль-Мамыш глаза, удивился, кто это с ним беседу ведет, разговаривает. Глянул вокруг себя, а никого нет. Решил, что почудилось. Опять закрыл глаза, воздуха побольше в грудь набрал, колени подогнул, а тут вновь кто-то говорит ему:

– погоди, Яль-Мамыш из жизни уходить, успеешь еще. Давай лучше вместе подумаем как твоему горю помочь-пособить, авось да что-то придумаем.

– Кто ты такой будешь? – Яль-Мамыш спрашивает, глаза открыл, по сторонам глядит, никого не видит.

– Наверх посмотри, – голос ему советует.

Глянул он наверх и видит, сидит на верхушке березы старый ворон и на него глядит.

– Ты, что ли, птица древняя, вещая со мной говоришь, беседу ведешь?

– А то кто же, – тот ему отвечает, клювом щелкает, – я и есть.

– Как же ты человеческому языку выучился? Откуда такой взялся?

– Я предок рода вашего. Но мало кому дано видеть меня, а тем более речь мою слышать. Лишь во время самых больших невзгод появляюсь, чтоб совет дать, на верный путь направить. Все то мне про тебя, Яль-Мамыш, известно, о всех помыслах твоих ведаю. Потому и явился тебе, чтоб помочь.

– Чем же ты мне, птица, помочь можешь? Как судьбу мою облегчишь?

– Совет дам, как дальше жить, как верно поступить.

– И что же за совет такой дать ты мне можешь, коль живу хуже последней твари земной, горше доли и не придумаешь. Стал я нянькой при собственных родителях. И хоть грех так говорить, но нет сил моих больше участь такую сносить-терпеть да им прислуживать. Никто со мной несчастным породниться не желает, ни один отец дочь свою за меня не отдаст.

– То неправда твоя, – ворон ему отвечает. – Есть в вашем селении такие люди, что согласятся дочь свою за тебя отдать.

– Это кто же? Незамужних девок у нас нынче лишь одна Анима-хромоножка.

– Чем же она плоха, что ты ее невестой не считаешь?

– Известно чем, какая ж из нее работница при хромой ноге будет. Да и известно давно, что Аллах просто так человека не накажет. Знать есть за ней грех тайный, людям неведомый, почему она хромой сделалась.

– О том не тебе судить. Правильно говоришь, что Аллах ее такой сделал, но не за свой грех покарал, а за проступки родительские она страдает. Коль сможешь полюбить ее такой, то и тот грех простится, и твое горе-печаль развеется.

– Да как мне полюбить хромоножку?! Нет, лучше выполню, что задумал и обратно голову в петлю вставлю, – Яль-Мамыш говорит, с вороном не соглашается.

– Тогда страшное проклятие на род наш падет и ни одна женщина не зачнет от мужчины из нашего рода.

– Как же мне ее полюбить, коль сердцу не мила?

– А ты подойди вечером к их дому, послушай как Анима складно песни печальные поет-складывает, то может иначе думать начнешь.

– Только и всего-то?

– На первый раз и этого хватит, – ворон ему отвечает, – а коль печаль-тоска не пройдет, то приходи к этой самой березе в другой раз, еще поговорим-потолкуем.

Открыл Яль-Мамыш глаза и никого не видит. Думает: «Может, поме-решилось мне все это?» Но и с жизнью прощаться ему расхотелось. Пошел домой как ни в чем ни бывало за обычную работу приниматься за старыми родителями ухаживать. А как вечер пришел, родители уснули, на улице стемнело, то он потихоньку со двора выбрался и отправился к дому, где Анима жила.

Идет, а на улице тихо претихо, ни в одном окошке света нет, лишь собаки из-за заборов брешут-гавкают да лошади в стойлах копытами бьют. Ладно, что улицу свою хорошо знал с детства по ней ходил-хаживал каждая ямка ему известна, памятна, вот ноги его сами и ведут, направляют. Вскоре и до дома Анимы добрался. Глядь, а одно оконце в ночи горит-светится, что во двор выходит. Подобрался он поближе, прислушался и слышит голос девичий чистый, тонюсенький песню печальную выводит-поет, а слова такие горестные, что так за душу и берут:

*Как меня мать на свет родила хромоножкой-уродиной,
Анимой назвала да так и выросла одна-одинешенька
Никому не нужна, не мила, нежеланная...
Так и жить мне, мыкаться без любимого,
Детей не родить, в люльке их не качать, не баюкать,
Сын мой невестку в дом не введет,
Дочери косу не расплету, внучат своих не увижу...*

Стоит Яль-Мамыш, слушает песню и не замечает, как у самого слезы по щекам текут, сами катятся, до того его песня девичья тронула, разжалобила.

«Ладно, – говорит себе, – завтра же сватов отправлю к Аниме, а там будь, что будет». С тем и обратно пошел.

На другой день зашел он к одному старшему брату, от него к другому. Сказал-сообщил о своем решении Аниму сосватать, в жены взять. Те и рады-радехоньки, что коль брат их женится, жену в дом введет, то на нее вся забота ляжет с родителями их управляться, мыкаться. Согласились сами заместо сватов идти, Аниму-хромоножку за младшего брата сватать.

Родители Анимы им сразу и согласие дали даже калым не запросили, лишь бы дочку замуж выдать. Яль-Мамыш хоть и не лучший жених, но и такой сгодится, когда других сколь не жди, все одно не дождешься.

Ладно, свадьбу сыграли, Анима в дом к Яль-Мамышу перешла, зажили потихонечку-полегонечку как семейным людям жить положено. Анима хоть и хроменькая да по дому на удивление хорошо управляется, всю работу ведет от других не отстает. Смотрит на нее Яль-Мамыш, нарадоваться не может: и сам сыт, одежда справно подшита, скотина накормлена и старые родители обихожены, за столом рядом с ними сидят, улыбаются.

Только одно плохо, что детей в доме нет. Уже и год и два прожили, а не дает Аллах ребеночка, никак Анима не зачнет, не родит. А однажды ночью проснулся Яль-Мамыш, глядь, а жены нет рядом. Думал, к скотине пошла, на двор выглянул, покликнул жену – не отвечает. Забрался он обратно в постель, решил дожидаться, поглядеть что дальше будет. Слышит вдруг, что соседские собаки, которые каждую ночь брешут от темна до темна, смолкли, а потом и вовсе выть начали, словно медведь где рядом бродит.

«Чего бы это такое значило? – думает он. – Неужто зверь лесной в деревню пожаловал?». Через какой-то срок дверь заскрипела и Анима входит. Показалось Яль-Мамышу или нет, но духом лесным по избе повеяло. Сам он лежит в постели, не шелохнется, понять не может, отчего ему вдруг страшно так стало.

Анима по избе походила, побродила и тоже в постель улеглась, не заметив, что муж не спит. А тот нарочно носом сопит, будто бы седьмой сон видит. Решил за полночь с женой не говорить, родителей старых не будить, до утра разговоры оставить.

Вот утром проснулся он, а Анима уже возле печи хозяйничает, управляется, завтракать его зовет, а сама такая ласковая да приветливая, какой он ее сроду не видывал. Сел Яль-Мамыш за стол, а язык никак не повернется спросить у жены, где это она ночью была-шлялась. Может другой муж и спросил бы строго с жены своей за такие проделки, вожжами или другим чем ее на будущее попотчевал, та бы все ему и выложила. Только Яль-Мамыш другой породы человек был, не любил сторяча что-то делать-решать, а сперва десять раз подумает, прежде чем слово сказать, на дело какое решиться. Так и промолчал за завтраком, слова не сказал за обедом, а как пришла пора спать ложиться, то решил он чутко лежать, собственную жену сторожить, а случай выпадет, то высмотреть, узнать куда это она по ночам ходит, шлындает.

Лежит он так час, лежит два, Анима все на кухне чем-то занята, не спешит спать ложиться, а тут уже петух и полночь пропел-прокукарекал. Слышит Яль-Мамыш как жена к нему подошла, он веки поплотнее смежил, задышал ровно, словно спит крепко, а сам ждет, что дальше будет. Та стояла рядом, послушала, обратно вышла. Слышит он, дверь скрипнула, щеколда на воротах брякнула. Вскочил Яль-Мамыш, первое, что попало, на плечи накинул, ноги в сапоги вдел и следом за ней кинулся.

Видит, Анима по улочке идет на край деревни. И он сзади крадется. Луна на ту пору полная была, светло, словно в горнице при зажженной лампе, каждую былинку близ тропинки видно. Идут они так друг за дружкой: Анима направо повернет и Яль-Мамыш туда же; она налево – и он тем же манером, словно охотник дичь выслеживает. Вышли за деревню, вдоль речки по бережку пошли, а там и кладбище вдали завиднелось, страшно Яль-Мамышу стало, жутко сделалось в такую ночь да на кладбище угодить, хотел было обратно повернуть да сдержался из последних сил. Зубами стучит, весь дрожит, но идет следом за женой-хромоножкой. А та уточкой с одной стороны на другую переваливается, хром-хром дальше идет даже не оглянется.

Вот подошла она к кладбищу, но во внутрь заходить не стала, а остановилась подле старой березы разлапистой, достала из узелочка, что с собой принесла, тряпицу, порвала ее на мелкие полоски, к веткам привязывать принялась, а сама чего-то шепчет, только Яль-Мамышу издалека не слышно: может заклинания, а может и молитву творит. Только молитву и дома прочесть можно, а за полночь да еще на кладбище кто за этим делом пойдет...

Вдруг чего-то как зашебаршит да как гукнет, у Яль-Мамыша все и похолодело внутри, в ушах от страха зазвенело, чуть было бежать не кинулся, но видит – из дупла филин вылез весь белый как снег, на край дупла взобрался-уселся и гукает на весь лес. Зато Анима стоит, как ни в чем не бывало, нисколечко филина того не боится, а голову наклонила и как будто слушает и понимает чего он ей кричит-сказывает. А тут ветер сильный налетел, с головы Яль-Мамыша шапку сорвал, понес. Не стал он шапку

свою подбирать, чтоб жена его не увидела, а отправился побыстрее обратно домой, в постель нырк, и лежит, трясется, ждет жену обратно. Вскоре и та пришла, улеглась как ни в чем ни бывало, уснула быстренько.

На другой день Яль-Мамыш в поле собираться стал, на лавку глянул, а там шапка его лежит, которую он вчера возле кладбища оставил. На жену посмотрел – та молчит. И он ей ни словечка не сказал, отправился делами своими заниматься.

Дела делами, а как дальше с такой женой жить он и не знает. Спросить боится, а вдруг да она его заколдует в птицу или в собаку обратит, коль она со всякой нечистью связана, знается, то где ж ему с ней совладать.

С братьями посоветоваться? Те на смех поднимут, слушать не станут. Родители стары, слышат худо, какие из них советчики. К мулле пойти? Тогда все про связь Анимы с нечистой силой узнают, могут ее и вовсе из деревни выгнать, а как ему жить после? Вот и выходит, что раньше, когда один жил, добра не видел, а теперь и того хуже стало, когда собственной жене не веришь, в недобрых делах ее подозреваешь.

Тут он про ворона вспомнил, который с ним тогда в лесу говорил, в жены взять Аниму советовал. Вот к нему и решил Яль-Мамыш отправиться совета просить, коль боле не у кого.

Пошел в лес, нашел то самое дерево, постучал палкой о ствол, ждет, что дальше будет. Через короткое время слышит, крылья захлопали, глянул, а старый ворон перед ним сидит и человеческим голосом вопрошает-спрашивает:

– Какая печаль-кручина тебя ко мне на сей раз привела? Рассказывай все без утайки и, коль смогу, дам тебе добрый совет.

– Жена моя Анима-хромоножка колдуньей оказалась.

– С чего это ты вдруг решил-вырешил?

Яль-Мамыш обо всем ворону и рассказал: как он ночью за женой на кладбище ходил, как филина белого видел и как тот с Анимой беседу вел, переговаривался. Ничегошеньки скрывать не стал, все как есть выложил.

– Ну, то не большая печаль, – ворон ему говорит. – Колдун не тот, кто добра людям желает, а тот, кто на ближнего злые силы собирает.

– Как это? – Яль-Мамыш слов его не понял, подрастерялся малость.

– Сам видел, что тряпочки к веткам привязывала, шептала чего-то там...

– И что с того? Ты, поди, слышал, что раньше весь народ сибирский не Аллаху, а иным своим богам верил, шаманы болезни лечили, идолам все поклонялись, деревьям дары разные приносили. Анима о том от кого-то, видать, и узнала, и пошла на кладбище тех старых богов молить-просить, чтоб ребеночка родить ей помогли. Все-то и дело.

– А филин откуда там взялся?

– Филин?! – ворон даже на месте подпрыгнул, крыльями забил. – Если филин там был, враг наш извечный, то совсем худо. Ну-ка, расскажи по-подробней еще разок.

Яль-Мамыш снова все пересказал, ничего не упустил.

– Надо мне с главным вороном посоветоваться, жди меня здесь, – взмахнул тот крыльями и в лесу скрылся.

Долго Яль-Мамыш его ждал, смеркаться уже начало, а ворона все нет. Хотел было домой идти, а страшно... Вдруг Анима что-то против него замыслила и только удобного часа ждет, чтоб свое черное дело сделать. Наконец вернулся ворон, уселся на то старое место, а у самого перья взъерошены, встопорщены, будто бы дрался с кем, а в клюве кольцо серебряное поблескивает. Прижал он то кольцо когтями и заговорил:

– Все ты правильно рассказал, так оно и есть. Слетал я с товарищами своими к тому дереву близ кладбища, где в дупле филин, которого ты видел, живет-обитается. Худо дело...

– Совсем худо?

– Про то сказать не берусь, а надо тебе осторожно себя вести с женой своей, следить, что она замыслила. Товарищи мои филина из дупла выманили, а пока он за ними гонялся, то я в дупло к нему залез, и кольцо там нашел. Возьми его, носи покуда. Не простое оно, а заветное, надо думать.

Взял Яль-Мамыш кольцо, примерил – в самую пору на средний палец подошло, как по его заказу сделано. Присмотрелся, а колечко в виде змейки сделано, что сама свой собственный хвост кусает-заглатывает. И вправду не простой кольцо, а волшебное.

– Как же мне себя с женой вести? Может народ позвать и на костре сжечь? Как еще с ведьмами поступать?

– То не ее вина. Родовое проклятие на Аниме твоей лежит. Потому она хромой и отмечена. Еще когда она ребенком была, то злой пэри украл душу ее и сделал своей пленницей и пометил ее, одну ногу укоротив.

– Я о чем и толкую – колдунья она.

– А я тебе говорю, что не колдунья она, но заколдована. Мой младший брат полетел к самому старому ворону, который один на всей земле знает как таких женщин расколдовывать. Как узнает, то и тебе скажем.

– Скоро ли он вернется?

– Не раньше, чем через семь дней, коль ничего с ним не приключится. Дорога дальняя, так что жди. А теперь ступай домой и будь осторожнее прежнего. Как мой младший брат вернется, то мы тебя сами найдем, известим обо всем.

Поплелся Яль-Мамыш домой с невеселыми думами, а ноги и не идут, одна за другую заплетаются. Страшно ему в дом идти, с женой встречаться, которая с нечистой силой дружбу водит, а супротив них разве в одиночку выстоишь. Тут он про кольцо вспомнил, что ворон дал, крутнул его на пальце и сразу на душе веселей сделалось, другим человеком себя почувствовал.

«Знать, действительно не простое то кольцо, коль на душу человеческую влиять может, грусть на радость менять, – подумал он. – Спасибо ворону, мудрой птицей, что дал мне его. Может и выстою супротив темных сил...».

Домой пришел, а жена его с улыбочкой встречает, на стол накрывает, ужинать зовет. Сели за стол тут Анима кольцо у мужа на руке и увидела, спрашивает:

– Откуда оно у тебя взялось? Вроде раньше его у тебя не видела.

– Старший брат подарил, – Яль-Мамыш отвечает первое, что на ум пришло.

– Старинное, поди, кольцо?

– Да, очень старое. Никто и сказать не может сколько ему лет. Из других стран, видать, кем-то завезено.

– Дай поглядеть, – Анима руку протягивает. Яль-Мамыш не долго думая, снял кольцо с пальца, ей подает. Она попробовала было примерить и вдруг как охнет, затрясло ее всю, на пол рухнула, бьется, глаза закатились, пена изо рта пошла.

Ну, Яль-Мамыш догадался, в чем дело, стянул кольцо с пальца жениного, себе обратно надел. Та в себя пришла, и понять не может, что с ней было, случилось, ничегошеньки вспомнить не может, по сторонам глядит, дико так озирается. Но на ноги все же поднялась, воды глотнула и тихо-нечко так заговорила:

– Сознание, зная, потеряла. Воду с реки сегодня таскала, может и проняло меня.

– Может, быть, может быть... – Яль-Мамыш соглашается, секрет ей открывать про кольцо волшебное не желает, чтоб жена его чего с тем кольцом не сделала, не сотворила.

Спать легли, Анима первая едва до постели добралась и мигом уснула. Яль-Мамыш рядом посидел, подумал, боится, что жена среди ночи поднимется и опять на кладбище пойдет колдовским делом заниматься. Думал, думал, как бы этому помешать, а потом взял и тихонечко кольцо ей на палец спящей надел, ждет, что будет. А та во сне лишь вздрогнула, но не проснулась даже, только застонала тихонечко и испарина у нее на лбу выступила. До самого утра Яль-Мамыш возле нее сидел и все ему чудится, что Анима сейчас встанет и сотворит с ним что-нибудь дурное. Но вот и утро, петухи закричали. Снял он тогда кольцо с жениной руки, себе обратно на средний палец надел, поспал чуток. И так он шесть ночей подле Анимы сидел, ждал когда она уснет и тихонько кольцо ей на палец надевал. А утром едва живой, не поспавши, на работу уходил.

Пришла и седьмая ночь. Пошел Яль-Мамыш в спальню, но не ложится, ждет, когда Анима следом за ним придет. А та все на кухне своими делами занимается, обещает скоро закончить да все не идет. Ждал он, ждал и уснул незаметно для себя. Спит и снится ему сон, что на их кладбище могила древняя разверзлась, а оттуда мертвец белый-белый встает и, обернувшись филином, в небо взлетает да к их дому направился, в окно бьется, Аниму вызывает.

Открыл глаза и впрямь белый филин в окно клювом бьет, крыльями машет, желтыми глазищами сверкает. И Анима-хромоножка услышала, к окну кинулась. Яль-Мамыш вскочил, схватил жену за руку, к себе тащит, а она отбивается, прочь рвется.

– То мой настоящий муж прилетел, – кричит, –пусти меня к нему! Все одно не удержишь, убегу!

– Успокойся, Анима, успокойся, послушай меня, – Яль-Мамыш раздумить ее пытается, объяснить, что филин белый – злой пэри, который прилетел их погубить. Только не слушает его жена, отталкивает, волосы на себе рвет, хочет вон из дома убежать.

– Не желаю с тобой жить,пусти!

– Ах так! – Яль-Мамыш терпение потерял, снял кольцо с пальца и попробовал жене одеть. Только та не дается, извивается, выскользнула из его рук и на порог кинулась.

Яль-Мамыш за ней. Видит, белый филин подлетел к Аниме, крылья свои огромные на нее опустил, словно саван белый накинул, в воздух поднял, от земли оторвал, полетел в сторону черного леса. Вдруг, откуда ни возмись, ворон подлетает, а в клюве камень голубой держит, Яль-Мамышу подает.

– На, – говорит, – держи волшебный камень, что от главного ворона мой младший брат принес. Кинь его в филина. Если попадешь, то отступят чары от твоей жены, а нет, то простись с ней навек.

Яль-Мамыш камень схватил и чуть не вскрикнул – до того тот горячий, аж руку жжет словно уголь из печи. А филин белый с его женой уже над соседним домом летит, собой луну закрыл, свет застил еще немного и не достать, не докинуть до него волшебный камень. Собрал Яль-Мамыш все силы, размахнулся, что есть мочи, молитву прошептал и... кинул камень в того филина. Полетел камень, будто из пращи пущенный, воздух со сви-

стом рассекает, позади себя свет яркий оставляет, догнал филина и прямо в голову ему угодил. Перевернулся филин в воздухе, вспыхнул ярким пламенем и на землю упал, лишь искры в разные стороны полетели-посыпались. Подбежал к тому месту Яль-Мамыш, а жена его, Анима, лежит руки раскинув и не дышит совсем. Подхватил он ее, в дом понес. Там уже родители проснулись, из своей спальни выползли, плачут, понять ничего не могут, что случилось не ведают. Положил он Аниму на лавку, родителей старых успокоил, велел спать идти, сам сел рядом с женой и не знает что делать, как ее в чувство привести. Тут вспомнил про кольцо, снял с руки, ей на палец надел. Она и вздрогнула, глаза открыла, спрашивает:

– Где это я? Что со мной было?

– Ничего, все прошло, – Яль-Мамыш ей отвечает. – Самое страшное позади, слава Аллаху, остальные беды сами как-нибудь переживем, все и наладится.

Встала Анима с лавки, к столу пошла... Яль-Мамыш присмотрелся, а жена-то не хромот больше! Выходит, спало с нее наваждение колдовское, прошла хромота. Обрадовался Яль-Мамыш, засмеялся, закричал на весь дом:

– Спасибо тебе, ворон, что помог со злыми силами справиться, расколдовал жену мою!

...А вскоре Анима ему сына принесла, а через год другого. И зажили они не хуже других и были счастливы до самой смерти.

Эту сказку мне еще дед мой рассказывал, говорил, что в родне нашей кто-то был из рода Яль-Мамыша, на которого все несчастья разом обрушились. Но выстоял он и нам завещал от беды не прятаться, не бояться, а стоять против нее до конца, пока не одолеешь. А коль справишься с ней, себя пересиличишь, то совсем иная жизнь тебе откроется и добро, что сотворил, детям твоим передастся. С тем и живем, что слова стариков помним, чужого не желаем, но и свое не отдадим.

ПОЭЗИЯ

Леонид ТКАЧУК

* * *

Ах, как юность коротка!
Восхитительное чудо!
Отхлебнул лишь два глотка –
И пора сдавать посуду.

Всё проходит – ну и пусть!
Без обиды попрощаться,
Не держать на сердце грусть
И к истокам возвращаться.

Испариться в синеву,
Чтобы вновь из ниоткуда
Вдруг возникло наяву
Восхитительное чудо...

Иван-чай

Давно не стало нашего гнезда.
Сгорела страсть – осталось пепелище.
Скажи, зачем вернулись мы сюда?
Зачем в золе любовь былую ищем?
Когда огонь сметает города
И роци беззащитные калечит,
Нам кажется, ничто и никогда
Обугленную землю не излечит.
Но на горькой земле
И на чёрной золе
Не заря разлилась невзначай –
Нам надежду даря,
Зацветает не зря
Иван-чай...
Земли родимой материнский дар
Своих сынов напоит и накормит –
Пусть из цветов целебный пьют отвар,
А хлебом в лихолетье станут корни.
Загадывать вперёд я не берусь,
Но на душе становится светлее –
Над пепелищами твоими, Русь,

Цветы любви вернувшейся алеют.
Вновь на горькой земле
И на чёрной золе
Не заря разлилась невзначай –
Нам надежду даря,
Зацветает не зря
Иван-чай...

Чёрная гитара

В этом доме старом Одиноко мне. Чёрная гитара Зябнет на стене.	Ночь тебя точила Всю из темноты – На одну дивчину Так похожа ты!
До утра исчезну – Спрячусь за стеной. Зеркало любезно Чокнется со мной.	С нею мы не пара, Но судьбы не жаль – Чёрная гитара – Светлая печаль...
Чёрную гитару На руки возьму. Чёрную гитару Нежно обниму.	За окошком чёрным Светятся огни. К чёрту лад минорный! Новый лад начни!
И сгорю пожаром, И себя не жаль. Чёрная гитара – Светлая печаль...	Мы ещё не стары! За порогом – даль. Чёрная гитара – Светлая печаль...

Чайка

В реве штормового океана
Птицы одинокой труден путь.
В поисках земли обетованной
Белым крыльям надо отдохнуть.

Перед взглядом утомленной птицы
Пенный танец разъяренных волн,
Ледяные отблески зарницы
И тяжелый мутный небосклон.

Что плывет в колеблющемся свете?
Птица села на смоленый край...
Я прошу тебя, соленый ветер,
Передышку утомленным дай!

Но над передышкой минутной
Встала буря вздыбленной водой –
Разве сможет стать обломок судна
Помощью застигнутым бедой!

Птица чудом вверх взлететь сумела.
Засияли крылья белизной.
И рванулось маленькое тело
Ввысь, где реял ветер вороной.

В схватке с ветром над морской могилой,
Где над слабым нависает смерть,
Пусть в ее груди достанет силы
Отыскать спасительную твердь!

Абалак

Облакам над Абалаком века.
В поминание усопшим кресты.
Здесь господня обитель близка,
Здесь Господь на нас глядит с высоты.
А в земле монастыря черепа.
Каждый череп быстрой пулей пробит –
Их потомков любопытных толпа
В сувениры превратить норовит.
Устремился к облакам Абалак,
Растревожил колокольную медь
В жажде вымолить божественный знак,
Над земною суетою взлететь,
Воплотить душистым ладаном лад,
Воцарить миропомазаньем мир...
Облака над Абалаком лежат –
Между Господом лежат и людьми...

* * *

Там, где добрые кедры Под ветрами шумят, Где в таинственных недрах Неизведанный клад,	Светят окна избушки От дорог в стороне. Там сорока стрекочет У тесовых ворот, Умываясь, пророчит Гостя ласковый кот,
Где зима бесконечна, Ослепителен снег И прозрачная речка Начинает разбег -	Там не ведают злости, Там улыбка светла, А случайного гостя Ждёт пирог в пол-стола...
У таёжной опушки, В заповедной стране,	

Где ты милая

Где ты, милая, затерялась?
Нет и нет от тебя письма.
Два словечка - такая малость,
А без них терема - тюрьма!

В тучах солнышко заплуталось,
Забросала метель дома.
Заковала меня усталость,
Застудила меня зима...

Лучик тёплый - такая малость! -
А без солнышка тьма и тьма...

Где ты, милая, затерялась?
Без тебя я схожу с ума...

Акын

О чём ты поёшь, акын –
Степей азиатских сын?
Мне дорог другой народ
И песни иных широт.
Но в сердце мое проник
Напевов твоих родник.
В тревожном напеве струн
Я слышу степной табун
И вольного ветра гул.
Ты юность мою вернул!
У жизни один язык –
Я понял тебя, старик,
Степей азиатских сын.
Спасибо тебе, акын!

Город Солнца

Город Солнца возник – воплотилась мечта Кампанеллы.
Устремил к небесам золотые свои купола.
И блаженная радость вокруг не имеет предела!
Всех убогих и сирых дорога сюда привела.
Город Солнца построен! Здесь властвует Солнце повсюду!
Ослеплённым глазам невозможно взглянуть на мечту.
Новый Навин прибил к небесам раскалённое чудо
И отныне во веки веков истребил темноту.
Справедливое солнце здесь всех уравнило без битвы –
И бесценный алмаз, и ничтожный осколок стекла.
К справедливому солнцу возносятся наши молитвы.
И по красным углам вместо хмурых икон зеркала.
Истребило болота и льды справедливое солнце –
Места ныне и присно под небом достаточно нам.
Вечный солнечный день. Лишь по карточкам тень продаётся,
Но доступна без меры высоким священным жрецам,
Предназначенным солнцу молиться с младенческой зыбки
До последней минуты, когда даже сказка мертва,
Будто медные лысины или вставные улыбки
Ярче всех отразят ослепительный блеск божества.
Ослеплённые светом, добра от добра мы не ищем –
Льётся золото с неба убогому прямо в суму.
Половодье горячих лучей захлестнуло жилище,
Богадельни, приюты, притоны и даже тюрьму.
Для голодных пасётся несметное заячье стадо –
Жирных солнечных зайцев домой на обед принесу.
Справедливое вечное солнце не знает пощады –
Словно манну небесную я призываю грозу...

ПРОЗА

Александр МИЩЕНКО

САВАОФ*

(Повесть в контексте романа «Байкал: новое измерение»)

Опыт реминисцентной прозы

Часть первая

В этот приезд домой в родную деревню Таловку отпускник Никита Долганов окунулся в дрожащее над всем Прихоперьем марево. Небо, кажется, занялось огнем. Палит безбожно. Как подстреленные, ползают под соснами в горячих песках, раскрылившись, с широко разинутыми клювами, грачи. Дрожит в мареве раскаленная, что печная плита, степь, где-то начали уже возгораться травы, и в воздухе витают запахи степных пожаров. На выгоне глухо стонет, хватая раскаленный воздух ртами, большое козье стадо. Мекнет одна-вторая тваринушка и цепенеет от зноя и тишины смолкнувших воздушных, ни свежего звука, ни облачка. Жарит безжалостным огнем. Стонут будто от пекла чахлые колосья ржи на полях, изнывают травы, ожидаючи, как сказал бы Поэт, «маленькую зябкую капельку дождя».

На другой стороне улицы, напротив Долгановых, сидит в серой нательной рубаше богомольный дед Саваоф. Волосы его выцвели и стали светлыми, как пух у шара одуванчика, дунь, кажется, и вроде б не бывало их у дедули, станет его головушка голой, как глобус. Выпуклые свилеватые вены на руках говорят о работном прошлом винтового этого человека. Лицо у Саваофа кроткое и умильное, но взгляд у него строго-пронзающий, как у всевышнего. Саваофом его назвали местные парни за назойливые приставания его с рассказом о боге.

Соседка Долгановых баба Поля, проворная низенькая старушка с развалом седых до серебряного свечения аккуратных волос и коричневым родимым пятном на лбу, делающим похожим ее на индианку, говорит сварливо о Саваофе, посвящая Никиту в беды Таловки:

– Хлеце горькой редьки надоел он дурак. «Засуха, засуха за грехи ваши», – трандычит с утра до вечера. Тьфу. Это надо же – ввиду засухи пятьдесят поллитров водки запас, сто пятьдесят консервов и семь чувалов сухарей насушил.

Может, молва прибавила Саваофу, который привык уже к такому сарафанному произволу, водки, сухарей и консервов, но того и другого и третьего у него было действительно было вдоволь. Чувалы с сухарями кто считал? Кто считал гору консервов? Вот водки, той действительно было хоть залейся. Сегодня исполнилась десятая годовщина со дня смерти любимой дочки этого дедули, и ему надо было излить перед кем-нибудь свою печаль и тоску. Вспомнишь тут старое: «Кому повем свою печаль?»

Мимо старика пробежала молоденькая продавщица из хозмага Тайка, которая давно раздражает его короткой юбкой с заголенными чуть не до срама толстыми икрными ногами.

– Срам божий! – ворчливо и весело меж тем в благодушии от пропущенной рюмочки кричит Саваоф.

* Журнальный вариант.

– Как во поле вербы рясны, а в Таловке девки красны, деду-у-шка! – с вызовом пропела Тайка.

– Хворостину возьму, негодница голопопая, – грозитя дед. – Кара будет вам за грехи, голод, неурожай.

Тайка, самая бойкая из частушечниц Таловки, изобразила руками над своей головой гребень петуха, сопроводив «номер» ирокезским вскриком «Ко-ко-ко, ку-ка-реку-у!!!» и частушкой вдобавок:

*Тух, тух, я петух,
С курицей подрался,
Меня курица лягнула,
Я ухохотался.*

Ну, что ты возьмешь с вертихвостки! Старик лишь махнул рукой, смирившись с пересмешницей, но вскоре ястребино зыркнул на бабу Полю, а потом его внимание отвлек мотоцикл, в котором что-то ремонтировал бабкин сын Сеня, бедовая головушка, как думал о нем Саваоф.

Когда-то Сеня был лучшим трактористом в колхозе тут, а сейчас ездил на стройку в город, где устроился такелажником. Три месяца назад его бросила жена, и он совсем растерялся в жизни. Лицо его заросло жесткой щетиной, побурело, и в зеркало он узнавал теперь лишь глаза свои в узких щелках. Они родными еще оставались. Высверкнет на себя Сеня взглядом, трепыхнется волком в западне сердце, и, готовый завывать, Сеня закусит губу. Самому себя-то ему жалче все. Обида начнет жечь его, как неразбавленный уксус. Он покачает головой, смотрясь в зеркало, и прошепчут воспаленно его губы: «Рожа ты моя рожа, на что ж ты, рожа, похожа?» *Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только поштытывают и задумываются часто. А. П. Чехов.* Будь Сеня поэтом, да еще пронзительным таким по чувству, как Сергей Есенин, такой бы под этот свой настрой и стих сочинил:

*Брошу все. Отпущу свою бороду.
И бродягой пойду по Руси...
Провоняю я редькой и луком
И, тревожа осеннюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.*

– Сеня, – крикнул Саваоф, – поди-ка сюда, милоч.

– Здорово, дед, – хрипато басит его молодой сосед, присаживаясь на лавочку. – Чего надо-то?

– Х-мы, – а эт-то кто там с матерью твоей? – вскликивает недоуменно дед.

– Никита Долганов в отпуск приехал из Сибири.

– Никита, приди поздороваться с дедом, сукин ты сын, – кричит Саваоф.

Тот пересекает разбитую машинами улицу, взрыхливая горячий песок, радостно трясет сухонькую легкую руку деда. Душа Никиты переполнена чувствами, он рад каждой животинке в родной Таловке, кошечке и собачке, каждому человеку, каждой травинке.

Саваоф суетливо тянет гостей в избу.

Жужжит в кухонном окне одинокая муха, в нос Никите шибает непривычный для него после Севера и буровых застарелый запах кислой капусты. Старик распахивает створки в горницу, откуда сразу же напахивает ладаном. Оконца заклеваны мухами. Глядя в угол с лампадкой, Саваоф призадумывается и с думностью же в лице говорит:

– Икона вчера упала у меня в горнице.

У Сени бровь одна шевельнулась.

– Неуж к покойнику?

– Гребтится мне, что так, кубыть.

«Какой покойник? – думает удивленно Никита. – Кроме деда нет в доме никого. Дед бойкий, как солдат, германца воевавший. Что-то есть в нем от солдата из «Свадьбы в Малиновке» Хоть и на вершке, в справе-то по-стариковски.

Саваоф елозит сухой тряпкой по столу, вытаскивает из сундучка блестящую стеклом поллитровку, чашку с огурцами, открывает банку с мясными консервами.

– Не жирно ли? Так угощать – жид задавился бы.

– Ешь – не ломайся, милоч: ломливый гость голодный уходит.

– Водка-то ни к чему бы, – добавляет свое Никита.

– Дочку, дочку помянуть надо, милоч, – отвечает дед, смаргивая непрошенную слезу, и берется за рюмку. – Помянем, милые вы мои ребята. Надежда моя была Настя, свет светочек в оконце.

Старик дрожаще, расплескивая, несет рюмку ко рту. Сеня долго цедит водку сквозь зубы, крякнув в завершение, молча хрустит огурцами. Никита призадумывается, вспоминая Настену, потом медленно, неторопливо пьет.

Из красного угла горницы глядят на них несколько почерневших деревянных икон и желтоватый, в точках мушьях наследов численник. Горит лампадка. С икон, с окон, со спинки кровати свешиваются нарядные полотенца – их в девушках еще вышивала покойная ныне жена Саваофа Ефросинья. В горнице с ладанным ее духом старик каждодневно молился и поминал бабку свою, которая век его не обидела и не поугала, немногих покойных товарищей и дочь Настю.

Старик сидит сторбленный, взгляд у него слепой.

– Жизнь, она – тяжелая штука: в портянку не завернешь и голыми руками не возьмешь, – заговорил он. – Очень чижало мне, дорогие вы мои. Я обижен жизнью до конца. Такую дочку имел, драгоценней любого сына. А он сатанюка бил ее и куражился.

– Муж что ли? – вскидывает одну бровь Сеня.

– Он, ирод. Через него тощать стала, тощать и угасла, как свечка. Душу выбил он из нее... А сколько же я на него тянулся, все добро отдал, чище голого гола сам остался. Дом в Урюпине купил – любуйся сударушкой, зять дорогой! Он ее и счастья, и жизни лишил. Теперь как кобель шелудивый в Новопокровске. И матери родной не нужен, ирод, никому. И нету ему счастья. И не будет его таким ветросвистам. Кто кому лихо делает, того лихом и покарает. Пошла душа у дурака этого по рукам – у черта будет!

У автора взметывается в торсион познанный нечаянно у «человека из Ламанчи» Лени Иванова знаемый им по Питеру Виктор Того с его стихом:

*Головки гордой золота кудрей –
что может быть глупее и банальней?
Но я мечусь в истоме сексуальной,
как одичавший в праздности купрей...
В хмельном угаре суетных столиц,
сбежавшие от жен в командировки,
лелеем свои стертые винтовки,
стреляющие в сытых кобылиц.
Но Провиденье тоже ведь не спит:
Тому – букет... А этому вот – СПИД...
(Чтоб воскресить давно забытый стыд!)*

*И, подтянув ослабшую подругу,
уже не скажешь, вспомнив ту подругу:
быть может, счастье – вас держать за руку...*

Сеня впитывает сказанное до словечка.

– Как молотком по голове была смерть ее мне, – продолжает Саваоф. – Бабку в охапку и стрелюю в Урюпин. Приходим в морг-больницу. Лежит наша дочь белая, упокоенная навечно. Вопросает ее лицо лишь, что-то сказать нам хочет Настенька. Бабка упала на грудь ей и в рев, так зареванная и смолкать стала. Говорю ей: «Не поднять Настю нам, Ефросинья. Скрепись, бабка, да и все. Оформлять давай документы». Пришел я на станцию, заявляю начальнику: «Дайте вагон до Новопокровска для отправки мертвого трупа». «Нет», – говорит. Ну, я наседать на этого станционного служку: шлите телеграмму-молонью от моего имени, так, мол, и так, кавалер двух Георгиев я, и будьте добры теплушку мне дать. Отворил полу куфайки я, увидел моих Георгиев начальник и сжалился, выделил вагон... Гроб сделали, стружки набросали, положили Настю, а лицо ее белое все и вопрошает чтой-то, в жизни не разобралась еще дочка. Что хочет спросить, убей меня, прибей ко кресту гвоздями – не отвечу тебе... Бабка воеет, скулит... Прибыли в Новопокровск. Осень, хлюпает кругом, грязища, огни станционные ослепляют. Автобусы в нашу деревню не ходят. Грузтакси в районе у нас не бывает, как ты знаешь. Нашел я шофера, смеловый парень, не боялся грязи. Поехали и скоро врухались по самый пупок. Не рассказать тебе, Сеня-милок, как толкали мы с бабкой машину по грязи, везли ее на себе. Бедной Насте никогда уже не знать этого. Привезли все ж домой мы ее. Выбирал я себе место у кудрявой березы – Насте отдал. Под ветками ее плакучими спит доченька. Гроб с телом ее когда стоял в комнате – опустилась с неба лебедь белая и долго кружила над домом. У птицы-то этой был, верно, лебедь, и знала она счастье. Нашу лебедушку не опажнуло его крылом. Услышу теперь лебедей – щемит сердце в разрыв. Может, и душа Насти-лебедушки летит с ними.

Саваоф заплакал беззвучно, слезы в горошину покатались по ложбинкам морщин. Он вытер их тыльной стороной ладони, взглянул опухшими красными глазами на молодого соседа, еще пуще отчего-то залился горемыка слезами, а потом резко поднял рюмку.

– Тяпнем, Сеня.

Никиту не видел он в слепости души на этот момент. Но потом вспомнил о нем все ж и оборотился к таловскому сибиряку.

– Выпей и ты, Никитушка.

Никита отказался от рюмки, а Сеня с дедом выпили.

Старик вновь склонил голову. Как можно было судить его, на каких весах можно было взвесить надежды, страдания и жизнь его? Редкие белесые волосы на голове Саваофа торчали беспорядочно во все стороны, как взвихренная солома на единственной с такой крышей его избе (на других уже давно воцарилось железо). Был этот домик в Таловке такой же утлый, как и его хозяин-дедок. Надо бы чинить его, да кому и к чему? До смерти же дочери дом у Саваофа был игрушка игрушкой, крышу старик крыл сам, и соломку к соломке укладывал и подрезал. Как на выставку. Приговаривал весело тогда Саваоф: «Меньше строй, да больше крой». Верткий мужичок был, а верткий и из петли вывернется. Но где они годы саврасые? Глядя на дом Саваофа, Никита Долганов думал: вот уж истинно, прибереи пенька и будет похож на панка. Но сейчас ни старик сам, ни дом его не вызывали созвучий с панком. Скорее – с некрасовским мужичком,

который от жизни куцей своей и подался по белу свету узнать, кому ж на Руси жить хорошо.

Мгла неразделенного одиночества подъедала, как ржа, самого Саваофа, и его жилище, прошлое их жизней, ставших теперь слитными в прозябании, разрушало само себя в меланхолической красоте разрушения, затягивало так или иначе упорядоченного по-своему некогда времени их паутиной забвения.

Саваоф причесывает волосы, разграблявая, как казалось ему, пятерню негнущихся пальцев, и вновь продолжает горестную свою речь:

– Один я среди стен, как травинка. Три, семь раз в день поплачу. Они со мной, Сеня, не разговаривают, онемело все в доме моем. Я плачу, как Иремия, и из-за тебя матртя твоя плачет каждый день. Я-то вижу все со своей лавочки. Надо жить и радоваться такому молодому человеку, а ты один. Мучает, испытывает тебя судьба. Какую имеешь радость в жизни своей? Или ты сыграл песню, или с дитем порадовался.

Сеня с криком вздыхает и ерзает на табуретке.

– Тяпнем, дед!

– Тяпнем, милоч.

Крякнул после рюмки Сеня, скользом руки губы утер и сказал:

– Не понимает меня жена, вот и ушла.

– У ней сердце к тебе охладело. Ее господь бог вперед тебя покарает за это.

Саваоф еще налил.

– Ты, дед, все подливаешь и подливаешь, – сказал молодой сосед.

– А ты, Сеньк, все выпиваешь и выпиваешь, – ответил дед с веселинкой.

Сеня сидит мрачный, насупистый.

Участливый к людям, а к родным с детства таловцам тем более, Никита молвит лишь мысленно про себя: «Эх, жизнь жистянка. У всех свои беды. Но у нас на Северах все ж веселей. Энергии больше бодрящей».

– Был я дома вчера, – говорит Сеня, – дочь притулилась ко мне и жмет-ся, глаза у нее стонут.

– Вернется твоя сударушка, поклонится, – успокаивает Саваоф молодого соседа. – Она себя понимает сильно. Я, мол, писариха, а он пашет и навоз возит. Ты шею подставил – залюбила она тебя, и они все на тебе катались. Такое хозяйство держать, коров трех, овечек и коз! Приймак – что батрак. Батрачье ж дело хуже, чем телячье. Того худая будь корова, а лизнет. Черен хлеб батрака. Веником ты у них состоял, Сеня. Ты думаешь, что я сижу тут на лавочке один и ничего не вижу? У меня глаза не повылазили. Я за два километра наскрозь все вижу. Воспротивился ты жизни такой – и разлад в семье наступил. Ты еще и сам пока не разберешься в себе, как не разобралась моя Настенька. Душа взбунтовалась – до головы когда дойдет... Ушел ты от тестя. Вырвал жену на самостоятельную жизнь, а в голове у ней мысли старые еще живут.

Старик выворачивает душу Сени наизнанку, мнет ее так, как мнут и дубят кожи.

– Локотки еще будет глодать, но поздно, будет, – отзывается застуженным от горя басом Сеня. – Тяпнем, дед!

Оба горемыки выпивают с кряками. Саваоф, пожевав хлеба, вытирает губы.

– Жить надо, – рассудительно говорит он. – Жена блюди мужа, будь женою ему и матерью, а муж жену сохранять должен, пока дает ему господь жизнь. Самое последнее дело по чужемужним женам шалатся, как кобелю-пустобреху. Праздного бес качает.

Старик повел рукой, словно отодвигая от себя незримую нечистую силу.

– Вторая жена – не жена. Чада бросить и по сударкам ходить – не дело. Вон Шалыгин дурак четвертую взял, детей порассеял – что это? Мотовство. Смолоду кривулина – под старость кокура, вот мой сказ. Что из злаков вырастет этих? Дети злаками добрыми должны расти, а не сорняками. Нет, не будет жизни твоей жинке, и тебе – нет. К тебе быстро прилипнут, дорогой мой. Нужда заставит жениться, жинзя возьмет свое. Пипирка не без чувства.

Сеня рывком, сорвав пуговицу, расстегивает ворот рубахи.

– Душно здесь, дед, выйдем на крыльцо.

Снаружи все так же безжалостно палит солнце, земля дышит сухим жаром. Светило будто вздумало прокалить кирпичи жизни для прочности, и в таком жару пребывала и душа Сени. Воспаленно он жил и просвета не видел в будущем. Бессилен был кто-либо помочь ему в чем-то.

Саваоф глядит из-под руки на солнце.

– Как жжет стерва.

И с так сказал он это, что Никита жар пламени в словах его даже почувствовал. Саваоф, может, и жары всего тысячелетия на Русской земле вспомнил: слухом же полнится и наполнилась она всегда, на бедствия народные память у людей не коротка. А было на земле нашей за тыщу лет все, как беспристрастно записывали летописцы: «Сухмень велика и знойно добре», «Жары вельми тяжкие», «Изгараше земля», «Сухмень бысть», «Боры и болота згораху», «Сухмень и зной велик и воздух курящеся и земля горяше». От дыма «много дней солнца и звезд не было видно». В период «бездождия» в начале XII века почти дотла сгорают Киев, Новгород, Чернигов, Смоленск, что фиксировалось в «Повести временных лет».

Саваоф с Сеней присаживаются под тень забора на лавочке. Никита, сославшись на язвенные боли в желудке, чтоб не принуждали его на выпивку, устраивается на траве рядом и достает из заднего кармана брюк подаренный ему Виктором Козловым томик Рембо. Раскрывает книжку, но ему не читается: внимание приковано к разговору двух горемык.

Старик отрывает полосу от газетки и скручивает, слюнявя, козью ножку.

– Дай-ка, дед, и мне махорочки, – оживляется Сеня.

Старик затягивается и глядит в какие-то ведомые ему дали. В глазах его появляется сизая, как струйка дыма от табака, наволочь.

– Ходил я на поле, – не поворачиваясь к Сене, – говорит он. – Пылью занесло пшеницу. Вот что ветра сделали. Сам ты был трактористом и знаешь, как пахнут сейчас. Завернули по самый пуп лемех, пески мертвые наружу вывернули и ждут хлеба, глупцы, так иху растак.

– Для бурь песчаных самый раз это, – оживляется дед. – Почва закопана, солнца не видит. Мы-то без солнца блекнем. Земля – не рыжая. А вы почву закопали, как похоронили живое, и урожай ждете. Раньше на таловских песках по двадцать пудов ржи на круг брали, теперь – по десять с трудом наскребают. А ныне вообще все сгорит, хоть скот выгоняй на потраву хлебов. Ох, хо-хо!

Старик встряхивается, раскрывает ладонь и показывает Сене.

– Раньше на четыре пальчика пахали мы.

На Сеню словно напахнуло раздольем степи с серебряными ковылями, острым запахом изморосно-белой полыни, ворвались в его душу неумолчные хоры кузнечиков и звоны жаворонков. Вспомнилось ему, как в детстве

шагал он тут цепью с ребятами постарше, Никитой и его сверстниками и со взрослыми полев цветущего картофеля и, шныряя между кустов, вылавливал, снимая с листа оранжевых колорадских жуков, маленьких таких полосатых полумячиков, как поставил тогда рекорд на облове этой, как сказал полевод, что утерли мы нос Америке (оттуда же завезли колорадиков), как пел со взрослыми потом песню о колорадском жуке и о том, что «Трофим Лысенко думает о нем» (надо ж, и эта малява сработала на торсион взлета этого жука в отечественной науке), как познал впервые, может быть, празднично-возвышающую силу труда, светлые узы его, связующие людей в интернационал единого человеческого братства.

После службы на флоте Сеня женился и согласился уйти в приймаки к новым родственникам, в клетях на базу которых хрюкала, визжала и мычала всякая живность (по-настоящему хорошая миниферма или ЧП). Любуясь скотинкой и садом, большим подворьем, тесть говорил ему: «Умрем – все ваше будет». Сколько молодого народу, клюнув на эту сакраментальную фразу, сломало свои судьбы, неисчислимо, наверно!

Говорил тесть в общем-то жизненно и всю-то свою речь он строил из обычных, казалось бы, каменьев быта, не было в них ничего порочного. Неровности камней, однако, образовывали при соединении, накладываясь одна на другую, такую симметрию какая живет в лицах покойников, когда возлежат они в гробу по ритуалу в похоронный день, по которой дома превращаются вдруг в остроги, и тогда только приходило понимание, что камни надо внимательно различать, когда берешься за стройку.

В доме тестя по-бычьи работали, так же по-бычьи и пили: гулянки с могучими возлияниями и обильной снедью олицетворяли достаток (ментальность та еще!). Приймак-батрак работал на всю скотину, как тот жилистый хохол из присловья – на быка, поил, кормил ее, чистил хлева, косил сено. Получалось, как в том присловье: корми быка – он тебя прокормит. Держи, в общем, карман шире... О душе своей забывалось, и зарастала она грязью и копотью (ни дать, ни взять, классическая энтропия духа). Механик таловского откормочного совхоза (соседей тут вместили, как говорили в Таловке, колхоз и совхоз) пьянчугой был, опузырившем животом, и искал только случая, где рюмку сшибить. Агроном попал ни рыба, ни мясо, не умел постоять за свое. Предшественник его Ефим Копытка покоился на погосте, и можно было лишь вспоминать, как исправно и честно тянул он, копытясь, воз со своими агрономическими заботами и как коняга же, невзирая на ранги и должность, регалии разные, мог лягнуть копытом каждого, кто без раздумья совался в его службу, которую он исполнял так, как исполняют службу с думой о боге в церкви.

Без Копытки все пошло наперекосяк, раскопытилось, скажем, играя словом. Трактористы не раз высказывались, что мельче надо пахать. Но их одергивали. Ранжир инструкций: есть, мол, норма двадцать два сантиметра глубины зяблевспашки, и будьте добры, извольте, милейшие, ее соблюдать. В тресте откормсовхозов тоже не дураки сидят.

«Мелем мы землю, никакой структуры почвы не остается, – возмутились механизаторы. – Зубной порошок один, пыль. Пройми-ка ее дождями. Вода свертывается и вглубь не идет. Столько ее набирается – хоть рыб запускай и выращивай их, выполняя Продовольственную программу».

Тогда-то и взбунтовал Сеня.

«Языком зубы выхлестать можно, и все равно никому ничего не докажешь, уйду в город, – решил он, – там порядку больше, не клятый, не мятый, отработал восемь часов и король сам себе, захотел – кино тебе,

телевизор смотри, хочешь – книжки читай, рыбку езжай ловить, Хопер рядышком, под кручей берега городья»

Сеня устроился трактористом в мехколонне, но случилось ему вскоре провожать в армию младшего брата, выпил он тогда на похмелье, сел за руль пьяный и повалил телеграфный столб, и не где-то, а перед окнами райкома партии. Отобрали права у Сени, и пришлось ему идти в такелажники.

В первый день понял Сеня новую свою службу, о которой с мрачной шуткой сказал:

– Служба КП – куда пошлют.

Народ в службе КП был из тех, кто от села отстал и к городу не пристал, любители выпить и подхалтурить. О каждом из таких только что и скажешь по-русски: ни в городе Иван, ни в селе Селифан. Ни трезвь, ни пьянь, полведра выдудлит и ни в одном глазу. Ловушка жизненная, ни в коробе, ни в хомуте. Втягивался и Сеня в эту стихию. Он стал попивать, да круче с каждым днем все и круче и однажды застал свой жилой вагончик, в какой временно поселили его до ввода благоустроенного дома, пустым. Жена собрала вещи и уехала с детьми в Таловку. С этого времени и началась у Сени, как он определял позже, дикая, волчья жизнь, подобная той, какую вели серые в хоперских лесах. Не выдержав кошмарности своего существования Сеня перебрался к матери в Таловку и ездил в город на велосипеде.

А жизнь все туже и туже завязывала на его судьбе узел, и не простой, а морской, если говорить на былом его по матросской службе языке. Ватага такелажников, пользуясь бесконтрольностью, пустила налево машину первосортного кирпича из каких-то особых глин с преобладанием каолинита. Калым был дружно пропит. А коль это дело сошло с рук, ватага шуранула на сторону еще несколько машин кирпича.

После недели угарно-похмельных дней Сеня проснулся ночью однажды в змеино-холодном липком поту и, глядя в черноту ночи, с ужасом понял, что стал вором. Совесть, этот стоящий на страже интересов посол общества в человеке, счет предъявила, и пробудился, заструился в кровотоке вен Сени страх. На улицах, в центре, у присутственных мест, магазинчиков, расположенных в зданьницах бывших купеческих лавок, ему казалось, что люди глядят на него подозрительно, с мыслью, что вор он. Сеня ознобно ежился, ему мерещились милиционеры с красными околышами фуражек, по телу пульсировал холодок страха. А ментовский же народ такой, пронизательные они, унюхливые, как собаки. В таком встревоженном состоянии он и приехал домой.

Залечивала раны после войны страна, и все чаще стала приходиться радость в новую семью дяди Ильи. Нет уже его самого на белом свете, рак вдобавок ко всем невзгодам доел его жизнь дончака и хоперца, что было для того едино. И говорила теперь баба Поля:

– Только и жить стали. А у тебя, сынок, радости как коровьим языком слизнуло. Хоть че ж не радоваться. Хлеб в магазинах и белый и черный, и сайки есть, и плюшки, каральки разные, и другие еще пундики.

Пундики бабы Поля являли собой конфеты, халву и другие сласти, всякую галантерею и вообще все, что выходило за рамки самого необходимого человеку, без чего не прожить.

Сене вспомнилось его детство. Дальний Восток зацепил он краешком своей жизни и мало помнил. Для него заря жизни занялась в хоперских краях, где царил в ту пору в природе «золотой век»: зайцы и лисы по деревьям бегали, дрофы, как гуси, стадами бродили в травах, в реке водились голавли и подусты в руку и на медные пятаки даже клевали. Мать

Сени, спустя не один год уже после расстрела мужа как «врага народа» вышла замуж в городе амурских угольщиков Райчихе. До этого была замужем второй раз, но муж новый на фронте погиб. Первый – от пули своей, советской, второй – от пули немецкой. Одна бедовала, пока муж сестры не вывез ее с детками в Райчиху. Тут и новый поворот случился в ее судьбе. С отчимом, веселым по натуре мужичком-живчиком Ильей детям ее повезло. Жена его попала под бомбежку где-то под Курском. Он же оказался на фронте в окружении и, пережив несколько страшных атак, вплоть до рукопашной, попал в плен. После фашистского плена бобылевал, будучи сосланным в город угольщиков. Не мог рассказывать никогда о Майданеке, плакал всегда, выпив вина и развспоминавшись с другом по плену Ваней Ватеечкиным. Осколком ему повредило глаз, вывернутый наружу красным исподом века, он вообще-то всегда слезился... Не выплакал бывший казачий сын с Хопра горе свое, принесенное ему войной, вот и сочилась у него вечно слеза. Так со стороны могло казаться хоть и на веселый его глаз. Влюбившись в хохлушку Полину, очень привязался к ее ребятишкам.

– Морозец прихватил землю однажды, – рассказывал Сеня Саваофу. – Отчим, папка наш ветку полынную сунул за шиворот мне: вставай, пастушок, мол, – а мы в шалаше жили, когда скотинку пасли. Костер развели, позавтракали. Над рекой туман закружился.

Волновало это все бесхитростную, как степь здешняя, Сенину душу.

– Белотальник засеребрился и осокорь, – продолжал он. – Как свечки в церкви, загорелись огоньки солнца в измороси на траве и листьях деревьев. Чудо прямо, а не утро! Я кнутом щелкаю: поднимайся, куцехвостое племя, кушать вам подано. Рядом зелены были. Загнали мы коз на них, они и давай уписывать их. А корка земная не мнется, посеву не вредит стадо, еще лучше структура у почвы становится. Козы жирными, как коты, за неделю стали у нас.

Забывался в эти минуты рассказа своего Сеня в день, когда зазвал его Саваоф с Никитой помянуть дочь свою Настю, о тяжести, что давом давила его душу. Но кончались слова – власть переходила к другому его настрою. Как в Гражданскую случалось тут у него, но по-своему, естественно: на красную, как заря утренняя, песенную душу Сени наваливалась тоска зеленая. Но лучами света небесного, как сквозь кущи тальника, прорывалось в его сознание детское, то, что знал он больше со слов матери.

Впечаталась в сознание Сени щемящая его душу такая картинка. Мальчонка смотрит, давясь слюной, как маленькая девочка у хлебного магазина ест пончик с золотистой корочкой. Потом он с бурундучьей живостью следит, как она пьет самый сладостный в мире напиток – розовый морс, а у него слепляется все от жажды в горле. Сеня глядит на благоухающую будто майская кисть сирени в шелку своем женщину, стоящую рядом с девочкой и хочет крикнуть ей: «Ну, почему, тетя, вы не моя мама?» Он, маленький голодный зверек-эгоист забывает, что мама с опухшим и желтым от болезни лицом стоит рядом и у нее так же, как у него, кружится голова от голода и пересыхает в горле.

Рядом с ними в железнодорожной слободке жила тетя Нюра, и это новые уже картинки. Сеня помнил желтые сливы, которыми та угощала их. Мужа у нее убили на фронте в первые же дни войны. Она несколько месяцев держалась, потом в разгул, как на ножи, бросилась. Заплевали ее мужички – очнулась, встала, снова жить строго стала. Теперь она умерла и покоилась где-то на кладбище: мертвые не без могил. Память Сени же

хранила те времена, когда связалась тетя Нюра с сектантами. Затащила однажды на моления Сеню с другими ребятами. В доме Душкиных, а там собирались сектанты, велись разговоры о пламени геенном до неба и о том, что вся земля будет гореть, а люди – в котлах кипеть. Эти страсти напомнились Сене через много лет, когда позвал его в гости отпусник-северянин Никита Долганов, и отец его старый дед Петро проговорил как-то после телевизионного репортажа о боях на Ближнем Востоке:

– Не дай бог термоядерная война случится. Как плескнут баллистическими! Запылают земли и воды. Капиталисты полезут в бункеры. А нам ребятшек терять. Война вещь сурьезная.

– И рожь в такой колосище вымахала после нашей пастьбы! – продолжал Сеня. – Самый большой урожай с этого поля взяли. С землей работать – надо черепком думать.

Старик устроил самокрутку в расселину между зубов и попыхивает сиренево-сизым дымком, не вынимая ее изо рта.

– Верно, Сеня. В наших местах можно богатые урожаи брать. Я ж хлебосев и знаю, что пшеница у нас, как ленок, может быть, рожь прекрасная, овес, просо хорошо растут, надо знать только, как сеять. Подсолнухи я выращивал – стопка по пояс, а шляпка – во-о!

И Саваоф развел руки шире плеч, показывая это «во-о».

Сеня уткнул взгляд в землю, скосив его потом в сторону Саваофа, спросил:

– Кто такие подсолнухи вырастит сегодня?

И ответил себе ж страдательным голосом:

– Никто. Оболтусов много в совхозе. В городе стал работать я – как на ладошке вижу: посевная, уборочная – они торчат в Новопокровске. А хлеба, мяса, картошки, петрушки разной всем надо.

Старика разобрало на солнце, но он пьяно оживает:

– Нам нужны и мяса, и рыба, и овощи. Надо поменьше выпивать и побольше закусывать. А потому тяпнем, Сеня-милок.

Они ныряют в избу и вскоре снова выбираются на вольный воздух. Лицо Сени подобрело, глаза его стали маслянистыми. Будто сменил маску и Саваоф: в уголках губ его застыла бесовская какая-то полуулыбка, взгляд старика стал огнистым, как у крольчихи.

Пыхтя новой самокруткой, Саваоф стал говорить, распевно обращаясь к Сене и домам на противоположной стороне улицы, привычному для него теперь клочку вселенной, открывающейся ему с лавочки:

– Все сгорит, так и знай-тя. Не стали почитать отца небесного Саваофа. Грешим, пьем, ру-га-емся, стираем друг друга с лица земли, с говном мешаем. Забыли, что от бога пришли на землю. О своем брюхе, о своем веселии думаем. А почему б и не прославить и – имя Господне? Почему б и не уважить всевышнего. Доколе так жить! Пока жары велие в пепел не обратят нас, так что ли? Чем Земля наша будет, милоч?

Поворот к богу не был неожиданным для Сени. Он не раз уже за те годы, что жил в Таловке, накоротке говорил с Саваофом, наступательная набожность которого не распространялась дальше лавочки у его дома. Вел он беседы о вопросах веры, подобно тому, как вел их, размышляя с поселянами о боге в Березово именитый столичный ссыльный к черту на кулички, высокородный и светлейший князь Александр Данилович Меншиков, пока не затурынькал его Петр Первый по обвинению в государственной измене и хищении казны. Саваоф ничего ни у кого не крал, и ему, ясно, больше пристало говорить о божественном.

У старика были свои отношения со всевышним. В вере его сквозила какая-то целомудренность. За бога он агитировал редко и активничал лишь на старости лет, когда пропускал от тоски и одиночества рюмку-другую. А так-то он тихо, сам себе верил в бога и правее римского папы себя не выставлял. Ни боже мой, он был рядовой послушник веры, самый распростой, как любой российский пахарь на земле-матушке. В данном случае пахарь на ниве веры. Свой храм имел Саваоф, в себе самом, и как поэт веры жил в мире грез, в мире трубящих архангелов и рядового воинства их, ангелов добра и зла, о сатанинском отроде последних, дед-богомалец говорил мало. Оно и ясно: душа играет, когда в дружеском хоре ты с ангелами, живешь божественными мелодиями и напевами. Глубоко вникал некогда Саваоф в вопросы веры, начитанным был по этой части. Богатое воображение позволяло ему в минуты особого просветления воочию будто видеть, как рядовые трудящиеся духи, когда подготовлены к небу, снимают свои рабочие робы и одеваются в новые сияющие, становясь ангелами. Это как бы подобие такого, известного многим в России в XXI веке ритуала, как торжественный процесс инаугурации мэров и губернаторов. В ангельском мире действо являлось красочным. Ангелы получали одеяния с крыльями синего, желтого и серебристого или золотого цвета. И готовы теперь летать по воздуху, вкушать в садах райских приятный и сладкий нектар и аромат различных цветов.

Сеня по наивности и воспринятому в школе был чисто стихийный материалист, что являлось для него как нечто само собой разумеющееся: нет бога и все тут. Не об чем, как говорят хоперцы, гутарить. Удивлялся Сеня с искренностью ребенка, как это можно верить в какого-то идола, который не существует, и ему давно чисто по-соседски хотелось потолковать с Саваофом о церковных делах и о вере. Момент, кажется, наступил. Но позыв души Сени омрачило одно обстоятельство. Ему показалось, будто старик подморгнул всевышнему, глянув зырком на небо и сказав будто глазами распорядителю вышних милостей: «Извини, милоч, надо наставить на путь истинный эту овечку». «Это я-то овечка?», – вскипел внутренне уязвленный Сеня.

– А анекдот хошь, дед? – выпалил Сеня с обидой, ужалив Саваофа недобрым взглядом.

Дед тоже не стал церемониться.

– На шута анекдот мне. Нужна правда, а не анекдот. Хоть без бреху не бывает у русского человека.

Сеня рассказал-таки сальный анекдот деду. Ткнул его носом в бабью писю.

Старик сипло смеялся, пока его смех не прервался кашлем. Вытерев слезы, он весело, загораюсь в оживлении, заговорил:

– А как русский к вилипугу приехал, не слышал? Отчим твой, покойничек, царствие ему небесное, Илья Лукич рассказывал.

– Жил был пескарь в Хопре, и мама с папой были у него умные. Значит, и он не дурак. Ты мне зубы-то не заговаривай.

Сеню все также уязвляла обнаруженная им у Саваофа улыбка беса. В Сене заговорил воинствующий материалист. Голова его не была не болотной кочкой, не капустным вилокком, конечно же, в ней что-то неслышно шурхнуло, как переключилось. Сене было не до умолчаний: он решил напавал сразить верующего своего собеседника:

– Почему, дед, вода святая?

Саваоф пыхнул самокруткой.

– Потому что поп брехло. В серебряной посуде есть ена, она все бактерии убивает.

– Ну, и фрукт ты, дед.

– Откуда все люди произошли? – смиренно спросил Саваоф.

– От обезьяны, – оскалился Сеня. – Про Дарвина слышал?

– Кто ж тогда был первым человеком у господ бога? – парировал вопросом второй дуэлянт.

– Де-ед, смени пластинку, не брей лысого, – загудел Сеня. – Спать давай.

– Спать?! Ххе-хе-хе-хе! Мы и так проспали царствие небесное. Вы видели Иисуса Христа? А он пришел в духе святом и вочеловечился и создал вашего прародителя Адама.

– А вашего тоже, дедово ваше сиятельство, – огрызнулся Сеня. Но Саваоф на этот выпад молодого соседа не среагировал и все так же учительно продолжал:

– И вот гуляет Адам в раю среди яблонь-анисовок, а сад за экономией у озера был у него. Как у нас вот тут, в Таловке – садик-садок. Ходил, ходил, значит, он, и сон преклонил его, уснул Адам. Прогуливался в саду и господь. Ну, как вот, положим, Никита.

Саваоф повернулся к гостю таловскому и продолжил:

– Странновольный, как отпускник наш из страны белых снегов и белых одежд. Так ведь, Никитушка? Радио тростит, что все вы там патриёты, что на вас не токмо Россия смотрит, а и мир весь сущий, путь ему вы будто указываете или укажете. Я, милоч, радио слушаю.

Никита не стал ни в чем разубеждать Саваофа и тем более – перечить ему. Он согласно кивнул головой и ответил скороговорно, что так, мол, так. И с интересом слушал далее любопытного этого дедулю, впитывая услышанное в кровоток. Все тут было новое Никите, все ложилось на белый лист его души, как слова библейского какого-то повествования:

– И вот скушно стало господу богу, а ему ж, как и человеку любому жить интересно хочется. Подошел он к Адаму, взял у него левое ребро, дунул-плюнул, послинил вдобавок, и нате вам, Адам-милоч, женушку, женщину сладенькую. Проснулся тот – вроде женщина рядом с ним.

– Кто же еще? – риторически спросил, язвя и не находя пока успокоения потревоженной его душе, Сеня. – Не знаешь, дед?

– Почему ж не знаем, что Ева? – спокойненько отпарировал ему Саваоф, которому библия давно уже была сводом небесным со звездами откровений божьих. – Стало миру с тех пор, как песку на морском берегу, грех не кончается... Помни-тя раз навсегда: суд божий при дверях. Все сгорит, только семь церквей на земном шаре останется.

– Из кривого ребра Адама твой поп, как и ты, дед, такой же, наверно, брехло, – заявил Сеня звенящим голосом праведника.

Потом он прицельно прищурил один глаз.

– Какая польза от церквей? – Какая польза от дождя? Не будет его – вода пересохнет, оглодаем. Пойдешь на Восток на золото и серебро хлеба выменивать.

Сеня зло сплюнул.

– Бога нет! Не дои ты козла.

– Дурак! – с таким же энтузиазмом произнес Саваоф. Мысль его, как должно быть понятно читателю, не была соткана из света и не влетела в душу Сени, как луч. И Саваоф вдохновенно продолжил свой труд, черную апостольскую работу.

– Бог дух, бог отец, бог сын святой. Чем дышите вы? Воздухом, даденным богом вам. Если б не господь, сатана истребил бы вас давно всех. Но вечная жизнь бесконечная. В этом божеская правда. Стойте за нее и будете блаженны. Вы, молодые, наследуете царствие небесное. Имейте праведное горчичное зерно каждый из вас, и не истребить правду, ничего невозможного не будет для вас. Разве ж не сказано в Евангелии, что у кого хоть на одно такое зерно веры, тот горы поднимать может с места.

Саваоф читал свою проповедь, и страсть веры все более овладевала им. Проповедь – жанр души русского человека. Свойственно нам советовать другим, наставлять, поучать, опыт свой передавать.

Страсть, говорят, рождает буйную слепоту, но есть у нее и ценнейшее качество – искренность, а это адамант в нашей жизни. Редкий, сияющий, как кристалл горного хрусталя. Она что-то и будила в Никите, трогала в душе его самое болевое, нажитые уже в жизни им раны. Зерна правды выщелушенными из церковной символики падали в его душу. И Никита слышал о молодых, которые получают в наследство Землю, о том, что будет цвести она, как лазоревые цветы прихонерской степи, пока будут преданы делу отцов новые ее хозяева.

Сеня со вниманием зыркнул взглядом на Саваофа.

– А ты, дед, газеты читаешь?

Тот с достоинством кивнул головой.

– А как же, Сеня-милок? Господь всю Землю разом видит, все скорби людей слышит, и мы, слуги его и рабы о всех братьях во Христе должны думать. Вот и должен я газеты читать, мир весь видеть.

Поймав на себе огнистый высверк в глазах Саваофа, Никита подумал, сколько ж энергии выжгла в нем слепая вера в Христа. И остро, пронзившая его иглою будто, жалость вспыхнула у Никиты к немощному теперь старику, чеканувшемуся словно на вере в бога. Он жил ею теперь, как наркотиком, будто кололся морфием, возбуждая себя. Может быть, самоучку-селекционера в себе загубил этой отравой. А Никита верил и в огромные его блямбы-подсолнухи, и в буйную, как лен, пшеницу, и в гигантские яблоки, а они, по молве в Таловке, упав с ветки, разваливались, как арбуз, на две половинки. О таких яблоках, подсолнухах и колосьях пшеницы, о чудодейной агрономии, о том, чтобы поля тучные и сады стали мерой всеобщего счастья, грезил Никита, как казалось ему теперь, в школьные годы. Сеню ж душили не раз слезы, что бросил он по нужде и уму дурному школу после семи классов. Не без тайных надежд потянулся сельский парубок сердцем к будущей жене Наталке, думал: грамотная она и поможет ему в вечерке учиться, в техникум или институт поступить. Но затоптали хрюшки, телки и прочая живность в семействе тестя поле надежд и мечтаний, которое он возделывал в душе своей, смели повозки быта и сад. Потерял Сеня и небо: неоткуда было смотреть на него. И заблудился в он в жизни, попав в ее тенета.

– Сеньк, Сеньк, – толкнул его под бок Саваоф, решив вооружить «заблудшую овечью душу» спасительным знанием об окружающем мире. – Господь сотворил и небу, и землю, и солнце, и луну, и рай-дугу.

– Чего-чего? – встрепенулся Сеня. – Радугу?

– Ее самую, рай-дугу, – мечтательно проговорил Саваоф, подняв глаза вверх. – Небу украсил звездой голубой. Я, Сеня, бывает, выйду ночью на улицу, сяду сюда на лавочку и смотрю во-он туда. Около трубы над крышей там крест Петров. А трехсветильник еще есть у престола господня, ковшик божий. Вот и сию я, люблюсь звездами.

Сеня пронизательно, выщупывая душу его, глянул на Саваофа.

– Ты, дед, в бога по правде верующий или так трепешься?

– По правде, Сеня. Верь мне, как священнику.

– Священники брешут, как и ты.

Старик взъершился.

– Не бей-тя их по лбу, а себя бей-тя. Они свидетели, они принимают крест божий. И ничего не боятся. Знаешь, что были такие нестриженцы? Они тюрьмы прошли за веру, жизнь отдали.

– А почему различия – стриженцы и нестриженцы?

– А почему-то правая и левая сторона есть? Так и в вере.

– Когда ты кончишь голову мне морочить с богом своим?

– Ни-когда! С Богом расстанно не живут, милоч.

Саваоф глянул на Сеню нахальным, как тому показалось, взглядом, и он встречать такому ответу деда спросил:

– А почему отрекаются отцы духовные от престола?

Старик долго думал, кряхтел и чесал затылок.

– Сердце не перерабатывает, и неверие происходит.

Сеня начал приосаниваться.

– Чего, чего это не перерабатывает сердце? Информации, поступающей с неба? Да-да-да, она вам жить не дает, век такой, что и в церквах ЭВМ ставить надо.

Саваоф теряться стал от этого трехбуквия – ЭВМ и всего пассажи Сени. М-да, это не трехсветильник со звездой голубой.

На лице Сени вспыхнул победный огонь: положил он старика на лопатки, прижал его так прижал.

Но для верняка в победе Сеня задал еще один вопрос:

– Что дает вера?

– Жизнь оно, конечно, не продлишь, – рассудительно заговорил Саваоф. – Харчей с неба бог не кинет. Нет тут пустыни с сухариками. Что в огороде, в полюшке, то и в магазине.

Поток красноречия Саваофа стал иссякать.

– Так-то, дед, – заявил с победной миной на лице Сеня, – и сказать нечего. Не разводи в другой раз антимионии. А свербит – попробуй сухари в печи сушить. Это здорово интересно. Мне, знаешь, твои тили-тили печенки пропилили.

Схватки с дедом-Саваофом на церковные темы случались у Сени не раз, и эта оказалась как бы вечной, будто на ринге встретился с ним молодой бедолага-сосед. И выиграл он бой. Не прошли даром ранешние тренировки.

– Ладно, вострый ты на язык, Сеня, – примирительно проговорил Саваоф. Но с поражением он не смирился.

– А Иссарионича ты знаешь? – вскинулся Саваоф. – Не-ет, не знаешь.

И Саваоф с удовлетворением оттопырил губу.

– То то ж. Он войну вынес... Такие трудности. Двести грамм хлеба и кружка воды несоленой счастьем были тогда, милый Сеня. Барду гнилую возили скоту со спиртзавода, высасывали из нее сочек, тем и питались. Чем скот, тем и люди. Такая жизнь была.

– Ты, дед, в колхозе тогда работал или как? – учтиво, но затаенно меж тем спросил его Сеня: интересно было ему узнать, правду ли говорили старухи в Таловке, что был в свои годы Саваоф крепким единоличником, и может быть, и кулаком даже. Мироедом они его не называли, правда, но подчеркивали, что богато жил, ходил в лаковых сапогах, на сельскохозяйственных выставках в уезде премии не раз получал за образцовое земледе-

лие. Жеребец Винзор у Саваофа будто бы на всю Россию славился. Заржет он, как лев, бывало, – на разезде в пяти километрах слышно. Золотую медаль в Новопокровске вручили за него хозяину и семь рублей. «Ох, и конь был, ох, и конишше, – говорила, покачивая головой, одна древняя, поросшая мхом старуха. – По всей России щетыре таких жеребца и нащитывалось. Красавец Винзор был, как паровоз идет, бывало, по улице. Щерт огненный, а не конь, ух, и силен был сатанюка!»

В этой части биографии Саваофа у Сени сомнений не возникало. Верил он в георгиевские кресты его, а в то, что был генералом – нет, ни в какую. Саваоф и генерал – нет, нет и нет. Рассказывали старухи, что люто ругался с Советской властью он за церкви, когда рушили их, что раскулачивали его, на Соловки ссылали и никогда в колхозе он не рабатовал, а шабашил на разных сезонных работах и мильен денег у него на книжке теперь и не истратит он их до смерти.

Саваоф потербил раздумчиво крючковатый своей нос и ответил на вопрос собеседника кратко:

– Сам себе я был колхоз, Сеня.

И это была истинная правда. Одним колхозом со всевышним жил Саваоф, обделяя себя празднично-возвышенной радостью коллективного труда. Ему казалось, что жил для людей он, ради них нес свой крест. И чем больше страсть овладевала им, тем более яростной становилась его слепота.

Фразы одной, чтобы исчерпать тему, не хватило Саваофу, однако, и он продолжил:

– Так заколотилось сердце у меня, когда церкви, храмы божии разрушать стали. А кому церква не мать, тому бог не отец. Вот и встал я непоколебимо за веру Христову, скандалил с богоненавистниками яростно, как Аввакум. И пришлось побывать поэтому за горами хребетскими.

Жил в душе Саваофа с детства и другой, мирской бог, он не имел телесного лика, а был разлит в природе и съединял Саваофа с нею. Это было то, о чем говорят в народе: «Человек рождается на труд». «Богу молись, а сам трудись», «Даровое на ветер, а трудовое в сок да в корень». Но председатель артели веры Всевышний пересилил гражданского бога, когда сошлись они на жердочках мостка жизни Саваофа, и, живя среди людей, он как бы и не жил с ними, свой среди чужих, чужой среди своих.

В сознании Сени осела мысль Саваофа о храмах. «А сейчас их берегут, спохватились, что не ладно делали», – подумал он мимолетно, потому что сильно интересовало его сейчас другое: работал ли Саваоф в колхозе все-таки или нет? Этого пока Сеня не понял.

– Ты коллективизацию прекрасно помнишь? – хитро спросил он старика.

– Все-все, как тебя сейчас, – с задором ответил ему Саваоф. – Зрочки твои с булавочную головку – булькнул даже дедок: кхе-хе-хе – На масленицу было у нас раскулачивание. Начали с Нехаевых, они колеса тележные работали.

– Как брат мой в Острогужске, – ввернул свое Сеня, – работает колеса велосипедные всему району.

Не мог не подумать он, конечно, о других братьях, о маме.

– Ну, да, транспортные мастера Нехаевы, – подтвердил Саваоф. – Как твой брательник – не знаю, а Нехаевы мастера-а-а были! И приказ поступил: кулацких детей отправлять вместе с отцами. А пурга страшная была, ветер с ног сбивал, светопреставление настоящее, земля с небом перемешались. И за шкирку выбросили сперва самого Нехаева. Дети,

мелюзга, ухватились за шубейку его, ползут следом, тащатся как хвост. Вот мать родна, крестовая, не вру. Бабы завыли так жутко – волосы дыбом встают, пацанва кричит, стонет. И одна колхозная активистка, член комитета по раскулачке, не выдержала такого изгальства, подхватила, как кутят, трех самых меньших ребятенков ангелочков безвинных под мышку и домой побежала. Утром приходят к ней: а-ааа, мол, кулацких детей приютила, стерва. Она как закричит на эту комиссию, с ухватом на нее бросилась: «Ах, вы шкуры, кровососы, разве такими советские люди должны быть. Эти ж дети пойдут советскую власть защищать, а вы о каких-то законах мявкаете!».

Саваоф помолчал, потом продолжил:

– Много было, Сеня, головокружений от успехов, когда головы активистов со своей власти и дури, как от вертячки, вскружались. Не видел, как бесятся от вертячки, болезни такой, коровы? А-аа! Много же, Сеня, природных крестьян, хлебосеев в ямы бедствий загнали.

Где революция, одним словом, там и брожение, где шквал, там и пена. Не так буквально подумал Сеня, но корень мысли его был таким, и он утверждающе-твердо спросил:

– Но светлые времена, ради которых разворочали все в деревне, пришли ж, дед?

– Оно, конечно, изменилось все, – начал было дед, но молодой сосед прервал его:

– Ну, а ты как масленицу отпраздновал?

– Раскулачили, загремел под фанфары я, но хрен кому покорился. Я ж закаленный сражениями. В мировую войну первый енерал второго ранга был.

И плутоватый высверк осветил щелки глаз старика. Заметь это Сеня, понял бы, возможно, что дурачится старик иногда, потешаясь про себя над таловскими бабами, расписывая, как генералил. Так оно на самом деле и было, для забавы сбивал Саваоф с панталыку баб деревенских, основных его слушательниц, надев на себя шапку шута. Русскому пошутить, что сигарочку откурить.

Сеня сплюнул и шаркнул ногой в песке.

– Треплом ты был, зря тебя не убили тогда.

– Хочешь, кресты Георгиевские выну из ящика?

Голос Саваофа дрогнул, накопавь стали слезы в его глазах, он оперся сухими трясущимися руками о лавочку. Вновь одиноким, как перст, стал старик в мире вселенной у своей лавочки.

– Да не кипятись ты, дед, я твоего не отнимаю, – осадил его Сеня.

Саваоф обиженно отвернулся в сторону и поджал губы.

– А что тебе к Дню Победы было? – не удержался Сеня еще от одного каверзного вопроса.

– А ничего мне не надо, – вспльчиво ответил ему Саваоф, – все у меня есть.

– Значит, тебя и сейчас раскулачивать надо.

В словах Сени не было зла теперь, скорее, он переводил на шутку все, стараясь сгладить остроту разговора.

В уголках губ старика, который тонко чувствовал вышколенным жизнью чутьем настроение человека, вспыхнула искра слабой улыбки. Он с таким фендибобером закатил глаза к небу, как это может сделать комедийный артист.

– Суд бо-жий при две-еря-ях!

– Ну, ладно, ладно, у меня душа тоже райская, – раздраженно заявил Сеня.

Взъерепенился с чего-то старик:

– Меня Москва знает, слухай и не сопротивляйся моему слову.

– Я тебя не слушаю, – заткнул уши Сеня.

– Я прощаю тебя за твои беззакония, – великодушно объявил Саваоф.

– Убойся бога, воздай ему славу.

– Ага, всем богам по сапогам выдам сейчас, – осклабился Сеня. – Моя душа не каптерка. Хрен на палочке твоему богу.

– Не сопротивляйся, – воинственно загудел пьяненький уже дед. – В рай, может, попадешь.

– Подохнем, как все люди дохнут.

Вера трезвила старика, придавая ему энергии и страсти.

– Чем вы дышите?

– Легкими.

– Откуда пришли?

– Мать родила.

– Кто первым человеком был, как не Адам?

– Трепись, трепись.

– Как бычок ты, Сеня, ничего не видишь на земном шаре.

– Баран бараном ты, дед, – обменялся ответной любезностью разозленный Сеня, и тут уже Саваоф стал утишать его.

– Пойдем, Сеня, пойдем, милоч, в хату.

И две святых души на костылях, как можно бы их означить, исчезли во чреве избы, в запахах кислой капусты и ладана, крепкого, как первач-самогон, настоя дурманящего одиночества деда. Через некоторое время оба они вновь выползли на свет божий. Саваоф долго качался в дверях, держась за косяк, потом, засеменя спасительными шажками, близясь к лавочке, и с отрадою плюхнулся на нее. Сеня же шел к ней по земле, как и полагалось ему по былой морской службе, – будто под ногами его была палуба. Он широко расставлял их и, покачиваясь, преодолел стратегическое расстояние от дверей избыных до лавочки.

Никита поглядывал на двух земляков-таловцев, старого и молодого, и почувствовал в какой-то момент, что за ас лишь общения в деревне родными стали они ему как самые близкие люди. И действительно, прозрачные люди тут, яснее, вот и сейчас Сеня и Саваоф, как пасхальные яички на блюдечке, никакой кривизны в их душах (Пушкин ценил таких), до донца видны. Никита подумал еще о своей буровой: она ведь тоже как деревня, до потрошка каждого виден там человек.

Говорили двое напротив Никиты не так связно теперь, но теплоты в их отношениях прибавилось. Саваоф любяще глядел на Сеню и говорил ему заплетающимся языком:

– Почему мы не пьянем, Сенюшка, хоть я и одиннадцать раз выпил сегодня? Потому что о слове божьем разговариваем, а то давеча воткнули б носы в землю.

Где слово божье, там и песня рядом, конечно же, и зазвучала она вскоре. Саваоф с Сеней начали выводить тихо и трогательно:

Кали-и-на – мали-на-а, что не цвела?

Были сне-е-еги – моро-зы – приморо-о-зи-лась.

Потом дед облапил Сеню.

– Сенютка, люблю я тебя, бой-парень ты.

Часть вторая

Утром у Сени дико трещала голова с похмелья, и ему казалось, что Саваоф его одурачил. А над степью, над горячими сухими полями, которые только паленым не пахли, переливались волны жгучего зноя. Сдавалось, будто всевышний задумал превратить землю в камень и испепелить все живое, решив разобраться в чем-то, как делает это интеллект человеческий, способный понимать все органическое не в живом виде, в родной его среде, а лишь превратив его в мертвое, рассекши его с решительностью тургеневского Базарова, как приуготовленную к препарированию лягушку (так только, а не иначе).

Сеня облокотился на заборчик у дома и раздумался, когда ж ему ехать в Варваровку, чтобы в лесу у дороги с вековыми дубами, аллею которых высадили по приказу какой-то высокородной петербургской дамы еще, накосить сена козам. Их баба Поля его, как и все в Таловке, держала исключительно для пуха и шлейфоносного действия далее – вязания знаменитых хоперских платков.

Солнце и небогатое полевое разнотравье здешней лесостепи были исключительно благодатными для козьих стад, от них получали настоящее «золотое руно. Если говорить о секретах его, как о секретах дамасской стали, то один я выдам читателю. Если вязали их маленькие девчужки, проходила их нить через нежные, потные их пальчики, и пряжа пушилась в такие кольца, что дымчатые платки были мягче лебяжьего пуха и, конечно же, теплее. Берите на ум это, покупатели: ежели платок продает родительница из многодетной семьи, где девчонок гурьба тем более и дети помогают маме, больше шансов приобрести эксклюзив из действительно золотого руна.

Два дня назад Сеня с матерью с матерью чесали козу. Сын связывал ее, держал, прижав к полу, а баба Поля вычесывала пух гребнем и ласково говорила с козой:

– Золотинка ты моя.

Взглядывая на заросшее грязно-пегой щетиной лицо сына, она покачивала головой, и столько тоски и сиротства было в ее глазах, что потрепанные нервы Сени не выдерживали, он отводил свои глаза в сторону. Глаза ж мамы оплывали слезами, которые скатывались по морщинкам щек. Истинно, молода жена плачет до росы до утренней, сестрица до золота кольца, а мать до веку. На ту же войну, провожая сына, себя посылает прежде на это стрельбище мать. Сонмы матерей, переживших Отечественную, знают это. В семьях других детей царило благополучие, баба Поля, больше страдала за Сеню, что совершенно естественно, жальчей всех было ей эту свою кровиночку. Так горе его ушибло, этого лопоушка с носом-крючком. Ну, вылитый дед Демьян. Полтавское от него передалось Сене. Не зря ж Наталкой-полтавкой жену звал. Баба Поля взглядывала на сына-горемыку и слизывала слезы языком с губ. Комкая слова в горле, с прерывистостью говорила больше как бы сама себе:

– Сколько я пережила, голодовки, война, лихо за лихом, таких орлов на ноги поставила с Ильей-покойничком, один ты без пути, сынок. А каким же трактористом ты был золотым! С каким почетом провожал тебя совхоз в армию! Жить бы только да жить тебе, мне б по гостям ездить да унучков нянчить, а я слезы лью здесь.

Как ножом резали сердце Сени эти слова.

У бабы Поли же плетями опустились руки, седая голова пала на грудь, как у обреченной на погибель.

– Оо-ох! – вырвалось у нее. – Хоть бы ты помер, раз бы поплакала, но знала б, что определен уж, не мыкаешься.

Судьба вертка, однако, и своенравна, как угорь, не укажешь ей путь, и долго будет Сеня мыкаться и страдать, а когда определен будет, то знает всевышний.

Страшно быть манкуртом, человеком без памяти о прошлом, еще страшней, когда нет у него будущего, проекта его хотя бы, и в этом отношении Сеня гол был сейчас как сокол.

Жизнь можно представить себе вечным нескончаемым полотном из мозаики цветных стеклышек, через которые пробивается утверждаемый чередой смертей белый свет вечного ее единства. Врагу б не пожелал Сеня того, что ждало его самого в брезжущих далях будущего. С женой у него понемногу наладится, но ослепительно-белой увидит он жизнь в тот момент, когда узнает о смерти ее, когда будто жгучим свинцом ошпарит сердечную кору его. Умрет Наталка при родах четвертого их ребенка Максимки, и останется Сеня «кормящим папашей» с грудничком на руках в окружении двух малышей садиковского возраста и дочки-школьницы. Первенькая, Лариса уехала ранее к родне в Самару зацепилась там. Поступила в техникум легкой промышленности, вышла замуж потом за молоденького офицера, поэзия даже в душе пробудилась, начав выплещиваться с незатейливого такого стишка:

*Мне нравятся люди в погонах,
Не знаю сама почему...*

Сожмет волю свою в стальную пружину Сеня, и дорастет его младшенький сын Максимка до того дня, когда сделает первый шаг. И отца, заменившего мать детишкам, которые будут ходить за ним хвостиком, как журавлятки, сорвет с резьбы радостью и прострельной болью о покойной Наталке: ей-то никогда уже не порадоваться за сыночка, не выбраться из-под земли на вольный воздух. В могиле ж дышать нечем. За этим последовал долгий запой Сени. И так и будет хромать жизнь у него, пока не попадет он в ЛТП, лечебно-трудовой профилакторий (расшифровываю для современного читателя). Но это впереди еще, хотя Сеня нес в себе уже такое будущее, да что уж там таиться: и финал прозревался. Когда случилось Таловке провожать в последний путь Сеню, которого здесь любили и жалели все от мала до велика. Несколько дней лежал он в своем обиталище после очередного запоя: остановилось у него сердце, рванулся он к двери, да так и упал у стола замертво, и тело его стало иссиня-черным, как у абиссинского негра.

Два километра двигалась машина по глубокому песку главной улицы Таловки к кладбищу. Много людей тянулись траурной лентой за гробом, другие стояли у ворот своих подворий. Стихла вся живность на базках. Никто не хрюкал, не мекал, не мукал, не издавал куричьих ко-ко-ко или еще чего прочего. Гроб с угольно-черным ликом Сени на открытой машине словно бы плыл по Таловке, и замерло все в природе.

Похоронили Сеню рядом с Наталкой. Навечно они вместе теперь. На обе могилки носят на родительский день их дети цветы.

Позволил Сеня силам зла, ржавью подьедающим его душу, начать подьедавать ту критическую массу добра, НЗ, неприкосновенный его запас, без которого теряет человек цельность, способность так напрячь свою волю, чтобы одолеть любое, встающее перед ним жизненное испытание.

Уперся подбородком в забор Сеня, глядит горестно вдаль и видит ослепше лишь белесый туман. Вновь подумалось о Саваофе ему. Плохо ли, хорошо ли жил старик, но он жил, верил во что-то. И что судить его строго за веру в бога: вдалбливали ее в душу народа веками и наивно думать, что сразу можно очиститься от скверны ее, махом снять действие дурманящего огня богомольства. Так примерно или близко к этому, но попроще размышлял Сеня. «Как я живу? – лилась его мысль, – Существую, вред обществу приносить стал, детей осиротил. Саваоф в бога хоть верит, а я во что? В рюмку с закусью? Что дальше ждет меня на пьяной кривой дорожке? Страх, что схватят менты за кирпич, вылез вперед, и все доброе глушит. Засуха взяла всех за грудки в районе. Понимать стали в верхах там, отчего же выявилось столько теперь, как овсюга в поле, прорех. Не одно солнце было виновно, что шелестели в полях пустые колосья, поднимались в ветреный день пыльные облака. Известно стало в Таловке в этот день, что райком партии выгнал из КПСС вон и с работы за пьянку бездельника-агронома. Сеня узнал вечером об этом в клубе. А шел там давнишний фильм «Богатая невеста», который взволновал его, прочистил какие-то поры в душе отставного сельского механизатора, когда звучала в кадре музыка жатвы, вел тракторист музейную по нынешним временам машину, и падали подкошенные жнейкой колосья, а следом весело и сноровисто вязали их в снопы женщины. Вспомнились Сене все дорогое и трогательное из детства, и комок слез шибанул к горлу его.

И вот Сеня уже дома после кино. Устроился спать во дворе под навесом, который специально соорудил для летнего времени. Через щели навеса между горбылинами мерцали дальние звезды. С одной стороны его лежки небо было открыто полностью, и Сеня угадывал и крест Петров, и трхсветильник, ковшик божий. Он чувствовал, что ему хочется вновь беседовать со стариком-соседом о земле и боге, только без рюмки, с ясной, как стеклышко, особой полировки, головой. «Поставить бы раз и навсегда точку в споре о боге с дедом, – думал Сеня, – расспросить в подробностях, как занимался он хлебосеянием».

С лежака Сене хорошо видно беленую стену избы Саваофа. Сумеречно светится в ночи небеленая печная труба, из которой струйкой уходит в небо дым. «Дряхлый дедок стал, – подумал Сеня, – спину, наверное, греет. Проживи-ка лет девяносто, тоже затопишь печку в жару».

Глядит вверх на блестящие звезды в небе Сеня и не знает, что завершил уже многотрудный путь свой на земле Саваоф, остеклели глаза его и не ослепит второй раз жестокий жар веры душу этого человека и не повторится пустыня его одиночества.

Весь день с утра со стариком происходило что-то неладное: давом давило сердце в грудь изнутри, как казалось ему, словно бы пыталось оно вырваться из душной темницы. Жгло в груди, будто головня там вместо сердца была. По телу Саваофа попеременно перекачивались лихорадочные волны зноя и холода. Его подташнивало. Приходили к старику мысли о смерти. С сумерками, сиренево засветившимися в окна, он растопил печь, чтобы погреть старые кости. «Ну, печной комендант, залезай на полати свои», – скомандовал он себе с горестной шуткой. Ухватился, было, за выступ, сиюсья подтянуть тело, и вдруг порвалось внутри что-то от напряжения, и колющая боль игольно пронзила старика – будто пику в шею воткнули ему. Он разжал пальцы и стал оседать.

– Караул, господи! – закричал Саваоф, но голос его был тоньше комариного писка. В переднем углу горницы тускло теплилась лампадка. Старик всем телом дернулся к ней, впиваясь ногтями в щели пола, издирая в кровь

пальцы. Из горла его вырвался клокочущий хрип, изо рта, клубясь, пошла соленая пена. И тут в какое-то мгновение вспышка первородного, не отягченного удушьем слепой веры, сознания пронизала Саваофа.

– Господи, господи!!! – вскричал последний раз в агонии он. – Я ж верил в тебя, а ты – бесчувственная колода.

И молниевая эта вспышка пронизала все в мыслях его и в подсознании, и предстала душа Саваофа пред вечностью младенчески чистой и непорочной. Так меняет атмосферу озон после грозового разряда, и обретает она высшие животворные свойства. Перед угасающим внутренним взором Саваофа предстало видение сферичного, выпуклого горизонта пахнущей чабрецом и полынью родной хоперской степи. Над нею выросстал во влажной синеве неба темный, как икона с богородицею в горнице у Саваофа, крест. Высушенное дерево его стало покрываться морщинами мелких трещинок, из которых засочилась кровь. Насачиваемые капли распускались в пурпурно-алые лепестки тюльпанов, и их становилось так много, что они заполнили степь и небо. Жизнь сердца Саваофа начала замирать, и глаза его вскоре остекленели, навсегда унося с собой блеск мишуры на иконе и дрожащий, как марево, язычок лампадного пламени, эти последние мерцания в его сознании жалких символов веры, искалечившей крестьянскую жизнь Саваофа.

На следующий день Сеня рано вернулся с работы. Он заглушил мотоцикл и томился на солнце, ожидая, когда выберется на лавочку Саваоф. Его возбужденно обхватил со спины расхлюстаный жердеобразный мужик, известный таловский забулдыга, карманы которого топырились «Агдамом».

– Угощаю, Сеня, – затараторил тот, – схалтурил сегодня.

Сеня сглотнул слюну, чувствуя сухость в горле. Дернулся острый его кадык.

– Завязал, – недружелюбно отшил он доброхота.

– Завязал? Ха-ха-ха, – раздался в ответ подловатый смешок.

Сеня схватил за грудки забулдыгу и с силой бросил его в забор.

– Ты что, ты что, ошалел, сатанут-твою мать? – закричал тот и, егозя, испуганно попятился к калитке. А Сеня, так и не дождавшись старика, перед заходом солнца уже, когда окрасило багрецой пыльный воздух, сам отворил дверь в его дом и увидел безжизненное тело Саваофа на щелястом полу, окровавленные пальцы. Страшная догадка обожгла Сеню: ясно ему становилось, что скребся, пытался ползти он к иконе. У покойника были выкаченные глаза. Тело его было уже холодным. Он смотрел в сторону богородицы, в лампадный угол горницы.

Родственников у Саваофа не было, и его обрядили в последний путь на божьи таловские старухи.

Сеню ошеломила смерть деда, с которым они неожиданно сошлись сердце к сердцу, хотя и встречу друг дружке были в вопросах веры, и Саваоф разбередил душу соломенного вдовца, вывел его из мертвого какого-то застоя, качнул, дал движение свету.

Главную улицу Таловки размололи машины, и Сеня тяжело, убрдно шагал за гробом по вязкому сухому песку. Солнце пекло еще жарче, чем в предыдущие дни, казалось, что вот-вот пыхнет и займутся огнем земля и атмосферы, как могло это случиться где-нибудь на полигоне, на той же Новой земле, если бы там произошла катастрофа с испытаниями термоядерной бомбы.

Жутко было бы представить себе, как объяло бы такое бесовское пламя дома и деревья, истомленных жарой таловцев и всех хоперцев, живущих

на берегах своей тихомолчной, сонно текущей на плесах реки. Лишь Саваоф не страдал бы от этого, не знакомого людьми пожара и умиротворенно глядел бы желтым лицом в небо. Он уже не казался Сене и всем таловцам тем человеком, который мог сказать в этот июльский зной: «Я ж говорил, что кара вам будет за грехи, за то, что не почитаете отца небесного, все сгорит, и души ваши грешные огнем займутся». Пишу, а в сознании моем артикулируется «отец небесный» как «вселенские законы природы».

Саваоф же словно смирился с чем-то и согласился, поняв что-то очень важное для себя и решив, наконец-то какой-то главнейший вопрос своей долгой, искривленной бесплодной страстью жизни фанатично верящего в бога человека. Казалось, что легкий по-птичьи муляж его скрестил смиренно желтые руки, а сам дух Саваофа выгорел от жары, многолетней засухи длиною в жизнь. Суть наступила теперь и в жизни Сени. Каждый шаг его отдавался в висках: бамп, бамп, бамп. Краем уха слышал он, как у одного дома говорят:

– Сектанта хоронят.

А кто-то добавил:

– А этот пьянюшка Сенька что вяжется с богомолами?

Гроб опустили под заученные всхлипывания старух, которые не раз уже примеряли жизнь свою к этой минуте, и что-то скорбное, даже торжественное сквозит в их лицах. Быстро вырос холмик свежей земли над могилой. Внутри у Сени будто сохлось все в камень, спеклось до окалины, и лишь когда «рабу божьему» начали ставить деревянный крест, шальной ветер пахнул на пригорок, как дымом, сухим ароматом полей и пожженных зноем степных трав. Смерть деда, этот порыв ветра что-то прорвали в душе у него. Волна чувств шибанула в нервные центры Сени, сорвала усохшие уже заплоты и плотинки воли, и молодой сосед Саваофа долго давился слезами, оплакивая неосознанно и себя будущего, каким он мог, по его разумению стать, прощелыгу хоперского и бича. А то б еще и в тюрьге сгнил. Ну, отбывал бы. А это не менее страшно.

А дома Сеня до самой полуночи поглядывал на мерцающие во мгле белые стены избы Саваофа, смутную в ночи в глиняной обмазке своей печную трубу, поблескивающие в темно-синем небе росинки звезд. Представился ему в мгновение струганный белый крест, каким могла завершиться еще более безрадостная, чем у покойного теперь старика-соседа, его жизнь. У Сени мерцательно заколотилось сердце, пустились будто бы в пляс перед его глазами сияющие звезды, словно кто-то могучий трясти стал древо жизни, осыпая их, как яблоки сада, о каком мечтал он в те юные годы, когда отличился в истреблении колорадских жуков. Пульсировали в кровотоке вен Сени такие секунды, которые длинны становятся в эти моменты, как столетия ледящего одиночества, те роковые секунды, когда в одночасье становится человек седым.

«Я могу ведь, могу еще изменить судьбу, – вырвалась из недр его сознания мысль, – по-новому нарезать пласты своей жизни». Созрело в мгновение и решение у него: «Еду завтра утром в контору совхоза и упрошу директора, чтобы взял рабочим в звено полеводов, а вернут права – сяду за трактор. Хватит баклуши бить в городе». И он увидел мысленно, а может, просто почувствовал пока неосознанно, что начала восходить далеко впереди его жизни слабая, как дыхание тяжелобольного после реанимации, забрезжила призрачным светом многоцветная рай-дуга, которая выгнулась к небу над его полем, заново рождавшимся в иссушенной ветрами невзгод, истерзанной его душе.

Не было на похоронах отпускника с Северов Никиты Долганова. Может, срочно уехал: бурение – сфера, где много разных неожиданностей и вообще всякой бузы: идеология того дня не всегда шла в параллель, тем более одноруслово, со здравым смыслом. Как, к примеру, эффективнее бурить – семью или четырьмя вахтами? И прочее другое. В любом случае кровь его и сознание напитаны были флюидами жизни Сени, Саваофа, родных ему таловчан. Мысли о страдальческой Сениной жизни вновь колыхнули его душу через несколько лет, когда получил он письмо от него с обжигающими сознание Никиты строками, которые звучали живым голосом таловского его соседа-селянина: «Пишу тебе, дорогой Никита, из лечебно-трудового профилактория, куда определили меня на год. Слава богу, что тебя минула такая судьба, а мне и это придется испытать. Страдаю за детей, как они там ходят по два километра через метели в школу...» Письмо Сени задело самые чувствительные какие-то центры в душе бурового мастера, и ночью приснился ему сон, в фантазмагии которого причудливо излились и отклик его души на вести от Сени, и память о Саваофе и Таловке.

Ощутил себя Никита в стране белых снегов и белых одежд, зацепленной некогда в реплике Саваофа о нем, странновольном отпускнике с Северов, когда рассказывал старик, обращаясь к Сене больше, с которым у него случился спор в вопросах о вере в бога, как тот вочеловечился и создал Адама. И вот идет Никита по клубам снегов-облаков по сумеречно-серебристой небесной равнине. И видит вдруг, что висит в воздухе в полуметре от снежно-облачного покрова гроб, на который, как можно было подумать, действует некто психокинезом, а в нем покоится Саваоф в красивой ночной рубашке из белого холста и в ночном колпаке. Серебристо мерцает соль щетины, проступившая на его лице. Лицо старика умиротворенное, с восковой бледностью.

Неожиданно Саваоф приоткрыл один глаз, живо зыркнул лучом стеклянно-голубого взора в сторону Никиты и сказал ему с радушием как давнему знакомому прежним голосом, какой слышал он от старика в Таловке, пребывая там в отпуске:

– А-а, это ты, отрок! Усоп я, Никита-милок, мер. Но как не глянуть из гроба на мир? О-оо, слышишь, идут!

Загудели и заколыхались снега, и пошли мимо гроба Саваофа тысячеверстным шляхом истории миллиарды людей, машина зла косила их, как тростники, а они шли и шли и, поравнявшись с Саваофом, говорили с эмоцией в голосах: «Вот это герой, нашенский, человеческий, за нас, за людей жизнь положил!»

Восковые веки Саваофа были прикрыты, по лицу его разлилось блаженство, какое мог наблюдать Никита лишь у геолога их УБР Платона, когда упоен был тот собственным обольстительным слогом и витал в трансценденциях экзистенциальной свободы кьеркегоровского толка. Представлял себя равным Богу и в фантазмах видел себя пред ним, когда обращался к нему, устремляясь мыслью на эпохальные свершения: «Благослови меня, коллега!» Потом гроб как бы испарился вдруг, и на его месте увидел Никита мраморный памятник, на котором выбито было золотом палящих букв: «Платон». Сияние их падало на снега, на звезды, доставало какие-то сферы за белесыми их туманностями, и не было предела ненасытной эманации эгоизма, из вещества которого сотворены были эти буквы.

А через сумерки из заснеженных пространств прорывался к Никите, скребся, как мышка, чей-то придушенный голос: «Как вырваться из ЛТП

мне, страдают ведь без меня мои дитятки-журавлики! Как они там ходят через метели в школу!»

Разбуженный утром горизонтальными лучами рассветного солнца, скользнувшими по северной равнине его жизни, Никита в постели еще, в командирском своем вагончике на буровой пытается думать, что не случайны эти его видения с Сеней, Платоном и Саваофом. Борения мастера в буче северного бурения, восходящего до голгофы, являют собой жизнь, которую надо прожить достойно несмотря ни на что, ни на какие трудности и сшибки человеческих воль, характеров, желаний и устремлений. Главное – не счастье искать (оно человека само найдет), а – оставаться самим собой, себя обновлять, не давая душе закиснуть, в мире пребывать со своим собственным «Я», чтобы не угнетало оно мир, как угнетает его самомнение их геолога Платона Другина, возомнившего, что он правее римского Папы в громадном том конфликте по системам организации бурового труда, который захватил большие людские коллективы Приобья. Звучало будто в его сознании велеречиво:

*И, умирая, думал он,
Что путь его уже свершен,
Что молодые поколенья
По им открытому пути
Пойдут без страха и сомненья,
Чтоб к цели, наконец, придти.*

Еще думалось Никите, что неминуемо должна была обернуться драмой и жизнь небесного Саваофа с его половинчатым, ампутированным до отрицания добром.

Никита ощутил вдруг ритмические биения в своем кровотоке, и пришел на душу ему, полился в полусонье его сознания белый стих о солнце, звездах, Вселенной, этом большом доме всего человечества. Больно кому-то и чему-то в нем – больно и каждому человеку. И что тут судить, боже ж ты мой: дом-то жизни этот нашенский! «Многим из нас надо еще учиться жить в нем», – с озаренностью в сознании подумал урожденный на таловской земле буровой мастер.

Ставлю точку, и гора будто с плеч. Выговорился и облегчился: много ж лет боль за Сеню неизбежно кровь мою отягчала, билась в тенетах творческих моих исканий. Roma locuta, causa finita. Рим высказался, дело кончено. Сейчас хочется лишь крикнуть из сибирского своего далека, чтоб услышал через многоверстье России сынок Сени: «Где ты, Максимка? Как у тебя?».

ПОЭЗИЯ

Виктор ЗАЙЦЕВ

* * *

Нужен ли оскал шакалу
Если некий дрессировщик
Достает его бичом?

Взять ли в пригорошни вишни,
Коль нога скользит по камню,
Вниз, где щели моросят...

Ценит ли обман румянца
Балаганный лакировщик
С попугаем над плечом?

Если знаешь это, знаешь, -
Обхвати себя руками -
Может жизнь ушла не вся...

Июнь

Погода опять обманула,
Тепло не свернуло на полюс,
И стужей лицо резануло
Убитое белое поле.
Весь мир, жестяной и свинцовый,
В провале наркотного сна...
Когда же, когда же в лицо мне
Подругой задышит весна?
Но нет ни цветка, ни побега,
Лишь небо заученно светит,
И чайки летают над снегом,
Крича, как голодные дети...

* * *

Любовь... Тускнеет быстро это слово,
И вот уж просто призрак, просто звук,
Но раз смутив, бросает сердце снова
В атаку губ и неизбежность рук.

И щит отбросив, - ни к чему он больше,
Больнее нужен, сладостней укус, -
Мы все ж скорбим, что стал пресней и горше
Тот терпкий, непонятный, первый вкус.

И мы спешим вернуть хмельное лето,
Мы вечность отмеряем по часам,
Кто знает, чем безжалостная Лета
Заменит это в неизбежном Там...

Следы

Оленекской протокой сбегает вода
В темноту,
 В горизонт,
 В никуда.

По невидимым мелям царапает дно,
Мель не сердце, и ей все равно.
Капитан, что темнеет на том берегу?
Разглядеть я никак не могу.

Капитан катерок развернул как коня,
И на берег доставил меня.

Сколько раз, просыпаясь внезапно в ночи,
Ищешь в памяти след, только память молчит,
Скрыт во мраке из прошлого мост.

Но однажды выходишь как зверь на следы,
И у кромки безликой и стылой воды
Видишь старый забытый погост.

Потемнела оградка из серой доски,
На доске плесень зеленю лепит мазки:
Жизнь и смерть на забытом холсте.

Тонкой вязью усталой как нить паутин:
«Николай и Елена почили. Аминь» -
больше нет ничего на кресте.

Кто там жил и зачем, и погиб от чего?
Я недавно спросил рыбака одного.
Кто же знает? – ответом слова.

И опять я не вышел на прошлого мост,
Чей-то корень засохший упрятал погост,
Кто-то снова не помнит родства.

Сколько сырых могил в устьях северных рек!
Это было недавно, в сыром сентябре,
Это будет еще и еще.

Кто ты, встреченный?
 Знаешь ли чьей ты крови?
Имя предка безвестного мне назови.
Ты не знаешь..., безрадостный счет.

Тихо тени уходят в рассветную синь.
«Николай и Елена почили. Аминь.»
Вот и все, ничего больше нет.

Время медленно плуг свой по сердцу влачит,
Только вдруг просыпается кто-то в ночи,
Чтоб ловить ускользящий свет.

* * *

В яблонях, где пьянеет закат,
Полон вином белым,
Боль об ушедшем отпустит слегка,
Кажется мир целым.

В зеркале тело твое не пожухло,
Вот и сыскался мужчина...
В час этот розовой пеной вспухло
Слово в губах сына.

Как же услышать в любовной хмари,
Средь постельного хлама,
Что он в двух шагах от тебя, – в Кандагаре,
Слабо выдохнул: «мама...»

И на виду небес и листвы,
Но безразлично для неба и тверди,
Может быть враз крикнули вы:
Ты – от счастья,
А он – от смерти.

Тихие утренние часы,
Ветка от тяжести птицы качнулась.
Ты в объятьях целебных очнулась
Вечным сном опочил твой сын.

В яблонях, где пьянеет закат,
Ты плачешь до одури: «Мальчик мой милый...»
Женщины все рожают солдат,
А страна все роет могилы.

Вечером

Цепляется мальчик за маму,
Застыли – слабы ручонки.
Бьет ветер, и трудно прямо
Идти вчерашней девчонке.

Одна поднимает мальчонку,
И нету за это грамот.
Дрожит под пальтишком девчонка,
Идет против ветра мама.

1986 г.

ПРОЗА

Елена ТУЛУШЕВА

Елена Тулушева: поколение двадцатилетних

Елена Тулушева дебютировала в мартовской книжке журнала «Наш современник» за 2014 год. Публикация сразу привлекла внимание читателей и литераторов. Письма в редакцию, отзывы в социальных сетях, упоминания в журналах. В интернет-издании «Парус» под заголовком «Молодые о молодых» вокруг рассказов Елены развернулась оживлённая дискуссия. На Совете по критике СП России о её публикации говорили как о лучшем дебюте года.

Молодой автор нашёл своего читателя. За год рассказы Елены Тулушевой публиковались 23 раза в ведущих литературных изданиях России, Беларуси, Казахстана, в русскоязычных журналах Германии и Эстонии.

Успех закрепили награды, полученные на престижных писательских форумах – «Серебряный Витязь», завоёванный на V Славянском литературном форуме «Золотой Витязь», и стипендия Министерства культуры РФ, предоставленная по итогам XIV Международного совещания молодых писателей.

На редкость удачное вступление на литературное поприще! Один из читателей искренне изумился: «Если молодая писательница начинает путь в литературу с таких сильных вещей, то, что же можно ожидать от неё в дальнейшем?»

Что же в основе успеха? С одной стороны жизненный опыт, темпераментно обозначенные профессиональная и гражданская позиции. Елена – врач. В 28 лет она успела окончить два вуза, работала во Франции и США. В настоящее время – старший медицинский психолог Московского реабилитационного центра для подростков, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. О своих юных подопечных она знает всё. Вплоть до номера роддома и обстоятельств появления на свет. Пытается их понять, помогает, защищает. Писательство предоставляет для этого дополнительные возможности.

С другой стороны в рассказах Тулушевой привлекает динамизм, лёгкость письма, живые диалоги, точный язык. Словом – литературное мастерство. Тулушева работает в жанре нон-фикшн. Это жёсткие, начисто лишённые сентиментальности тексты, где присутствие автора минимально, а всё внимание направлено на героев с их поступками и драматическими судьбами.

Манера, в которой пишет Тулушева, сближает её с группой сверстников – двадцатилетних прозаиков только-только вступающих в литературу. Назову Андрея Тимофеева, Сергея Чернова, Платона Беседина, Анастасию Чернову. Это открытый список, наверняка завтра к нему присоединятся новые авторы.

Лидером поколения я считаю Андрея Антипина – 29-летнего писателя из Усть-Кута, таёжного посёлка в сотнях километрах от Иркутска. Мощью, трагической глубиной и совестливым отношением к слову он напоминает своего земляка Валентина Распутина. Его стиль несомненно шире фактографического реализма двадцатилетних, и в то же время он – наиболее

заметная фигура среди них.

А вот как наиболее характерную я бы выделил Елену Тулушеву. Она пишет не просто с опорой на факты, кажется, она вообще не приемлет обобщений, типизации. Видимо, врачебная практика научила её ценить уникальность каждого человека, которую опасно насильственно подводить под некие общие мерки.

Но признание права героев на индивидуальность и свободу воли вовсе не означает равнодушия к их судьбе. Равнодушный не написал бы такие рассказы. Автор ещё одного отклика на публикацию Тулушевой в «Нашем современнике», профессиональный литератор Мария Свердлова пронзительно подметила: «...главный талант Елены – её неравнодушие к горю. Умение воспринять чужую боль как собственную. Чужой грех, чужую муку взять на себя так полно, как это редко кто может. Взять без капли осуждения. Того осуждения, которое заставляет нас брать за волосы наших героев и перевоспитывать».

В отношении к слову Тулушева органически не приемлет патетику, дидактику, всё, что не прикреплено к конкретному человеческому поступку. Я ценю эту молодую бескомпромиссность. Но вижу и опасность такого словесного аскетизма. Согласен, что пропаганда в тесном сотрудничестве с шоу-индустрией изгадила множество слов, самых дорогих и нужных. Любовь, нравственность, духовность, долг в устах прожжённых демагогов и деляг утратили подлинность, стёрлись, как мелкая монета. Но значит ли это, что мы должны отказаться от них, ограничившись протокольно чёткими терминами? Мне кажется, в таком случае мы бы обеднили и язык современной литературы и собственный эмоциональный мир. Мы призваны поручиться за слова, поставленные под подозрение. Заново наполнить их своим чувством и честным подходом к слову и миру.

Последнее замечание может показаться упрёком в адрес Елены. Но уже то, что рассказы молодого автора побуждают задуматься о таких проблемах, свидетельствуют о серьёзном отношении Елены Тулушевой к литературе и жизни.

**Александр Казинцев,
заместитель главного редактора
журнала «Наш современник»**

ВИНОЮ ВЫЖИВШЕГО*

- Сильней закручивай!
 - Я закручиваю.
 - Ты не закручиваешь, я же вижу!
 - Сказал же, закручиваю.
 - Да ты мне всю жизнь говоришь! Хоть бы сделал что... Вздыхает он!
- Закручивай нормально, опять сорвёт, мне вытирать всё!
- Не кричи, я делаю.
 - Не кричи ему! Да тебе хоть оборись – услышишь что ли?! Сколько кричала, чтоб пить бросил – услышал?!
 - Ну не могу я не пить, ты же знаешь, ну не кричи, утро же.
 - Почему я могу, а ты не можешь?! Устроился! Утро у него: половина первого! Уже нажрался! Нормальные люди папсут всюю!

Марина еще несколько минут попробовала не открывать глаза, но вопли матери окончательно прогнали сон. – Нормальные люди... Когда-то они еще могли бы претендовать на это звание. Когда-то давно, когда Марине было лет пять, и отец хоть и пил много, но только по праздникам. В разгар застолья он брал ее себе на руки и, обдавая неприятным запахом алкоголя и лука, начинал громко на весь стол рассказывать о том, какая его Мариночка самая толковая в группе, что будет, как мама её – самая завидная невеста. Руки у отца становились холодными и липкими, сидеть было неудобно, а от его поцелуев на щеках оставались влажные следы. Но всё это казалось совсем не важным. Она сидела с восторженной улыбкой самого любимого ребёнка на свете: папа ею гордится, говорит, что она будет похожа на её мамочку!

Очередные крики матери резко оборвали воспоминания о детском счастье. «Как же достали уже, надо дверь поменять. Хотя эта и через бронированную проорется. Да и денег на это всё равно нет», – мелькнуло в голове. Образ матери вторгся в сознание: руки в боки, ноги расставлены, как у мужика, голова приподнята, готовая обрушить череду возмущенных претензий на каждого, попавшего в поле зрения её бегающих глаз. Видение окончательно заставило Марину открыть глаза и скинуть одеяло. От прикосновения к холодному полу стало зябко и неудобно. «Хорошенькую же перспективу ты мне предлагал, папочка», – размышляла она, рассматривая себя в зеркальную дверь шкафа, с облегчением не обнаруживая следов внешнего сходства с матерью. О вчерашних посылках напоминали воспаленные глаза и пародия укладки на голове. Она карикатурно себе улыбнулась, отражение ответило совсем не дружелюбно.

Судя по продолжающимся воплям матери, кран они так и не прикрутили. Кутаясь в старый свитер, она выглянула в коридор.

- Когда в душ попасть можно будет?
- Здрасьте тебе! Неужель проснулась? А чёй-то так рано? – мать, как паук, готова была переключиться на новую жертву, застрявшую в паутине её квартиры.

Марина вопрос матери проигнорировала, обратившись к открытой двери ванной:

- Пап, скоро закончишь?
- Да хрен его поймет, мать кран купила дурной, резьба слетает.
- Ах, это я ещё и кран не тот купила?! – паук заметил остатки теплейшей жизни в первой жертве и поспешил закончить свою миссию. – Да

* Вина выжившего – в психологии термин, обозначающий чувства человека, уцелевшего в катастрофе, в которой погибли другие.

ты б хоть раз зад свой поднял, да сам купил! За столько лет в доме никакого проку! Кран не тот! Руки у тебя от водки не те!

– Да я что, я кран, говорю, не наш. Импортный, не подходит сюда.

– Чем это тебе ихние краны не угодили?! Ты на него заработай сначала, а потом обхайвай!

Раздался треск, что-то звякнуло о ванну, послышался шум воды.

– Да что б тебя, твою же...

В заключение отцовского мата обреченно прозвучало: «Не вышло, Надь, треснул».

– Не вышло?! Замуж я б за тебя не вышла, тогда б всё у меня в жизни вышло куда надо!

– Ну, я так понимаю, отечественное производство рулит! – бросила Марина.

– Ишь ты, оживилась как! Мы уж и не думали тебя до ужина увидеть! – полная капитуляция отца добавила пауку новых сил, и он надвигался, потирая лапки.

– У меня выходной. Захочу – и до ужина спать буду. Я не трогаю никого. Если б не твои крики – спала бы дальше.

– Ну конечно, чем еще заниматься-то. Всю ночь шляется, потом спит сутками. Хоть бы раз за месяц в комнате разобралась, гадюшник развела, зайти страшно!

– А нечего заходить – это моя комната.

– Ещё ты мне указывать будешь, куда заходить в собственной квартире! Заработай для начала себе хоть на угол!

– Будешь трогать мою комнату – я её таджикам сдам, я тут прописана. Нечего было ту квартиру Мише отдавать, я бы с удовольствием облегчила вашу жизнь своим переездом.

При словах о Мише лицо матери исказилось болью и досадой, руки машинально опустились, и вся она как будто ссутулилась, совсем поникла. «Ну вот, опять сейчас начнется». – Марине стало жалко мать.

– На кухне он. Иди, поговори, – голос матери звучал глухо, в нём уже не слышалось злости, скорее отчаянье и безысходность.

– Мишка?

– Случилось, видимо, что-то. Но молчит, тебя, может, ждёт. Ты поговори с ним? – взгляд у матери стал мягким, болезненным.

– Денег он, небось, ждёт, что еще у него случается? Вот и приехал. – Марина не выносила этот жертвенный образ мамы и с годами привыкла отсекал все сентиментальности жестким тоном и жестокой правдой.

Мать молча проводила её взглядом и машинально зашла в ванную.

– На, Коль, старый пока давай закрутим.

– Старый – это можно. А что он подтекает – да это я сейчас прокладку новую поставлю, лучше этого будет.

На кухне было холодно, пахло газом и кофе.

– Привет! – произнесла Марина как можно дружелюбней, стараясь вытянуть себя из утренней злости. – Как дела? – и, не дождавшись ответа, она начала включать остальные конфорки, потирая над плитой озябшие пальцы.

– Нормально. Сама как? – он по привычке не поднимал глаз от дымящейся кружки.

– Путём. Если б не эти – вообще неплохо.

– Да уж, мать жжёт. Я в детстве думал, у неё когда-нибудь голос кончится, и она всю оставшуюся жизнь шепотом будет разговаривать.

Марина улыбнулась воспоминаниям, как они в детстве прятались от матери в ванной, и как однажды замок заело, и они не смогли открыть дверь. В итоге отцу пришлось замок выламывать, а мать орала потом еще неделю.

– У этой не кончится. Я в детстве думала, что когда вырасту – никогда кричать на своих детей не буду. Но, чую, гены своё возьмут.

– Как работа? Всё пытаешься спасти мир? – ухмыльнулся Миша.

– А ты всё пытаешься спастись от мира? – попыталась уколоть она.

– Каждому своё, выживаем, как можем.

Марина насыпала кофе, залила кипятком и, развернувшись, села напротив брата.

– На какие деньги выживаешь-то? Ворует? – почти с утверждением вывела она.

– Когда как. Где так, где приторговать перепадёт. Да всё как раньше. Тут вот дед подкинул немного, типа к дню рождения.

– Ну да, он говорил мне. Я его предупредила, что это тебе на похороны, – она шумно отхлебнула глоток и поморщилась.

– Все там будем.

– Ну, ты-то торопишься первым.

Она хотела продолжить стандартный обмен колкостями, но наконец, взглянула на брата, и внутри зацемило. За последний месяц, который они не виделись, он сильно похудел. На отливающем голубизной лице его глаза казались стеклянными лампочками. Редкая щетина прикрывала обветренную, местами в мелких язвочках, кожу. После второго срока он два месяца лечился в туберкулезном санатории, но начавшие было появляться признаки жизни на его лице исчезли уже через пару недель, и сейчас ничто не напоминало о выздоровлении.

– На чём сейчас?

– Месяц чистый! – он широко улыбнулся, обнажив несколько новых дыр между зубами. После первого срока за грабеж мать отдала всю выручку с последней продажи на его имплантаты. Наивная, она надеялась, что тюрьма его изменит, а подремонтрованная улыбка простимулирует найти приличную работу.

– Врёшь.

Он не ответил, неловко поднёс ко рту кружку, и стало заметно, что рука его не слушается. Он был похож на инвалида.

– «Винт»?

– Ух ты, профессорша, сечёшь. Где поднатаскалась? Это даже не наркотик. Захочу – брошу.

– Ну да. Я это каждый день слышу. Лечиться не надумал?

– Да всё нормально, расслабься! – нотации ему порядком надоели. – Проходили уже, Марин. Работай на работе.

– Извини. Это, скорей, вопрос риторический.

На кухне повисла пауза. Миша так и не отрывал взгляда от кружки, потирая её бледными пальцами – на костяшках выделялись многочисленные старые шрамы. В подростковом возрасте Мишу отдали на скалолазание, где он быстро освоился и заслуживал частые похвалы. Родители, поверив в способности сына, готовы были оплачивать и дорогостоящее снаряжение, и выезды на соревнования, несмотря на средний доход семьи. Младшей по возрасту Марине становилось завидно. Ей тоже хотелось, чтобы на неё что-то тратили, радовались успехам, подбадривали. Но денег на занятия для дочери не оставалось, в связи с чем никаких «talантов» у неё выявлено не было. Марина надеялась, что в чем-то сможет отличиться, но в школе она

была из середнячков, а бесплатные кружки предлагали только бисероплетение и шитье. Всей семьей они приходили на соревнования поболеть за Мишу, и Марина с тоской переводила взгляд с восхищенных родителей на карабкающегося все выше и выше брата. Ей хотелось тоже залезть высоко, ещё выше него, выше всех них, чтобы они задирали головы, чтобы увидеть ее. И тогда в ней родилась та самая детская, но совсем не девчачья мечта. Космос. Выше всех, даже выше этих альпинистов, поднимались только они в своих огромных кораблях. За их подъемом следят на мониторах сотни людей, а по телевизору и целый мир. От одной мечты о таком полете у нее замирало сердце.

Как идти к своей мечте, Марина не знала, и никто ей не мог подсказать: мечта была сокровенной тайной. Поэтому Марина просто ждала. Ждала, что оно обязательно как-то получится, что мечта сбудется и поможет ей тоже заслужить восхищенные взгляды... Ей так хотелось стать лучше Миши, хоть в чем-то.

Судьба помогла Марине стать лучше брата, но совсем другим способом. В то время, пока она ждала исполнения мечты, в школе заключили договор с социально-психологическим колледжем, куда Марина и отправилась после девятого класса. А из колледжа предлагалось без экзаменов попасть на вечернее отделение института. Космос почему-то все не появлялся в ее жизни, как и сами космонавты. Зато начали появляться мотоциклисты. Не заменят, конечно, но тоже в шлемах и «летают». Жизнь вела Марину вперед. Мысль об институте немного пугала: в их семье ни у кого высшего образования не было, и насколько все будет сложно или интересно, никто рассказать не мог. Но надежда на то, что ее тоже наконец похвалят, манила. Миша к тому времени застрял на уровне училища. Сначала бросил одно, потом исключили из другого, и он год отдыхал, в третьем у него «не сложились отношения». Родители списывали неудачи сына на загруженность тренировками, но вскоре выяснилось, что тренировки Миша посещает так же, как и учебу. А потом... Потом всё закрутилось.

Марина безумно уставала на последнем курсе колледжа, постоянно подрабатывая вечерами. Она периодически замечала странные компании брата в квартире, но на ее жалобы мама не реагировала: «Мише необходимо отдохнуть!» Да вроде ребята и не пили у них дома, просто общались. Со временем Марине начало казаться, что она стала рассеянной: не могла найти вещи, куда-то засунула новый плеер, потеряла сережки, деньги все время улетучивались из кошелька. Она старалась дольше спать, завела записную книжку с напоминаниями, подсчитывала траты. Но когда к ней обратилась мама с вопросом о пропаже шкатулки со скромным содержимым из двух золотых цепочек и обручального кольца, уже не налезавшего на палец, они обе напряглись.

Сначала подумали на выпивающего отца. Но мать всегда оставляла ему деньги на алкоголь, и ему вроде хватало. Пил он запоями, раз в два-три месяца, а деньги и ценности пропадали регулярно. Мать валила все на дружков Миши, гневно обижаясь на попытки Марины «очернить» брата. А потом Марине уже и не пришлось спорить и ругаться. Реальность обрушилась на мать. Миша резко похудел, у него побледнела кожа, настроение менялось от благодушного безразличия до ярости, он постоянно «терял» телефоны, просил деньги «выручить друга», не оставляя матери возможности для отказа своими криками и ударами кулаков о стену. В доме появлялись чужие люди, никогда не смотревшие в глаза, деньги и ценности приходилось прятать, на дверях поставили замки, которые постоянно «ломались». Мать

отказывалась принимать реальность, даже обнаруживая в ведре шприцы. А потом им позвонили из больницы, куда Мишу забрали с передозировкой. И диагноз в карте не оставил вариантов.

Дальше были споры, крики, пропажи, платные клиники и побег, мамыны слезы и Мишины шантажи, мольбы, просьбы, обещания. Бесконечная вереница, затянувшаяся на несколько лет. Марина разрывалась между институтом и работой в школе, стараясь полностью себя обеспечивать, понимая, куда уходят все средства родителей. Она старалась поддерживать мать, воздействовать на брата, выбрала в институте специализацию по работе с зависимыми, чтобы лучше понимать происходящее и помочь Мише. Она очень старалась ничем не огорчать родителей, чтобы хоть с ней у них не было проблем, хотела дать им повод для радости. Но, поглощенные бедами сына, отец с матерью были не в состоянии замечать дочь. И опять все их внимание было приковано к Мише, только теперь уже к его падению. Когда Марина прилетела домой с заветной «корочкой» диплома о высшем образовании, единственной в их семье мама со слезами выдавила: «А Мишато, ведь и Миша бы тоже мог! Как же это мы не уследили...»

Сейчас она смотрела на него, и ей первый раз за долгое время захотелось о нем поплакать. Было понятно, что он не выдержит слез и уйдет, но они уже полились. Она оплакивала их детскую дружбу, его заботу о ней и защиту в школе, его стремления и победы, свою детскую ревность и обиды. Она оплакивала все то, что уйдет вместе с ним, уже совсем скоро. Она оплакивала свое будущее одиночество и это не покидающее чувство вины за свои успехи, свои планы и мечты, вины за свою жизнь, которая у нее будет, а у него нет.

Миша увидел слезы и без слов ушел в родительскую спальню. Она еще несколько минут беззвучно плакала. Сейчас она пойдет в свою комнату, наденет новые джинсы и свежестырированный белый свитер. Она уложит упрямые рыжие волосы, вставит в нос пирсинг с золотой ласточкой, капнет на запястья любимые духи. Она выйдет из дома, поймает частника и поедет в турагентство доплатить за поездку на Мальту. Потом встретится со своим «космонавтом», будет кататься по летней Москве, проведет с ним ночь и, счастливая пробуждением с той дремотной утренней негой, поедет на работу, попытается спасти кого-то, как не смогла спасти его.

Он выкурил оставленные отцом сигареты, выпросил у матери еще немного денег и, сев в дребезжащий троллейбус, поплелся на окраину Москвы, в свою квартиру, коротать день в окружении таких же, как он, даже не загадывая, наступит ли завтра.

В ХОРОШИЕ РУКИ

– Уважаемые члены комиссии! Начнём, наконец!

Гомон собравшихся в большой комнате начал стихать. В раскрытые окна ни ветерка, только крики детворы со спортплощадки.

– Рыжик, давай же, съезжай! – веснушчатый мальчишка, упираясь в перила, пытался столкнуть растерянного пса с горки.

– Сам ты – Рыжик! А он – Мустанг! Муста-а-а-анг, иди ко мне, ну давай, ну скатись, тебе понравится! – девчушка лет восьми приманивала собаку у подножия горки, изображая, что в руках у неё есть что-то вкусное.

– Такого имени вообще нет, не выдумывай! Ну давай, я сразу за тобой съеду, это не страшно! – мальчишка погладил пса по холке.

– Если хочешь знать – есть такое имя! И он на него отзывается! Давай, толкни сильнее! – она застучала по горке, отвлекая собаку. Мальчик вы-

прямылся, пёс воспользовался моментом и, проскочив под его рукой, неуклюже заскакал вниз по ступенькам лестницы.

– Не удалось причинить добро! – засмеялся молодой парень, повернувшись от окна к стоящей рядом девушке. Его рубашка прилипла к спине от пота. Девушка коснулась его плеча и улыбнулась в ответ.

– Аня, хватит кокетничать! Работать надо! – нарочито громко объявила председательница, тётка лет пятидесяти с бородавкой на брови.

Девушка смущённо порскнула за столик секретаря.

– И вы, Игорь Алексеевич, присядьте тоже, – довольная эффектом, продолжила чиновница. – Мы подбирали время, в том числе и под вас, поэтому затягивать не будем. Что у нас сегодня?

– У нас Саша Савельев... – на столике суетливо зашуршали листы. – Саше десять. На право опеки подал дед, Виктор Анатольевич Савельев. Его старшая дочь, мать мальчика, покончила с собой в пьяной горячке. Там история такая: не рассчитала – хотела напугать, но оступилась и выпала с двенадцатого этажа. То есть, это как бы не суицид, а несчастный случай. После чего над мальчиком взяла опеку тётка, младшая сестра погибшей, тоже пьющая. Через три года она умерла...

– Это всё мы уже знаем, что там по факту: отдавать – не отдавать, давайте порасторопней. Что с документами?

– Да-да, Татьяна Михайловна, я просто подумала... у нас же тут приглашённые специалисты, чтобы они тоже были в курсе дела.

– Специалистам все эти детали ни к чему. Игорь Алексеевич – психолог, а не следователь.

«Психолог? А это ещё зачем? – Саша с тревогой поднял глаза. – Ребята в приюте говорили, что эти психологи всегда что-нибудь навыспрашивают, а потом в психушку сдадут!»

– А Александра Ильинична из детской комнаты полиции, – с раздражением продолжала тётка, – нужна нам, чтобы подтвердить положительную характеристику на подростка. Чтобы дедушка знал, что мальчика мы отдаём вполне нормального, на учёте не состоящего, и ответственность опекуна перед государством – сохранить такой статус ребёнка, – на этой фразе тётка перевела недовольный взгляд с тощей девушки на Сашу с дедом.

«Взгляд у неё неприятный. Раньше ласково говорила, обещала, что в обиду не даст, что у него всё в жизни будет хорошо. А теперь пугает. Психолог, полиция... Сандалии дурацкие, ступни от пота скользят, теперь мозоль натрут».

– Так, значит, вы, Виктор Анатольевич, решили забрать Сашу к себе? – тётка выразительно посмотрела на деда поверх очков.

– Ну да, вон документы, – дед кивнул головой в сторону шуршащей бумажками секретарши.

– Да-да, мы уже ознакомились. А почему?

– Чего «почему»? – нахмурился дед.

«Зачем она вопросы задаёт? Раз решил, так чего тянуть. Вдруг он передумает и уйдёт!» – Саша сидел, скрестив пальцы. Он загадал, что если так просидит до самого конца, то его обязательно отдадут деду, а если не сможет, всё пропало. Так уже было в шесть лет. Он попросил у Деда Мороза полицейскую машину с сиреной. Он хотел запускать её на кухню, когда мать и тётка будут ругаться, надеясь, что звук сирены заставит их замолчать. Тогда он загадал, что, если по дороге домой наступит на все чёрточки между плитками тротуара, то желание точно сбудется.

На пути дворник расчищал снег. Саша хотел переждать, но мать была не в духе и, резко дёрнув его за руку, потащила к подъезду. Машины он так и не получил. В тот Новый год он вообще ничего не получил. Утром 1 января мать сказала, что он плохой мальчик, и Дед Мороз ничего ему не принёс. До самого вечера он ещё надеялся на подарок. А вечером, протрезвев, мать подошла к нему и, погладив по голове, сказала, что Деда Мороза нет. «Ты теперь взрослый, Сашенька. А это сказки для детей. Просто родители покупают деткам подарки и кладут под ёлочку. И я тебе так клала. А в этом году у мамочки денежек нет, ты же знаешь. Мамочка тебя любит. Но теперь давай без подарков». Следующей зимой за неделю до Нового года мать умерла. Подарков он больше не получал.

– Почему вы решили взять Сашу к себе именно сейчас? Почему не раньше?

– Так мать у него была и тётка, – дед достал из кармана вибрирующий телефон и посмотрел на экран.

– Ну, у матери были проблемы с употреблением алкоголя. Мальчик рос в некомфортной обстановке, почему раньше не забрали? – с напором продолжала председательница.

– А я с ними не общался.

– Из-за того, что они пили?

Он нажал клавишу и убрал телефон в карман. Тётка замолчала, дед стоял спокойно. Саша решил, что надо обязательно сказать что-то хорошее о нём. Но ничего кроме давно подаренного самосвала вспомнить не мог.

– Он мне подарки давал, дедушка мой! – зачастил Саша высоким ломким голосом. – Самосвал! Кузов поднимался.

– Ну вот видишь, – председательница мельком глянула на Сашу, попытавшись изобразить улыбку. И уже обращаясь к деду, жёстко спросила: – Вы не могли бы уточнить, по какой причине перестали общаться? Мы должны представлять, какова ситуация. Поймите правильно, родственников больше у Саши нет. Вас-то разыскали с трудом только через месяц после смерти Сашиной тёти.

– Если отдавать не хотите, – проворчал дед, – так и скажите...

– Нет-нет, вы не поняли. Ребёнок государственный. Есть определённые нормативы ведения дел. Никто же не хочет, чтобы потом Сашу у вас забрали, решив, что вы не подходите.

– А чего забирать-то? Ну если им надо, пускай делают, как знают, – дед засунул руки в карманы и начал раскачиваться. Саша испугался, что, качнувшись в очередной раз, он пойдёт к выходу.

– Виктор Анатольевич, вы не раздражайтесь. Это формальные требования. Мы обязаны собрать информацию. Собственно, даже если соврёте – мы и проверить-то не сможем! – примирительно продолжила тётка. – Спросить больше не у кого.

– А чего мне врать? – снова насупился дед. – Я и не врал никогда. Как забрюхатела она, так и ушёл.

– Кто, простите?

– Да Маша, кто ж ещё, старшая. Забеременела она в шестнадцать. Я ей: «Иди избавляйся, дура!». А она: «Рожать буду!». Ну я и рывкнул, мол, не позволю. Сам к врачу отвезу, позорище такое! А тут мать её нашла повод заступаться: грех это, грех!

– То есть вы были против того, чтобы дочь родила?

– А вы бы дали своей родить в шестнадцать? Школу даже не закончила! Впереди экзамены, институт, или техникум хотя бы. «Всю жизнь изломаешь!» – говорю.

Дед сильно покраснел. Саше стало его жаль. Он не знал про эту историю.
– Конечно, вы переживали за дочь...

– Говорил жене: я с таким срамом жить не стану! Да и кому он нужен будет – ребёнок этот безродный?! Но нет, кто ж меня послушал! А результат? – дед вытянул руку и начал загибать пальцы. – Я из семьи ушёл, жена через три года померла, дочь сама спилась, да ещё и сестру споила! И вот, – дед ткнул пальцем в сторону внука, – сидит: кому он теперь нужен?

Слова деда не сразу дошли до сознания Саши. Так, значит, он ушёл... из-за него?!

– Ну что вы, нам каждый ребёнок нужен! – приторный голос председательницы вывел Сашу из забытья.

– Да не придирайтесь к словам! – раздражённо махнул рукой дед. – Вы же понимаете, о чём я. Что у него теперь – ни дома, ни родителей, ни жизни нормальной.

– Ну, у него есть вы, раз решили забрать...

Психолог при этих словах выразительно хмыкнул.

«Чего ты улыбишься, – разозлился на него Саша, – как будто что смешное говорят! Лезут все не в своё дело»

– Да, чего он по приютам мотаться будет, – уже спокойнее произнёс дед.

– Ну, почему мотаться, – приосанилась председательница. – Государство устраивает сирот, предоставляет хорошие условия. Но вы родной человек, будете заботиться с душой.

– Вырастим как-нибудь.

– Трудностей не боитесь? Подростковый возраст всё-таки, нелёгкие времена мальчик пережил.

«Нелёгкие. Тебе спасибо! – ехидно подумал Саша. – Сразу ты мне не понравилась, ещё тогда, когда решали про приют. Наобещала всякого: ты там всего на пару неделек, там будет хорошо, друзья появятся, в цирк сводят, в театр, на экскурсии...»

В первую ночь, в туалете его обступили мальчишки. Он попытался спрятаться в кабинке, но все щекотки были давно выбиты, и ребята с гоголом начали его лупить. Так происходило со всеми новичками. Саша тогда не знал, что первая драка – это как проверка, после неё всем станет ясно, чего ты стоишь... На весь следующий месяц – самый ужасный месяц в его жизни – за ним закрепилась репутация лузера. Он пытался жаловаться, но становилось хуже. Правда, уже не били. Мстили по-другому: наливали воду в кровать, могли и помочиться. Саша терпел, надеясь только на то, что скоро заберут. А теперь... Детский дом? Да он ничем от приюта не отличается: народ там такой же, и лупят так же...

При воспоминании о драках всё внутри съёжилось. Обрывки беседы с трудом доходили до него.

– У меня всё есть, вон список документов: квартира двухкомнатная, машина наша, зарплата нормальная, можете проверить, на еду хватит.

– Да-да, вы молодец, все документы в порядке. Вы же опеку захотели оформлять, а не усыновление, – значит, государство будет выплачивать на Сашу пособие, льготы предоставит...

– Пособие сейчас оформлять будем, или отдельно приходите?

– Ну вы погодите, – улыбка неловкости скользнула по лицу. – Мы сначала должны решить, остаётся ли Саша у вас или нет.

– А что, в детский дом его что ли решили?

Саша вздрогнул. Если в детдом – сбежит, он уже решил. Ему Костик рассказывал, как потом устроиться. В приюте Костик появлялся раз в

три месяца. Он был вроде как сам по себе, пацаны его не трогали, потому что знали, что у Костика в друзьях воры Казанского вокзала. А в тюрьме его батя – выйдет, всем отомстит. Костик приходил в приют сам, получал полный комплект одежды, обуви, немного отъедался и отдыхал от своей воровской жизни и через месяц уходил снова. Он именно уходил, неспешно, обдуманно, загодя аккуратно сложив всё положенное государством добро. Вещи он тут же продавал, спуская получку на игровые автоматы. А потом жил и «работал» на вокзале, пока снова не тянуло в тепло.

– Да нет, нам бы не хотелось, естественно.

Саша испугался, что из-за своих воспоминаний пропустил что-то важное, и не мог понять, чего именно тётке «не хотелось бы». В какой-то момент он перестал понимать, чего теперь бояться. В детский дом? Нет, туда точно нет... Дед?..

«Да отвяжитесь, наконец, от меня! Все, все! – Незнакомая прежде ярость ударила ему в голову. – Тётка, ишь, заботу изображает: «Нам каждый ребёнок нужен», а ведь ей на него плевать, Саша это сразу понял. И дед не лучше! За столько лет даже не поинтересовался, как там внучек. Другим подарки к каждому празднику. А ему – за всё это время – самосвал: дверки не открываются, огонёчки не зажигаются... Один проживу! с Костиком на вокзале!»

Саша будто заглянул в бездомную пугающую неизвестность. Ему стало так жалко себя. Ожесточение схлынуло. Он растерянно прислушивался к разговору взрослых.

– Мы здесь за тем и собрались, чтобы решить вопрос об опеке, – председательница напряжённо оглядела присутствующих. – Уважаемые члены комиссии, есть ли у вас вопросы?

Судя по скучающим лицам, вопросов не было.

– Ну, вы тогда подождите в коридоре, а мы обсудим и вам скажем.

– Сейчас скажете? А то мне ещё на работу сегодня надо заехать.

– Да-да, мы сегодня примем решение. Вы пока можете пойти передохнуть.

Как только дверь прикрыли, дед начал отзваниваться на работу, что-то раздражённо объясняя. Саша проводил его взглядом до лестницы и прильнул к щели, оставленной для сквозняка.

– Ну что, я так понимаю, будем отдавать? – после выхода деда с внуком все зашевелились, кто-то снимал пиджак, кто-то жадно пил уже нагретую воду. – Проблем с документами, я так понимаю, нет, Ольга Анатольевна?

– Нет, он всё принёс. По доходу всё нормально, квартира на него оформлена, никто больше не прописан. Мальчику по исполнению восемнадцати лет предоставлять жильё не нужно, за ним будет числиться эта жилплощадь.

– Хорошо, меньше инстанций, меньше бумаг. А остальные – что скажете? Вроде дед нормальный?

– Да вообще-то по нему не поймёшь, – откашлялся окончательно взмокший Игорь Алексеевич. – Может, нам надо побольше о нём узнать, пригласить их на наши тренинги или консультации, а там и решать?

– Вот вы, психологи, молодцы какие! – взъелась председательница. – И куда ж мы его должны деть, пока они к вам ходить будут? Сейчас конец мая, если не отдать деду, то нужно Сашу в приют или детский дом пристраивать. А они все с июня разъезжаются по лагерям. Ему нужно будет

срочно путёвку с кем-то оформлять. Вы представляете себе, как на государственного ребёнка оформить путёвку за неделю? Это гонка невозможная: ходить, выпрашивать, выбивать – списки-то все оформляются чуть ли не с зимы. А если не возьмут – тогда в инфекционную больницу придётся, сидеть мальчику как минимум месяц, если на июль смогут пристроить! Вы считаете, это лучше будет?

– Да не то что бы... – уже с меньшей уверенностью продолжил психолог.
– Может, обязать их походить к нам в ближайшие месяцы. Не понятно, где раньше-то дед был, почему вдруг объявился? Восемь лет с семьёй не общался, не интересовался никем, а теперь вдруг решил мальчика взять. Опека подразумевает приличное финансирование от государства, тоже настораживает. Всё-таки не котёнка отдаём...

– При чём тут котятка? Вы один тут озабочены судьбой ребёнка? Мы все ищем наилучший вариант для мальчика. Мало ли какие споры в семьях могут быть. Дочери алкоголички, вот и не хотел общаться, что тут непонятного! Вам нужны консультации, чтобы это узнать? Человек в будни работает, вот лично вы готовы по выходным с ними заниматься?

– По выходным не хотелось бы... Ну, давайте хотя бы предложим?

– Конечно, предложим, посоветуем, проконсультируем. Всё как обычно, приложим максимум усилий!

– Да, как обычно... – ухмыльнулся психолог.

– Вы хотите что-то конкретное предложить, Игорь Алексеевич? – голос зазвучал озлобленно.

– Нет, конкретного пока ничего, надо подумать...

– У нас нет времени думать! – оборвала председательница. – Мы должны принять решение сейчас. Пригласите их, пожалуйста!

...Вошли. Мысли в голове у Саша кружились, он не знал, за какую ухватиться.

– Виктор Анатольевич, на сегодняшний момент комиссия решила передать вам право опеки. Поздравляю! – она активно изображала улыбку.

– Вы вполне подходите по всем параметрам. Мы надеемся, что у вас всё получится. Документы будут оформлять некоторое время, так что вам ещё придётся к нам приехать, но уж такова система.

– Долго ещё надо-то будет? – дед методично укладывал в папку бумаги.

– Чтоб с работы отпускали, нужно договариваться.

– Да-да, мы понимаем. Вся процедура займёт около месяца. Но забрать Сашу вы можете уже сейчас!

– Месяц, ладно. Понял, забираю.

– Мы бы хотели вам рекомендовать занятия у психолога.

– Это зачем? Он же нормальный вроде, – буркнул дед, постукивая ладонями по столу, чтобы стопка была ровнее.

– Это для вас обоих, чтобы лучше привыкнуть друг к другу, всё-таки давно не общались, могут быть конфликты...

– А без этого никак? – он перестал складывать бумаги и удивлённо посмотрел на председательницу. – Работа у меня.

– Ну, не то, чтобы никак! – заторопилась та, как будто тоже переживая, что дед передумает. – Это наши рекомендации. Может, позже, в июле.

– Нет, в июле у меня отпуск. Мы на дачу поедим к моему другу, – бумаги отправились в портфель.

– А, ну на дачу – это замечательно. Отдохнёте на свежем воздухе. Ну что, Саш, я же говорила тебе: всё будет хорошо! Ты-то рад?

Саша молча глядел в пол – в приюте это вошло у него в привычку. Он хотел было взглянуть на тётку, но никак не мог поднять глаза. Почувствовав, что на него смотрят и ждут ответа, он едва заметно кивнул.

– Что ж, тогда всего вам хорошего. Остальные бумаги вам сейчас передадут в 102-м кабинете. Удачи!

Когда они вышли на улицу, начинало темнеть. Собиравшиеся всю неделю тучи, казалось, готовы были вот-вот затушить раскалённый асфальт. Мамочки спешили увести детей с площадки и собирали разбросанные игрушки, пока разгорячённая детвора пыталась поиграть впрок.

Рыжий пёс бродил по площадке, провожая взглядом убегающих ребят.

– Рыжик, Рыжик, на, чё дам! – закричал ему Саша. Пёс подбежал к незнакомому мальчишке, как будто знал его целую вечность. Саше вдруг захотелось уткнуться в эту длинную пушистую шерсть, почувствовать тёплое прикосновение, мокрый нос... Пёс улыбнулся открытой пастью, обнюхал протянутую руку.

– Нечего дразнить собаку, если у тебя ничего нет, – нахмурился дед.

– Да я просто погладить хотел! – Саша присел было на корточки, чтобы потрепать пса, но остановился и перевёл глаза на деда, боясь его неодобрения. Только теперь он понял, что совсем не знает этого человека. Не знает, что можно делать, а что нет. А ещё не знает, любит ли дед футбол, умеет ли жарить картошку, и как его нужно называть: дед, дедушка или по имени-отчеству.

– Бездомная собака – чего её гладить, только подцепишь что-нибудь! – Дед посмотрел на часы. – На работу не успел! – Он ещё раз открыл портфель, проверил бумаги, и, махнув Саше головой, пошёл к машине. Саша выпрямился и поплёлся за ним. Под ногами замелькали бледные от засухи чёрточки тротуарной плитки.

НАДО БУДЕТ КАК-НИБУДЬ ПОСМОТРЕТЬ

– Здравствуйте, Максим Иванович!

– Добрый день, проходите, пожалуйста. Принесли? – он аккуратно прошёл, прижимаясь к стене. Закрывшаяся дверь втокнула в прихожую запах уличной влаги.

– А то! Думала, опоздаю! Последний оторвала!

– Ну, ничего себе! – сказал он просто, чтобы как-то заполнить паузу.

– Вот, держите! Мокрый только, снег с дождём – не укрыться, хорошо в упаковке! – шелестящий в капельках пакет лёг в нетерпеливые ладони.

– Ну-ка, что там сегодня... Нет-нет, не говорите, попробую сам. Проходите, пожалуйста, я сейчас.

Он быстро прошёл на кухню, привычно придвинул ногой табуретку, сел за стол и потрогал шов пакета. Затем провел пальцами по упаковке и улыбнулся... Долгожданный момент: можно пару мгновений пофантазировать, напридумывать что-то особенное, вытащив из памяти поблекшие картинки, пока руки осторожно вскрывают шуршащий заводской целлофан. Ради таких моментов он умеет ждать.

– Восемнадцать часов ровно, – механически проговорили часы.

– Всё, иду-иду! – сказал он машинально. Работа всегда оставалась на первом месте, несмотря на маленькие слабости. – Ну и противный же у тебя всё-таки голос! – комически рассердился он на бездушный аппарат.

– Ну как, угадали? – девушка смотрела на него с любопытством.

– Мусоровоз! – удовлетворённо отозвался он. – Не зря ждал, на целую неделю задержали! Потрясающие детали, наощупь чувствуется.

– Почитать вам как обычно?

– Нет-нет, спасибо. Сегодня ко мне Ира зайдёт.

– Молодец, сейчас дети редко заботятся о родителях.

– А обо мне не надо заботиться! – без обиды, хотя и с нажимом произнёс он. – Сам всех тяну! И бывшую жену, и нынешнюю, и Иришку.

– Сколько ей?

– Двадцать четыре. Но папина помощь в любом возрасте нужна. – Его лицо осветилось нежностью. И, словно смутившись, он подчёркнуто деловито произнёс: «Легли? Сейчас приступим».

– Ну, как ваши дела? – подошёл он к массажному столу.

– Да как всегда, одни проблемы. И за окном мерзко: утром встаёшь – темно, с работы выходишь – снова темно. Тоска, хоть в окна не смотри, – она сбоку наблюдала за ним. – А это что за модель? Я таких не видела, вроде.

– О, это уже усовершенствованная. Выполнена, кстати, отлично, на удивление!

– Всё на месте или как в тот раз?

– Да нет, тут они постарались. В прошлый раз тоже всё было на месте, но выполнено уж очень схематично. Да и сама модель – «школьный автобус» – ну согласитесь, совсем неинтересна. Даже дворники поленились приделать. – Он растёр руки кремом и приступил к работе. По комнате рассыпался запах летних луговых цветов.

– А вы видели? – удивилась она, тут же смутившись от некорректности вопроса.

– Да, старые автобусы – успел. И мусоровозы застал. Кабины у них были зелёные сначала, а потом стали выкрашивать в оранжевый.

– По-моему их как не крась, всё равно отвратительно пахнут. Никогда не понимала, почему люди выбирают профессию мусорщика, – она сморщила нос и коротко выдохнула.

– Да-да, запах от них во все времена был достаточно гадкий. Но идея... Мусоровозы, бетономешалки, асфальтоукладчики – всё это произведения инженерной мысли... Что-то я заговорился, – одёрнул он себя. – Так не больно?

– Нормально!

– Вот и отлично, – массажист работал не спеша, выверенными плавными движениями. Затем достал из кармана носовой платок, чтобы не испачкать аппаратуру, подошёл к музыкальному центру и через ткань аккуратно начал нажимать кнопки, выбирая что-нибудь под настроение. – Шопен. Успокаивает.

Лёжа, она разглядывала стеллажи, уставленные моделями машин, танков, самолётов. Их ровные, как будто по линейке вымеренные ряды не менялись годами, только добавлялись новые полки. Плавно сменяющие друг друга мелодии и размеренные движения массажиста умиротворяли, наполняли покоем. Комната как будто дремала в этом привычном замедленном ритме.

– А серию вертолетов ещё не выпустили?

– Да не дай Бог, что вы! – рассмеялся он. Это ж мне новый шкаф заказывать придётся, – улыбка удивительно шла ему, лицо становилось значительно моложе.

– А вы только готовые коллекционируете? Ау, больно. Только можно сегодня без хруста? А то мне страшно даже.

– Конечно, можно. Кто ж вас заставляет – не хрустите, – добродушно усмехнулся он. – Да, теперь могу только готовые. Лет пятнадцать назад, пожалуй, мог бы собрать, но тогда простых в сборке моделей не выпускали. Как-то купил подводную лодку, но детали совсем мелкие оказались. Другу отдал – пусть мучается. – Он водил подбородком в такт движениям рук.

– Ай-ай, правда больно, Максим Иванович!

– Не обращайтесь внимания!

– Но это мои пальцы, как мне не обращаться: вдруг сломаются – ходить не смогу! – при каждом хрусте она зажмуривалась, вжимаясь в массажный стол.

– Пока ещё все уходили сами. Ну вот и всё, отлично справились! Одевайтесь, а я пойду передохну.

– Спасибо!

До следующего пациента оставалось двадцать минут, его руки потянулись к телефону. Пока наливал чай, раздражающие пустые гудки превались:

– Да, папуль!

– Ириш, привет! Как дела у тебя? Всё в силе? – он любил слушать голос дочери, но всё время сдерживался, чтобы не звонить чаще, боясь надоесть.

– Па, я не успела набрать! Да ужасно дела! За машиной в сервис приехала, а они, представляешь, покрасили царапины, а на свету видно, что цвет вообще не потрудились подобрать! Пятно на полдвери! Ну как так можно?! Элементарный вишнёвый смешать не могут, покрасили обычным малиновым!

– Обидно, наверное. Ну ты не переживай, Может, не очень заметно будет. Это же не самое главное в машине, главное – что ездит.

– Шутишь?! Ещё как заметно! Скандал им закатали, вызвала директора! Обещали за три дня исправить.

– Ого, ты молодец, боевая. Тут у меня последний пациент остался. Как раз успеваю в кондитерскую. Тебе как обычно? – он улыбнулся, предвкушая вечерние посиделки с её любимыми пирожными и длинными разговорами.

– Папу-у-уль, – протянула она по-детски. – Я не смогу сегодня. Видишь, как с машиной вышло. Я из-за этого с Мишкой не увиделась, а мы с ним договаривались в кино сегодня, он так давно ждал – обидится...

Улыбка соскользнула, оставив на лице выражение неловкости. Он поспешил успокоить дочь:

– Ириш, конечно, сходи с ним. А мы с тобой в следующий раз.

– Точно, па? Ты не обидишься? Видишь, кто ж знал!

– Да-да, – заторопился он. – Когда там у тебя будет время, тогда и увидимся. Зачем же мне обижаться, я всё понимаю.

– Спасибо, папуль! А то он такой обидчивый стал, ссоримся постоянно. Фильм, уже две недели идёт, а я всё выбраться не могла. Мишка злится, мол, не на боевики же меня тацит, как мужики обычно, нормальное кино, а я всё времени не найду.

– Расскажешь потом?

– Для вас как всегда включен подробнейший пересказ: сюжет в деталях, спецэффекты, операторская работа, киноляпы – всё, что уловит наше вездесущее око! – пародийно пропела она в стиле ведущих ток-шоу.

– Да, пожалуйста! – рассмеялся он. – И ещё сладкий поп-корн, будьте добры!

– Нет уж, от нас только дикторские услуги. Кстати, тебе там кто-нибудь сможет журнал почитать?

– Да, как раз сейчас пациентка предлагала. Мы с ней чая попьём. Всё нормально, не переживай. А ты со своим помягче, ссоры – они ведь, Ириш, – всё потихоньку разрушают... – Ему захотелось обнять её покрепче, и лицо снова засветилось улыбкой, нежной и мягкой.

– Вот и отлично! А мы во вторник увидимся! Целую!

– До вторника! Береги себя! – Дочь отключила связь, он договаривал уже молчащему телефону, – обнимаю, очень соскучился.

До вторника оставалось ещё четыре дня. Ждать он привык с детства, после того злосчастливого гриппа, когда мать начала замечать в его тетрадях расплывающиеся строчки. Тогда пролеживая неделями в больницах, пока очередной врач не вынесет свой вердикт, ему оставалось только ждать. Ожидание было тяжёлым, гнетущим. Каждый день, наполненный страхом и лишь иногда редкими искрами надежды. С годами он сжился со своими детскими воспоминаниями, перестал отгонять их, заглушать музыкой и аудиокнигами, перестал выбирать из них только что-то приятное. Он научился ценить всё, что когда-то успел увидеть, часами перебирая даже больничные детали: узоры на пижаме, зеленые стены палат с облезшей краской, весёлых зверей с Айболитом, украшавших пролёты лестниц, коллекцию машинок, которую они собирали всем отделением, странную бурую жижу на завтрак. Формы, цвета, очертания складывались в предметы, предметы – в картины, картины – в фильмы. Он любил смотреть свои «видео». Это единственное, что у него осталось от той зрячей жизни, которая теперь напоминала о себе лишь полутеньями.

– Максим Иванович, я пошла! – он не сразу вспомнил, чей это голос.

– А, да-да, иду!

– Вот, держите. Спасибо!

– Кажется, многовато. Тут три бумажки.

– Это три по пятьсот, всё правильно.

– А, тогда хорошо, – он убрал шелестящие купюры в карман.

– Вам точно не почитать? У меня есть время!

– Нет-нет, спасибо! Ко мне Ира зайдёт, я её попрошу. Всего доброго!

Он закрыл дверь и вернулся на кухню. Чай остыл. Нажав на часах кнопку оповещения, он услышал «Девятнадцать часов двадцать минут». Ещё оставалось десять минут. Он прошёл в комнату, нащупал журнал, вдохнул запах глянцевого бумажки и убрал его в шкаф. Он подождёт Иру, всему своё время. Он открыл сервант и ловко достал сегодняшнюю новинку. Пальцы заскользили, ощупывая детали.

– Мусоровоз... Интересно, во сколько у нас обычно мусор забирают? Каждое утро, выходя из дома в полшестого, чтобы в семь уже принять первого пациента из вечно спешащих офисных работников, он слышал ещё спящий город. По вечерам, после десяти, он заставлял город уже готовящимся ко сну. Жизнь проходила за окнами его кабинета, пока он работал. Он вспомнил, что давно не слышал звуков стройки, нетерпеливых сигналов пробок, шелеста метлы дворника, и как-то заскучал по этим голосам обычной рабочей жизни. Ему захотелось оказаться в центре этих звуков и запахов, выстраивая в своей фантазии разнообразные картинки того, как всё это могло бы выглядеть.

– Мусоровоз, значит... Надо будет как-нибудь сходить, посмотреть! – подмигнул он сам себе.

ПОЭЗИЯ

Сергей КОМАРОВ

* * *

Сойди с предмета, мой зрачок упорный,
Расфокусируй в сторону бинокль.
Пред вечностью движение твоё вздорно

* * *

Чем ближе к земле,
тем наглядней объём
и тела, и страсти летучей.
Висеть на игле
стрекозой день за днём –
что может быть легче и лучше.

Взойдёт словосудье,
и станет честней
прикол надземелья.
Язык космолюдный
среди птиц и червей
содеет заделье.

Откуда игла
и нанизывал кто –
не скажут, и право:
то в крылья игра
и в полёт над плато,
то страсть и забава.

И право, и лево,
и бус горизонт,
и звень вертикали
сошлись для запева
в закон и резон
и чуда взалкали.

Рыться напрасно
и в ней, и в себе –
в коллекцию случай.
Горело – погасло,
свистело в трубе –
прокольник, голубчик.

Звук чисел и букв
наволняет предел,
ведя в беспредельность,
музыкою рук
и сердечностью стрел
квантируя цельность.

Здесь всем по чуть-чуть,
потому и слова
в почёте и в росте,
они точно ртуть,
набирают права,
объёмят и мостят.

Бозоня сознание,
улёт в метафиз
фундирует душу,
и водное зданье
стиха, как карниз,
крепит метасушу.

Номострекозный
тоннаж черепов
дрожит над землёю –
не высшие козни,
для поиска слов
висят, перегноют.

Чем ближе к земле,
тем наглядней объём
и тела, и страсти летучей.
Висеть на игле
стрекозой день за днём –
что может быть слаще и лучше.

* * *

Всех разменяет и оставит –
без объяснений, без причин.
Смотри: в лицо тебе кричит
безоговорочно о праве.

Мы перед ними точно мать,
дитя ж резвится вне порока.
Бесстыдна молодость, жестока –
её всеилье не унять.

Их не догнать, у них иной
расчёт и счёт любви, породы.
Не открывай свои комоды,
удел предъявится – бац! – твой.

Воспой их силу, чистоту,
отдай наделы и пределы,
иначе право их и делать,
приняв и нас как дар нату-

ры – вот и не отвлечь
из обихода и дохода,
и через огонь пройти вне брода,
и не слететь ни с губ, ни с плеч.

И не жестокость, а бессмертье –
восполнить формы бытия,
зелёной лавой лития,
в охват ползущей вне усердя.

И разумом неповреждён,
мир наполняется и звучит,
и каждый час его как лучший,
и лучший ты, коль им рождён.

* * *

Цвет острей,
сценичен и быстр,
ветерок ошуршил сохлый лист,
чуть подбросил
и сразу прибил –
разомкнул кулачок его жил,
изогнулся в борьбе кулачок,
тихо хрустнул
и выбрал молчок.
Среди леса
сколёсился ёж –
охладеешь, погаснешь,
замрёшь.

* * *

Киношная картинка,
где парень со звездой
штыком дырявит куклу,
а кукла ни «ой-ой».
Он метит в грудь и сердце,
он колет от души,
а ей, родной, не деться
и дырок не зашить.
Истерзанное тело –
доволен им старшой,
накрикивает парню,
кивает головой.
Идут мужские игры,
штык ищет чью-то плоть,
а после спит убито
и вновь готов колоть.
И руки лучше держат
и колют веселей,
не различая крови –
чужой, чужой, своей.

Пытка воздухом

Между нами ничего, кроме воздуха,
между нами никого, кроме воздуха,
но воздуха не хватает.

Как под водою –
уши заложены.
Глаза закрываешь
безвольно,
катишься вниз
до дна.

И ничего под тобою,
горка без времени,
и всё –
и всё.

ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ ЮГРЫ

Владимир ВОЛКОВЕЦ

* * *

Снег под скорлупою супесчан. Шаг с тропы, а под ногою пусто. Вымерзают лужи по ночам До сухого стрельчатого хруста.	На цепи соседский пустобрёх Выглядит услужливо добрее. На моих плечах ликует внук, Радуясь и лужам, и синицам. Потому нельзя мне даже вдруг Поскользнуться или оступиться.
Солнце из-за ельника взлет. В небесах бездонье от промоин. Если в чем-то мне не повезет, Нынче огорчаться не настроен.	Пусть тесна дорога и крива, Но зато легка моя тревога - За плечами светлые крыла Ангела распахнуты широко.
И не потому, что март подсох, Воробьи шалеют на пригреве,	

Внук

Из болота вместе с клюквой
Он домой принес в корзине
Желтый пух с осюю-злюкой,
Шишку в липкой паутине,
Куст морошковый и ветку
В ломкой шляпе сыроежки,
Лист похожий на монетку
Вместе с заячьим орешком,
Шелуху столетних сосен,
Пригоршню осенней хвои,
Комара, что был несносен,
Домогаясь легкой крови,
Щелкуна с пучком пушицы,
Паука на длинных лапах,
Родниковый вкус водицы
И багульниковый запах,
Кочек жиденькие космы,
Мха пружинистую сырость...
Мотыльки, сучки, стрекозы -
Все в корзину поместилось!
И когда с улыбкой бодрой
Вытряхнул на кухне это,
Ягод было в куче пестрой
Горсть всего,
но горсть-то деда!

* * *

Эх, давай на озеро рванем,
Там стрекозы, окуни, козявки.
Дождевые черви под бревном
Пролизали скользкие канавки.

Снасти рыболовные в углу.
Спозаранку росно и студёно,
Тихо на летейском берегу -
Ни жены, ни водки, ни закона.

За приют сиятельных теней
Нам платить не надо да и нечем.
Как-нибудь надергаем ершей
И себя обедом обеспечим.

* * *

Апрель, как призрачно и блёкло В линиях прелести твоей. В холодной луже, как в бинокле, Поймаю поздний клин гусей.	Разбросанное в прошлом веке Добро сдано в металлолом. И жизнь не терпит проволочки. Хотя заметишь невпопад, На соснах шрамы химподсочки До сей поры кровоточат...
Их клики радостны, но горек Взгляд долгожителей окрест - Теснят кварталы новостроек Оставленный потомкам лес.	Уйдешь, а зелень муравейно Просеется в твоих следах. И это так обыкновенно, И необыкновенно так.
Давно по старым лесосекам, Что заросли молодняком,	

Старый приятель

Подводил, избегал, запивался,
Завирался, обманывал, но
Приходил, умолял, зарекался...
И ступал снова в то же дерьмо.

Сколько раз выводил из запоев,
Вынимал из петли долговой.
Но уроков добра не запомнив,
Виновато стоит предо мной.

Буду холоден с ним, буду четко
Суверенность свою соблюдать.
Но боюсь, он попросит о чем-то,
Я ему не смогу отказать.

Потому что ответить мне нечем
С убеждением моим на кону:
Нужным быть одному потрудней, чем
Не обязанным быть никому.

Павел ЧЕРКАШИН

СТАРИКИ

Знавал я одного старика, Шубина Семёна Трофимовича. Жил он в глухой северной деревушке, где и улиц-то не было, а дома срублены так, как того их хозяин желал, и потому располагались без всякого порядка. Дом Трофимыча, так все звали старика, уютился на краешке деревни, даже несколько на отшибе от всех.

Угрюмо и сиротливо смотрел он на остальные дома из-под покосившихся простеньких наличников двумя окнами-глазами с уже мутным, но уцелевшим с давних, ещё довоенных времён стеклом. Бурые стены из тесаных брёвен, когда-то очень давно добротнo срубленных крестом, сильно рассохлись, и в чёрных щелях плотно разросся мох, зарубцовывая морщины-раны всё больше ветшающего дома и оставляя на их месте сыроватый зелёный шов. Дом глубоко врос в землю, по самые окна, а крыша, которая была в «молодые» годы крутой и крепкой, теперь рассыпалась местами в труху. Частые дожди, сильные северные ветры, жуки-древоточцы постепенно разрушили её. И в последние годы она больше уродовала дом, чем защищала от осенних ливней, возвышаясь бесформенным горбом на его непрочной спине.

Даже издалека было видно, как стар махонький невзрачный домик, весь в пятнах мха и лишайника, с полуразвалившейся, как старый пенёк кедра, закоптелой трубой.

Трофимыч тоже был стар. И даже чем-то похож на свой домишко. Пройдя осенью ему исполнилось восемьдесят четыре года.

Он давно был сед. Смуглое лицо с годами ссохлось и пожелтело, а морщины смяли в тёмные складки черты лица, оставив мелкие островки дряблой кожи. Когда Трофимыч молчал, то губ не было даже видно: на их месте тянулась глубокая борозда, которая изгибалась полумесяцем вниз. И лишь когда дед хотел что-нибудь сказать, борозда вдруг начинала дрожать, превращалась в тёмный проём, и оттуда слышались тихие хриплые звуки.

Трофимыч, может быть, по натуре своей или в силу преклонного возраста, был большой молчун, и разговорить его было крайне трудно. Когда он кого-либо слушал, то «отвечал» собеседнику больше выражением глаз, мимикой или спокойными одобряющими движениями головы, рук, а говорить избегал. Да и трудно ему было это: часто он закашливался, и тогда всё сгорбленное тело деда судорожно вздрагивало от затяжного приступа кашля, и на грустных глазах от натуги выступали крупные слёзы, которые, скатываясь, тут же терялись в морщинах.

– О-хо-хо, – произносил Трофимыч страдальческим голосом, тяжело дышал осторожно шёл дальше, опираясь на неровную сучковатую палку, верную помощницу в недалёких путешествиях до единственного в деревушке магазина. Палка жалобно скрипела, обречённо тыкаясь тупым концом в притоптанный снег узкой тропинки, петлявшей между массивными сугробами, и слегка дрожала в немогущей руке деда.

На деревне Трофимыча знали все, но никто не был с ним в близких приятельских отношениях. Друзья, с которыми он ещё восемь-десять лет назад балагурил длинными летними вечерами на широкой завалинке, и которые шутливо называли его Тропинычем за то, что лучше всех знал окрестные таёжные тропы, уже покоятся на маленьком деревенском кладбище, что

приютилось тут же около деревни, в светлом березничке. А у молодых семей свои дела, свои друзья, хотя из сострадания и уважения к старости помогают ему.

Да и сам Трофимыч сторонился людей, считал, что его время давно кануло в прошлое, жизнь на исходе и незачем мешать молодым.

Но ко мне он почему-то имел доброе дружеское расположение, говорил гораздо охотнее, однако слишком впустую, расточать слова тоже не любил. Может быть, чувствовал Трофимыч во мне такую же одинокую душу, несмотря на большую разницу лет. Мне была приятна старикова приветливость, и я отвечал ему тем же. Частенько зимними вечерами сиживал у него, слушал неторопливые рассказы и всякую бывальщину.

В эту зиму я бывал у Трофимыча намного чаще, чем в прошлые годы. Хорошо посидеть за горячим чаем в умудрённом покое стариковского дома, когда за окнами бесится пурга и ничего не видно за снежной круговертью.

Так и на этот раз.

Третий день сильно буранило. Плотной завесой хороводил колючий снег, обхватывал меня со всех сторон. Всюду, на сколько хватал взгляд, косматились вихри. То явственно проступали из ночной тьмы, то беспомощно рассыпались, уносимые властным ветром. Надрывно ныли провода, и единственный в округе фонарь бросал бледный жиденький свет на ближайšie десять метров. Он часто мигал, и когда, сильно мотнувшись в сторону, гас, холодная мгла совсем наваливалась на меня, давила непроглядностью.

Все тропинки были щедро замечены, и я шёл наугад через огромные снеговые хребты, ориентируясь только на слабый мутный свет от ближайших окон.

Дошёл до знакомой повалившейся изгороди, поднялся по замётённому крылечку до двери, толкнул плечом и тяжело ввалился в сени. Отряхнулся в темноте от снега и перевёл дух. Затем отворил вторую дверь и вошёл внутрь дома. В нос ударил знакомый застоявшийся запах ветхой избы.

Трофимыч закричал, поднялся навстречу и натужно произнёс:

- Думал, и не придёшь сегодня. Погодка-то! О-ёй!
- У-уфф, убррррр-одно! Да и не видно ни зги. Что за зима!
- Да-а, лютует... Так ведь Рождественские на дворе, как иначе-то. Оттого и разошлась, ведьма, – сказал старик и глухо усмехнулся. – Погоди ишо, вот Крещенские следом будут... Хм-м... Ну, хорошо, что пришёл. Озяб?
- Вообще замёрз! Как только нос не отвалился!
- Хм-хм..., м-м-мда, – промычал старик и, словно очнувшись, сказал:
- А я уж и чай заварил, пока дожидался.
- Чай! Это замечательно! Поди, ещё с рябиной?
- С ней, а как же.
- Люблю с рябиной! Да еще с такой зверской стужи.
- Знаю.
- Ох, Трофимыч, балуешь ты меня.
- Да чего уж там, – засмутился дед. – Садись за стол.

Трофимыч ушёл на кухню, погрел там посудой и через некоторое время вышел, неся в руках две местами обитые кружки и надтреснутую фарфоровую сахарницу с простенькой росписью на боку.

Мы пили чай. Я осторожно втягивал обжигающую оранжево-золотистую жидкость, понемножку глотал и с наслаждением ощущал, как растекается внутри горячая струйка по всему телу, согревая его. Горьковато-терпкий привкус рябины вливал новые силы, приятно бодрил голову. Блаженство!

За чаем и разговорами незаметно прошло, наверное, полчаса. Вдруг я заметил, что из-за края тонкой перегородки на кухню на меня внимательно смотрит чёрная лохматая морда.

«Не встретил, как обычно», – только сейчас отметилось в голове.

Это был совсем уже старый крупный охотничий пёс по кличке Верный. Он тоже доживал свой собачий век, и в последние два-три года сильно одряхлел.

– Верный, – позвал его Трофимыч, – поди сюда.

Пёс поднялся с задних лап, вышел из-за перегородки и тяжело запереваливался с боку на бок к нам, зацокал когтями по широким половицам. Проковылял с десятков шагов и неловко с сильным выдохом осел подле старика-хозяина.

Он был по-собачьи сед. Кроме белых бровей и усов, которые смешно топорщились на морде в разные стороны, серебристые шерстинки проступали по всей шкуре и особенно по заострившемуся хребту, где сливались в сплошную белёсую полосу. Глаза Верного глядели страдальчески и как-то обречённо. Он тяжело дышал и мелко, как от озноба, подрагивал всем телом.

– Что, старина, не подох ещё? – насмешливо спросил дед, помолчал и уже печально добавил:

– Я вот тоже.

– Ну, Трофимыч, брось ты это. Зачем же смерть торопить?

– Да уж отгуляли мы с ним своё, отгуляли. Теперь вот только маемся. Каждый божий день хворь какая-нибудь привяжется, ночь лежишь, стонешь... Да и глаза стали совсем никудышные. Очки мои видел? Стёклы у них – с палец. Во! А давно ли с Верным ещё на белок хаживали! Точнёхонько в глаз бил! За все года только четыре шкурки плохим выстрелом загубил. Да-а, было время... Кха-кха-кха...

Трофимыч глухо закашлялся, медленно развёл руки в стороны, словно извиняясь, и бессильно уронил обратно на колени. Затем ещё медленнее встал и ушёл шаркающими шагами на кухню. Когда вернулся, на острые плечи была накинута сильно поношенная, обремкавшаяся по краям клетчатая шаль.

– Что-то зябко стало, – сказал надтреснутым голосом Трофимыч, пододвинул расшатанный табурет ближе к печке и замолчал. На этот раз надолго.

Старый пёс последовал примеру хозяина, тоже перебрался на дрожащих лапах к печной дверце, за которой порывисто гудело пламя, и с длинным шумным вздохом сел на задние лапы.

В избушке воцарилась уютная тишина.

Мерно чакали на стене ходики, зажатые с двух сторон древними помутневшими фотопортретами в рамах, мирно гудела печка, потрескивала полешками. От печного жара, прозрачными волнами поднимающегося вверх, все предметы были расплывчаты и неясны. На покосившихся стенах вздрагивали огненные тени, и лицо старика было щедро освещено тёплым оранжевым светом.

Трофимыч по-прежнему молчал. Видно было, что дед крепко задумался. Он почти не моргал, а только щурился и смотрел на жаркие всполохи огня, которые отражались искорками в воспалённых глазах.

Вдруг он повернул голову к Верному. Тот тоже обернулся к хозяину, и они долго, пристально смотрели друг на друга, видимо, вспоминая что-то очень давнее, известное только им двоим. Потом Трофимыч вздохнул

и горестно кивнул старому другу. Пёс в ответ слабо шевельнул ушами, махнул вялым хвостом, грузно переступил с лапы на лапу, и они снова стали глядеть, как стреляют догорающие дровишки, и слушать привычное гудение старой печки.

Я взглянул на ходики. Половина двенадцатого.

«Однако пора собираться», – мелькнуло в голове. Тихо оделся, получше укутался и подошёл попрощаться с Трофимычем.

– Ну, пора. Пойду.

Трофимыч не ответил. Возможно, даже не услышал. Только пёс нехотя посмотрел в мою сторону и тут же повернулся обратно, втягивая носом разогретый воздух.

Я заулыбался, глядя на старых друзей, и тихо вышел из дома, не забыв плотно закрыть разошедшуюся дверь.

Когда прошёл несколько шагов, то невольно оглянулся назад. Дом стоял ещё больше занесённый снегом, и махонькие окошки были уже наполовину упрятаны за высокими плотными наметами.

Сейчас я далеко, но мысленно вот они передо мной: выросший в землю, горбатый и почти развалившийся домик на окраине, беспрестанно болеющий и добрейший дед Трофимыч и его дряхлый пёс Верный – милые мне старики.

ЗАБРОШЕННОЕ ЗИМОВЬЕ

Пожалуй, лет восемнадцать уже прошло, но как сейчас помню: собрался на охоту за утками. Не на Птичье озеро, как обычно, а решил куда-нибудь в другое место наведаться, где ещё ни разу не охотился.

Вышел часов в десять. Солнце уже поднялось и разогнало утренний туман, только лёгкая, едва заметная дымка висела над увалами и рассеивала ослабленные осенью солнечные лучи. Тайга просыпалась.

Я шагал по узкой петляющей тропинке и слушал голоса оживающего после ночи леса. Так незаметно дошёл до первой гривки. А когда поднялся на неё, решил пойти дальше, до озера у Лысого холма. Ещё столько же шёл. Устал, но не разочаровался. Уток там было – хоть дюжину охотников зови! А потом стреляй, не целясь, – не промахнёшься! Да и утки были отменные, разжиревшие, не гляди, что дикие.

Подстрелил восемь острохвостов и повернул обратно. Иду, на душе весело, что охота так удачно прошла. Хорошо! Но, видно, навсегда это заведено, что хорошего помаленьку. Недолго пришлось радоваться.

Оступился в сыром месте, взмахнул руками, пытаюсь удержаться, и крепко впечатался в жидкую грязь. Сильно подвернул ногу. Острая боль мгновенно пронзила её. Я громко закричал и повалился набок. В мутной лужице увидел своё лицо, искорёженное гримасой невыносимой боли. Как только не потерял сознание!

Не знаю, сколько прошло времени, пока медленно, словно нехотя, боль стала понемногу затухать, но всё ещё сильно токала в ногу, простреливала в поясницу. Я непроизвольно вздрагивал телом и шумно, с громкими стонами дышал.

Попробовал пошевелить ногой. Она слабо слушалась меня. И я почти не чувствовал её. Вместо ноги была изнуряющая боль, которая то усиливалась, то ненадолго откатывала. Я всегда её плохо переносил; откинулся назад и сомкнул напряжённо дрожащие веки.

Прошло ещё некоторое время. Боль почти утихла. Затаилась. Но, боже мой! Как вспухла нога! Я чувствовал, насколько тесным стал для неё сапог. Что же делать?..

Я попытался собраться с мыслями.

До села добрая дюжина километров, нечего было и думать о том, чтобы идти туда. Просто не смогу. Поглядел на неподвижно лежащую ногу и досадно застонал. Как глупо!.. Наверно, серьёзное растяжение. Может, и связку какую порвал. Но что же делать?! Что делать? Что?..

Вдруг неожиданно вспомнил. Знакомые охотники однажды рассказывали, что левее Лысого холма есть небольшое озеро – Горемычное, а на его берегу старое зимовье, забытое, запущенное и никому уже со времён Второй мировой войны не принадлежащее.

Мне никогда ещё не доводилось там бывать, но сейчас, преодолевая боль, я сориентировался и прикинул, что нахожусь от него где-то в полукилометре. Это было спасение! Во мне зажглась надежда. Доползу!

И вот я медленно пополз, волоча распухшую ногу.

Опираясь на руки, толкался здоровой ногой и рывком продвигался на полметра вперёд. Каждое движение вызывало новую, до темноты в глазах, сжимающую боль. Нога ныла, пот лился градом и впитывался в одежду. Мне приходилось то и дело сворачивать с прямого пути, чтобы обползти сырые низинки и болотца. Это ощутимо удлиняло и без этого трудный путь. Упругие ветки карликовой берёзы больно хлестали по лицу, расцарапывали кожу. Натруженные руки гудели, но я упорно полз вперёд. Лишь время от времени останавливался, чтобы переждать нарастающую боль.

Вконец измученный я выполз на берег хмурого озера с тёмной водой. «Уж точно – Горемычное», – подумалось мне. Огляделся.

Со всех сторон озеро окружали плотной стеной ели и кряжистые кедровые деревья. А самый край берега обрамляли маленькие чахлые берёзки и кусты ольхи, низко склонившие над водой свои ветки.

Зимовье заметил не сразу. Оно находилось метрах в восьми от кромки воды и хоронилось в прибрежных кустах так, что едва можно было различить его очертания. До зимовья оставалось здоровыми ногами шагов сорок.

Стиснув зубы, пополз вперёд.

Дверь зимовья была приставлена толстой сучковатой палкой. Я оттолкнул её плечом, открыл сухо скрипящую на одной петле дверь и перевалился через низкий порог в затхлый полумрак помещения. При этом умудрился сильно удариться больной ногой и теперь сдавленно и надсадно шипел сквозь зубы. Машинально обхватив разбережённую ногу, изрыгал всевозможные проклятия, чтобы хоть как-то отвлечься от боли. Но она была до того сильной, что заполнила собой всё. Она была просто адской! И долгое время мне оставалось лишь ошалело, бездумно покачиваться из стороны в сторону, пытаюсь совладать с ней.

Кое-как я этого добился и в облегчении лёг на пол. Расслабился, насколько это было возможно, закрыл исхлётанные ветками, воспалённые глаза и замер. А так как был окончательно измотан, то скоро забылся и уснул, что явилось для меня огромным облегчением.

Спал долго. Ночью один раз просыпался, но только для того, чтобы сбросить с плеч рюкзак, который до онемения искривлял спину. Проснулся, когда стрелки часов приблизились к одиннадцати.

Первым делом решил оглядеть ногу. Понадобились большие усилия, чтобы осторожно стянуть отсыревший сапог. Отёчность не стала меньше, но уже можно было немного шевелить ногой, хотя это сопровождалось

ноющей притуплённой болью. Обследование заняло немало времени, так как снимать и надевать сапог было настоящей пыткой. Затем я стал осматривать внутренность зимовья.

Сильно провалившийся потолок был до того низким, что если бы я встал, то непременно стукнулся об него головой. Похоже, он держался только благодаря широкой поперечной доске, разохшейся на две половины. И тресни она где-нибудь от натуги ещё раз, все хлипкие доски перекрытия обрушились бы на меня.

Пола, как такового, не было. Вчера, измотанный до предела, я не заметил этого и только сегодня разглядел, что пол замещали просто лежащие на выровненной земле доски. Старые, насквозь сырые, обросшие по краям бугристым мхом, они свободно сдвигались с места. Я поднял одну из них вверх. Обратная сторона была землистого цвета и насыщенно пахла лесной сыростью. Из набухших древесных волокон выступила мылкая на ощупь вода, и её редкие мутные капли нехотя покатались по доске. Они лениво отрывались от неё и шлёпались на ноздреватую землю, которая тут же впитывала их, а на месте падения некоторое время оставалось мокрое светлое пятнышко.

На обратной стороне доски мною было потревожено большое количество червей и ещё каких-то бесцветных плоских многоножек, которые теперь противно шевелились и влажно блестели на свету.

Я брезгливо выпустил доску из рук. Она облегчённо шлёпнулась на землю и заняла своё прежнее место. А мой взгляд перешёл с пола на единственное крохотное оконце.

Оно было перекошено и походило на параллелограмм. Тонкое стекло, помутневшее от времени, треснуло в нескольких местах. Нижний левый уголок был и вовсе без стекла, его заменяла тонкая, тусклая, с неровными краями слюдяная пластинка, плотно законопаченная у рамы кровянистого цвета мхом. Сверху окошко было полностью затянуто густыми пыльными тенётами с множеством иссохших насекомых на них.

Я решил выбраться из зимовья. Опираясь на шероховатые брёвна стен, еле-еле поднялся и с пригнутой головой стал медленно передвигаться к двери, пока не вышел наружу. Потревоженная нога вновь заболела.

Небо было пасмурным. Низкие тучи неторопливо переваливались с одного края неба на другой и прятались за пологим увалом.

Теперь, когда я выпрямился почти в полный рост, то был, чуть ли не с избушку высотой. Она глубоко просела в землю и при этом накренилась на один бок, а пологая крыша только самую малость возвышалась надо мной.

Зимовье и в самом деле было слишком дряхлым и давно заброшенным. Все брёвна до сердцевины трухлявые. Я неосторожно ткнул пальцем в одно из них, и палец полностью погрузился в сырую набухшую мякоть гнилого дерева, без труда проломив тонкую верхнюю корочку. Невероятно! Каким чудом держатся эти немощные насквозь выболевшие стены!

Внутри бревна по моему пальцу кто-то прополз. Я брезгливо выдернул его и стёр с кожи оставшиеся частицы влажной рыжеватой трухи. Неспешно прошёл за угол зимовья. Это место облюбовали муравьи. Огромнейший муравьиный дом, больше метра высотой, обхватывал ветхий угол с обеих сторон, словно поддерживал его. Сам угол тоже был испещрён мудрёными ходами таёжных трудяг. Куча веточек и хвоинок была словно живая от их суетливого движения. «Неплохо устроились!»

Обойдя зимовье, вновь окинул его взглядом. Какое же оно жалкое и убогое! Махонькое. Метра два в ширину да около четырёх в длину, оно си-

ротливо приткнулось в безбрежной тайге на краю небольшого, мало кому известного озера.

Говорят, что раньше, в конце тридцатых годов, в нём обитал какой-то нелюдимый бродяга, неведь откуда взявшийся и живший только тем, чем тайга богата. Но неизвестно точно, когда он вдруг бесследно сгинул. Может быть, затащило беднягу в трясину. С тех пор изредка сюда заглядывали охотники, чтобы переждать ненастную ночь, а вскоре, из-за боязливых суеверий, связанных с пропавшим нелюдимом, и вовсе зимовье было забыто, отчего и пришло в полное запустение.

Так, в размышлениях, прошло полчаса. Сильное чувство голода напомнило о том, что необходимо поесть. Прихромав внутрь зимовья, я опустил у рюкзака, вытащил из кармашка горсть размокших, пахнущих болотной влагой сухарей, торопливо съел их и слизал с ладони размякшие крошки. Есть захотелось ещё больше. Кисловатый промозглый запах помещения странным образом возбуждал аппетит. Я вспомнил об утках.

Вытащил одну и, припадая на больную ногу, снова вышел из зимовья. Отковылял в сторонку и стал торопливо отеребливать. Перья потрескивали, послушно выдёргивались под рукой и бесшумно оседали на землю пёстрыми парашютиками.

Теперь оставалось самое главное: разжечь костёр. К великой радости, шагах в десяти от меня чёрным корявым скелетом высилась засохшая ель. Дрова есть! Но прежде, чем дров было заготовлено достаточное количество, несколько раз пришлось проделать этот путь туда и обратно.

Когда принёс последнюю охапку валежника, то уже с трудом держался на ногах. Повреждённая нога снова заставила сесть. Сердце от возобновившейся боли словно сжалось в комок, и кровь жарко запульсировала в кончиках пальцев.

Я переждал, пока боль успокоилась, взял нож, выпотрошил утку, разрезал на кусочки и осторожно продел их по одному на заранее приготовленные заострённые палочки. Из бокового кармана куртки достал коробок спичек. К счастью, он был сухой. Выложил костёр «колодцем», вокруг воткнул в землю палочки с утиным мясом и поджёг бересту. Она вспыхнула и стала съёживаться от огня. Язычки пламени перебрались на тонкие ветки с засохшей смолой, расползлись яркими дрожащими пятнами по густым прядям лишайника-бородача, и вскоре костёр запылал, выбрасывая горячие и сухие всполохи огня.

Охваченные пламенем ветки шумно трещали, причудливо изгибались и лопались от пышущего жара. Горящая расплавленная смола тоненько свистела и пускала едкий сизоватый дымок. Он покалывал глаза и приятно щекотал нос терпким горьковатым запахом. Я любил этот запах! Запах таёжного костра. И с наслаждением вдыхал его.

Кусочки утятини вкусно пахли жареным. Я снова подбросил в костёр небольшой ворох валежин и стал наблюдать, как они раскаляются и уходят в огонь и дым, оставляя лишь тёплую кучку серого пепла.

Мясо было готово. Я вытащил палочки из земли, взял одну в руки и стал дуть на ещё шипящее от расплавленного жира мясо. Обжигая от голодного нетерпения пальцы, я отрывал маленькие кусочки и жадно ел, шумно и часто вдыхая ртом прохладный воздух.

Какой необыкновенно вкусной показалась мне эта утятинка! Обжаренная на костре, крепко пахнущая дымком, а внутри ещё чуть сыроватая, она словно таяла во рту, и я жмурился от удовольствия.

Насытившись, я пересел под лиственницу на невысокий уступ берега и обмыл в озере руки. Вода была слегка тёплой. И ещё она показалась мне очень приятной, какой-то необыкновенно мягкой для кожи. Успокаивающей.

«А что, если я опущу в неё ногу? – подумалось сразу мне. – Хуже не будет».

Кривясь от боли, стянул сапог. Потом размотал портянку, закатал штаны и погрузил ногу по колено в воду. И надо же! Почти сразу боль успокоилась! Я изумлённо смотрел на воду. Как же я с самого начала не догадался так сделать! В ноге стало слегка покалывать. Видимо, вода проникла в кожные поры.

«А что, если попробовать пошевелить пальцами! – Пошевелил. – Двигаются!»

Я привалился спиной к шершавому стволу лиственницы и взглянул в небо. Оно успело к этому времени проясниться. Только одинокие облака степенно плыли по небосводу и чудно меняли свои очертания.

Уже вечерело. Солнце клонилось к юго-западу, и края облаков светились размытым жёлто-оранжевым светом. Они опрокинуто отражались в спокойной воде Горемычного озера, которое тоже преобразилось под лучами солнца. На другом его конце, почти возле берега, шумно плеснула крупная рыба, и по зеркальной глади пошли частые бугристые круги, замысловато растягивая в разные стороны светлые пятна отражающихся облаков.

«Богатое, наверно, озеро, – подумал я. – Надо будет на днях прийти сюда с удочкой. – И тут же горько усмехнулся, едва поглядел на ногу и вспомнил своё плачевное нынешнее положение. – Калека, а туда же – рыбачить собрался!»

Долго ещё сидел. Провожая взглядом стремительные вечерние перелёты уток, слушал шорохи тайги да заунывное писклявое гудение комаров вокруг, которых отпугивал поддерживаемый мною костёр, и они пока не слишком досаждали.

Когда все ветки прогорели, и костёр стал затухать, солнце уже коснулось края далёкого косогора и побагровело. От озера потянуло холодком. Умиравший огонь перестал отгонять полчища комаров, и те с назойливым звоном начали виться вокруг меня, садиться на открытые части тела.

Я вынул ногу из воды и оглядел её. Отёк стал меньше. Я даже глазам не поверил. Чудо какое-то! И боль гораздо меньше. Вода-то в озере, видать, целительная. Я намочил портянку, намотал на ногу, поднялся и побрёл к зимовью.

Изнутри крепко притворил за собой дверь, Сел, вытянув ноги, навалился на неровную стену и больше никуда в тот вечер не выходил. Задумчиво глядел в окно, а когда стемнело, и тайга погрузилась во мрак, заснул.

На следующий день лил дождь, и мне пришлось безвылазно просидеть в избушке. Разжечь костёр не было никакой возможности, поэтому всю мою еду на сегодня составляли только те два кусочка утятин, которые остались со вчерашнего дня. Настроение было столь же пасмурным, как и погода. Лишь один раз я отважился выйти под холодный сентябрьский дождь, дойти до озера и заново намочить уже высохшую портянку, чтобы обмотать заживающую ногу.

Большим преимуществом в моём положении было то, что в такое промозглое ненастье я был сухим и находился в относительном тепле. Зимовье не пропускало отвесных капель дождя, а впитывало их в рыхлую замшелую крышу. Я неподвижно сидел на досках и чувствовал себя

в этой пустой комнатке потерянным, когда глядел за окно на плотную завесу нудного ливня.

Всего я прожил в зимовье три дня. За это время боль в ноге окончательно отступила, отёка уже совсем не было, и я мог передвигаться, почти свободно переставляя ногу.

На четвёртый день я, наконец, вышел из зимовья и неторопливо направился в сторону села...

...Шесть лет спустя, я вновь, волею случая, пришёл к берегу Горемычного озера. То, что предстало моему взору, заставило сжаться сердце.

Зимовье развалилось.

Я с невольной горечью смотрел на его останки. Рухнувшие брёвна лежали в беспорядке. Некоторые, придавленные другими, были сплющены и переломились, другие выглядели трухлявыми концами изпод горбатой и распавшейся на части крыши. Муравьиная «хижина», которая занимала раньше только угол зимовья, теперь разрослась вширь и укрывала значительную часть основания. Вся масса изгнивших брёвен ещё больше вдавилась в топкую землю и была почти незаметна, стоило отойти от неё метров на тридцать.

Чувство жалости, даже сострадания, и большой благодарности шевельнулось в моей душе. Да, я был благодарен этому зимовью и этому озеру. Благодарен за то, что они помогли мне в трудную минуту, когда я уже почти отчаялся от безысходности ситуации.

Не помню, каким образом, но я вдруг очутился на коленях и без ложного стыда склонился в долгом поклоне перед жалкими развалинами старого жилья. Тогда, шесть осеней назад, по Божьей милости зимовье укрыло меня, покалеченного и обессиленного, от дождливой непогоды, от холодных ночей, скромно, но радушно приютило в своих сиротливых стенах, и я чувствовал себя обязанным ему в благополучном возвращении домой.

И вот теперь, вновь очутившись на этом месте, я отдавал последнюю дань запоздалой человеческой благодарности осиротевшей без хозяина избушке, опустившись на колени. А передо мной грустно чернели бесформенные остатки заброшенного зимовья.

ДУРА КАТЬКА

Городок был небольшой. Так, большая двухэтажная деревня. Поэтому почти все в нём знали Генку Гостюхина, шофёра одного из винных магазинов, который не раз привозил для горожан «весёлую» продукцию.

Сам он был крепок телом, прост в общении, имел приятную внешность, беспечные манеры и... три слабости. Первая неизменно сопутствовала его разудалой работе. Генка почти не бывал «сухим». Отчего грузовичок его редко доезжал до магазина, не раздавив по дороге какую-нибудь замешкавшуюся живность. При этом виноватым оказывался, конечно, не он, а сама нерасторопная беспризорная кошка, которую Генка в лучшем случае спихивал носком сапога с дороги, либо причитающая хозяйка глупого цыплёнка, попавшего под колесо гостюхинской машины. Две остальные слабости вытекали из предыдущей. Когда Генка выпивал, у него моментально развязывались кулаки, и он был не прочь их об кого-нибудь хорошенько почесать, а в-третьих – просто ужасно охоч до женских прелестей. И как-то всё ему всегда сходило с рук. Везде успевал. Но народ его, как ни странно, уважал, а может быть, просто побаивался.

В мае Генка ушёл в отпуск, и с дармовым блатом дело стало похуже. Утром девятого числа, когда в заначке всё было выпито, он направился к своему давнему компаньону Василию Ступицыну с вполне понятным предложением: «Такой праздник – и вдруг не отметить! Поди, сообразим на двоих».

Ступицыны жили через четыре улицы в частном доме. Мать, сам Василий и его почти пятнадцатилетняя сестра Катька.

Катька была слабоумной. Как говорится: бог ума не дал. В школе она не училась, чаще всё сидела дома, вязала крючком кружки. Это было, можно сказать, единственным, что она хорошо умела, с трудом переняв от матери. Среди горожан её звали Дура-Катька, а она нисколько и не обижалась на это.

Когда Гостюхин дошёл до дома Ступицыных, он отворил калитку, прошёл через небольшой двор и поднялся на крыльцо. Постоял у двери, громко, по-мужицки высморкался и бодро постучал. Потом ещё, понастойчивее.

Внутренняя дверь хрипло охнула, и чьи-то мягкие шаги приблизились к двери, за которой стоял Генка.

– Кто там? – спросил насторожённо-любопытный женский голос за дверью.

«Катька» – сообразил Генка и дурашливо приосанился.

– Эт – я!

По ту сторону даже не поинтересовались, кто именно этот «я», брякнул крючок, и дверь подалась вперёд. В тёмном проёме показалась голова Катьки и глупо уставилась на Генку синими-синими глазами.

– Ты кто?

– Я?.. Хэ-х! А мы что же, так и будем с тобой через порог разговаривать? Пускай в дом! – и он сам шагнул в полумрак сеней, уверенно отстраняя оробевшую Катьку.

– А ты кто? – невпопад переспросила она.

– Хэ-х! Да Генка я, Генка! Гостюхин. Не признала? Васька-то дома?

– А ты зачем пришёл?

– Тьфу, ё-мое! Да за Васькой же, спросил ведь. Дома он?

– Чё-о?

– Дома Васька, спрашиваю?

– Никого нету.

– Ну вот – здрасьте! Никого. Куда ж он запропастился?

– Мама ещё утром на поминки ушла. К Ковалёвым, вроде. Весь день там пробудет, сказала. Девять дней, как умер её...

– Ох, Катька! – перебил Гостюхин. – Ну, дура ведь ты – ей богу! Я же тебя не про мать, а про брата спрашиваю, Василия. Дошло?

– Да-да. Он, никак, на демонстрацию ушёл, на площадь.

– На кой чёрт! Демонстрант контуженный! Как же быть?

– Может, чё передать ему?

Катька чуть ли не с собачьей преданностью смотрела снизу вверх на Генку. Она была ему ростом от силы по грудь. Ладная, пышненькая. Про таких говорят, что они, как сбитень, как хлебушко.

Гостюхин стоял, раздумывал, уперев руки в боки, смотрел на Катьку.

Вспомнил, как когда-то в детстве ребятня дразнила Катьку, подстривала всевозможные козни, чтобы можно было над ней посмеяться. Да, впрочем, и сам он любил подшутить над дурочкой.

Однажды увидел её зимой на улице, подбежал и с притворной радостью предложил:

– Катька, конфетку хош?

– Хочу! – ответила она с искренней улыбкой.

– А ты снежка поешь – дам!

Доверчивая Катька сняла с ручки варежку, зачерпнула горстку снега и, откусывая понемножку, принялась есть. Генка стоял рядом и терпеливо ждал, скрывая злорадный восторг.

– Я съела, – сказала Катька и показала пустую, порозовевшую от мороза ручонку. – Дай конфетку!

Только сейчас Генка в голос захохотал:

– А пряника ты не хош? А? Вот такого?! – и он сунул под нос Катьке фигу.

Она недоумённо скосила глаза к переносице, пытаясь разглядеть Генкин «пряник», потом поджала пухлые губки и хлюпнула носом. Заревела. А Генка, довольный своей удачной проделкой, вприпрыжку побежал в сторону.

Сейчас, десять лет спустя, он смотрел на неё с явным мужским восхищением.

– А ты похорошела, Катька!

– Чё я сделала?

– Хэ-х! Похорошела ты, говорю. Вон какая стала! – и он сделал шаг к ней.

– Какая? – Катька хлопнула глазами и отступила.

– А эт-я сдас проверю. Ну-ка!

Генка пружинисто рванулся к ней и обнял. Стал тискать.

– О-о-о, какая ты мягкая!

– Ты чё? Пусти!.. Эй!

– Одну минут-точку!

– Я маму буду кричать!

– Хэ-х, голова садовая! Давай, дурёха, кричи, она ж на поминках.

Катька сообразила это и совсем растерялась. Заметалась глазами, глупо задышала в Гостюхинских объятьях и обмякла от странного испуга.

Генка торопливо, но с нежной страстью уже шарил рукой под кофточкой Катьки.

– Какая ж ты стала-то, а! Хэ-х, а я и не заметил. Дурёха ты моя! Сдобная! Вкусненькая!

Генка стремительно поцеловал её в губы. Она слегка отпрянула.

– Ты чё это?! Это нельзя!

– А я хочу. Почему ж нельзя?

– Нельзя это... Мама не велела.

– Хэ-х, мама ей не велела! Эх ты, дурёха не целованная!

– Почему это не целованная? Я целованная!

Гостюхин на мгновение изумился её словам, но тут же увлёк Катьку вглубь сеней.

– Правда?! Целованная?!

– А то нет. Я и маму целовала, и Ваську. И они меня тоже.

– А меня, значит, нельзя? Ха-ха-ха-ха! Чужой, выходит! Так, да?

– Не знаю.

– Что хоть ты знаешь, темнота! Эх, Катюха, да я же брат твой... Двоюродный, – на ходу соврал Генка.

– Честно, что ли?

– Да клянусь тебе!

Он снова обнял её, поцеловал в губы и шею.

– Значит, никого дома-то нет?

– Ага, никого. А ты, вправду, мне брат?

– Да чтоб мне провалиться! Эх, Катька, хорошая ты! Добрая и глупая. Пошли в дом. Чайком – то угостишь... братца? Хэ-х!

Генка отворил внутреннюю дверь, потянул за собой Катьку и прошёл с ней в комнату. Посадил на кровать. Та послушно села, стала выжидательно смотреть на него. Гостюхин облизнул губы, игриво подмигнул и доверительным голосом спросил:

– Катюх, а тебе приятно было, когда я тебя целовал, а? Вот если честно – приятно?

– Ну, приятно. А чё?

– Хочешь ещё? Я научу.

– Давай.

Он опять, уже неторопливо, прильнул к её губам, а свободной рукой ловко проскользнул между пуговиц халата и стал ласково гладить, слегка сжимая, Катькину упругую грудь с твёрдым, как горошина, соском.

Катька инстинктивно глубоко вдохнула воздуха и прижалась к Генке, обхватила рукой. Он целовал её в жаркую шею и на ощупь, одну за другой, растёгивал пуговицы халата. Катька не сопротивлялась.

Она всегда была объектом обидных насмешек и мало видела в жизни доброго от людей. Праздником для Катьки была и материнская ласка. Поэтому сейчас она совершенно не знала, не представляла, как ей поступить, и полностью доверилась всё знающему «брату» Генке.

Но то, что стал делать с ней Генка дальше, ей было совершенно непонятно и даже испугало её. Новые, ещё неизведанные ощущения с резкой болью, властно всколыхнули Катькино неискушённое нетребовательное сознание. Вся она глубоко погрузилась во что-то незнакомое, чуждое, но уже давно подспудно желанное. Была ли она счастлива или несчастна в эти минуты, Катька и сама не могла понять, осмыслить до конца. Просто безропотно покорила тому, что случилось с ней.

А Генка ушёл. Лишь со свойственной ему бесшабашностью бросил Катьке с порога напоследок:

– Что, Катька, понравилось? Хэ-х! Мне понравилось. Ты хоть и дура, а ничего, ласковая, я таких люблю. Не больно хоть было? Первый раз ведь всё-таки...

Катька недоумённо выкатила глаза и неотрывно смотрела на него, своего первого мужчину, покусывала губы.

– Катюх, хочешь, я ещё приду?

Та в ответ сначала замотала головой, но тут же следом утвердительно кивнула.

– Ты только это... своим не говори, что мы тут делали. Слышишь?

– Почему? – Катька искренне удивилась. – Ты же мой брат!

Генка вскинулся, сверкнул глазами, потом резко нахмурился и грозно, сквозь зубы процедил:

– Не вздумай! Только, дура, попробуй – побью! И приходите не буду.

Катька торопливо закивала головой. Она никак не хотела, чтобы её побили, а ещё больше испугалась за то, что Генка, который был так ласков с ней полчаса назад, больше не придёт к ней.

Гостюхин для острастки погрозил Катьке кулаком, приказал одеться и вышел, хлопнув дверью. А припугнутая Катька на ходу застегнула халат, подбежала на цыпочках к окну и, глупо улыбаясь, стала смотреть вслед удаляющемуся бодрым шагом Генке. Глядела до тех пор, пока он не свернул на соседнюю улицу.

Гостюхин наведывался в ступицынский дом ещё несколько раз, выбирал такое время, когда ни матери, ни Василия не было дома. Она всегда ждала его. Теперь Катьке уже нравилось то, что когда-то так сильно испугало её. По-бабьи заполошно радовалась, когда он приходил и жадно облапывал за талию своими цепкими шофёрскими ручищами. И, как под присягой, молчала с домашними об этих встречах. Где-то подсознательно боялась нарушить свою единственную огромную радость, которая так неожиданно появилась в её никому не нужной жизни. Словно каким-то шестым чувством предугадывала, что и без того счастье будет недолгим.

Кончился май. Генка вышел на работу. Всё пошло по-старому. Катька осталась в прошлом. Только иногда, проезжая мимо их дома на своём грузовичке, он неизменно видел её. Катька стояла у заборчика в ожидании чего-то, и Генка жёстко тормозил, высовывался из окошка кабины и кричал пьяным голосом:

– Привет, Катюх! Как жизнь-размазня? Хэ-х! Скучаешь? Не бойсь, забегу! Жди!

И она всё ждала. Каждый вечер выходила к калитке, шарила глазами по улице, а Генка всё не приходил...

Наступила осень. Дружный листопад густо заляпал улицы пёстрыми пятнами листьев. Небо помутнело и ближе придвинулось к горбатым крышам домов. По утрам густой иней выбеливал дощатые тротуары, а под ногами хрустел ледок замёрзших луж. Был на исходе сентябрь.

В один из таких вечеров Катька по обыкновению снова вышла к калитке. Наивно и преданно стала смотреть вдаль улицы. Ждала. До-олго. Холодный порыв ветра обжёг лицо, выбил из Катькиных глаз слёзы. Она погрустнела, тяжело вздохнула и вдруг резко замерла, напряглась всем телом. Словно прислушалась. Потом насторожённо и тихо опустила голову вниз и бережно положила руки на живот.

Что-то непонятное Катьке, будто живое, впервые, по-хозяйски, толкнулось у неё под самым сердцем.

ВЗГЛЯД МАТЕРИ

Валера решительно опрокинул стопку, скривился, шумно занюхал ржаной краюхой и закусил луком. Обвёл бесцельным взглядом комнату, облокотился на стол и подпёр могучим кулаком колючую щеку. Внизу, у ножки стола, уже стояли две пустые бутылки.

– Михайло! – позвал Валера, оборачиваясь корпусом к кровати.

Никто не откликнулся.

– Мишка! – нетерпеливо и громче повторил он.

Железная кровать заскрипела, и глухой сонный голос недовольно ответил:

– Чего?

– Вставай. Хватит дрыхнуть.

– Отвали. Я сплю.

– Я за бутылкой сходил.

– Да? – оживился сразу Михаил. – А не врешь?

Он с деланным видом одолжения поднялся, прогромыхал сапожищами к столу и грузно опустился на табурет.

– Ишь ты. И, правда, купил. А выдюжим, третью-то?

Валера пропустил последнюю фразу мимо, налил до краёв в стаканчики, прищурился и в лоб спросил приятеля:

– Мих, ты когда-нибудь видел, как крыса рожает?

Михаил опешил и недоумённо поглядел на товарища.

– Не-ет. Откуда?

– Да-а, брат – пря-атаются, – как-то задумчиво и с удовлетворением протянул Валера. – Кошек тоже редко увидишь, когда рожают или с котом любят.

– Ну, кошек – да. А крысы... к ним в нору, что ли, лезть будешь? – Михаил пожал плечами. – А чего спросил-то? Видел, что ль?

– Ага. Вчера в кладовку пошёл, коробку в углу сдвинул, и она там, в гнёздышке своём.

– И не убежала?

– В том-то и дело! Лежит, дрожит вся и на меня как-то сильно пристально смотрит, с отчаянием даже. Я аж замер от удивления. Вдруг гляжу, а у неё, то есть из неё крысёныш вылезает. Рожает, значит. Потом второй полез, бы-ыстро так. Также гладкий да мокрый. Она их облизывает, а сама на меня поглядывает то ли виновато, то ли ещё как не знаю.

– Ну, геро-ой! Сразу убил или, как акушер, до конца присутствовал?

– Да никого я не убил. Зачем? Взял в кладовке, что надо было, и ушёл.

– Хм, ну и дурак, значит, – сказал, как припечатал, Михаил. Затем опрокинул стопку, крякнул и налил снова.

– Сам дурак! – оскорбился Валера. – Зачем убивать-то? Она же рожала.

– Ага, ещё дюжину таких же вредителей! У тебя что, винтик из головы выпал? Пожалел! Да их всех сразу давить надо. Хоть бы кирпичом запустил что ли!

– Да ты что! – вскинулся Валера. – Это ж не честно! Не по-божески! Понимать надо. Она ж матерью стала!

– Кто? Крыса?! Хэ-э-э, даё-ошь!

– Ну, смейся-смейся, – насупился Валера. – А для меня хоть кто рожай – святое дело. То, о чём ты говоришь, это подло. Вот когда в капкан попала, тогда всё по-честному.

– Ну-ну, жди, – насмешливо заключил Михаил и опять выпил. – А тараканиху беременную тоже не задавишь, сжалишься? – ехидно поинтересовался он, закусывая.

– Чего?

– Да вот: как раз! – воскликнул тот, резко хлопнул по краю стола и протянул Валере на ладони рыжее насекомое с раздавленной от удара головой и тугим прозрачным брюшком. – Во! Так сказать, на последнем месяце ходит. То есть ходила.

– Фу, пакость! Убери.

– Противно? Значит, убьёшь.

– Ну, таракана-то при надобности, конечно, раздавлю. Комаров ведь тоже шлёпаем.

– А как же твоё «святое дело»? – подковырнул Михаил.

Валера смущённо закряхтел, заёрзал на стуле.

– Тут, понимаешь, дело в другом.

– Это в чём же другом?

– В разуме, что ли.

– Это как же? – Михаил продолжал ехидно подначивать.

– Ну, так. Мне таракана не жалко, потому что я в нём разума не чувствую. Он ведь что: крошку сожрал да убежал – и так всю жизнь. А крыса

или мышь – уже нет. У них хотя бы хитрость есть. И ещё, я когда на ту крысу вчера глядел, у неё в глазах что-то особенное было. Осмысленное. Как бы точнее-то тебе... Взгляд матери – вот что. Очень, знаешь, такой взгляд,.. проникновенный. Всё в нём.

Я вот, как и ты, не первый год забойщиком скота работаю, вроде бы уже самое привычное дело, профессионал, а не поднялась рука, не посмел. Взгляд этот остановил. Материнский. Это всё равно, что если бы на свою мать руку поднял.

Валера коротко перекрестился, помолчал, размышляя, и продолжил:

– Да и тараканиха эта... Тоже ведь Божья тварь. Для чего-то и их рыжее племя Господь создал. И вовсе не за тем, чтоб их от нечего делать, походя, ладонью плющили. Тем же птицам прокорм.

Так что, Миша, зря ты, наверно, меня дураком обозвал. Тут в другом дело. Я теперь вот даже не знаю, как завтра на работу идти, в глаза коровам смотреть. Всё внутри перевернулось. А ты говоришь, давить всех.

Михаил уже захмелел, и, видимо, что-то тоже проснулось и толкнулось в его сердце хорошее, просветлило душу. Он больше не ехидничал, а наоборот, наполовину прикрыв веки, молчаливо кивал головой на слова Валеры.

Откуда-то с потолка на тонкой струне-паутинке спустился молодой паучок. Покачался нерешительно над столом, спустился ещё, коснулся проворными лапками столешницы и насторожённо замер. Но ни одна рука не поднялась, чтобы убить эту маленькую жизнь.

АЛЛАХ ВЕЛИК!

(рассказ из недавнего прошлого)

В основе рассказа лежит действительная история, рассказанная беженкой по имени Карима.

Она была беженкой. В конце весны с мужем и четырьмя детьми эта женщина добралась до одного из сибирских городов, где теперь каждый день и побиралась, усаживаясь на твёрдый асфальт какой-нибудь из центральных улиц.

Одежда на ней была не бог весть какая: старая, выцветшая, пыльная, но, однако не утратившая от этого своего национального колорита. Лицо женщины, по обычаю, было закрыто плотным платком до самых глаз, которые мутно-карими бусинами глядели на равнодушно проходящих мимо людей с надеждой и отчаянием. Но больше всего в них было боли и безмерной усталости, синюшными кругами лёгшей вокруг впалых глазниц. Она не была нахальной, как многие другие беженцы. Плохо это было или хорошо при её положении – трудно судить. Не могла она так.

Всегда молчаливо сидела эта женщина на обочине тротуара. С опущенной головой монотонно покачивалась из стороны в сторону и ждала милостыни от людей, несмело, стыдливо протянув вперёд огрубелую, заскорузлую от неизбывных тягот руку. На мгновение радовалась и долго с благодарностью кланялась вслед, если к её ногам шелестела мятая «тройка» или «десятка». Большое счастье – сотенная бумажка. Подбирала её и, неслышно вздохнув, ещё ниже опускала голову. За день удавалось насобирать не больше тысячи. Обычно – меньше. Какие же это были деньги для большой семьи. Ближе к вечеру женщина поднималась, кое-как разминала затёкшие от долгого сидения ноги и шла раздобыть на милостыню что-нибудь съестное

для детей и мужа, который каждый день, порой безрезультатно, мыкался в поисках случайной работы (не побираться же мужику). Бывало, что в течение нескольких дней подряд не находил её.

Её было сорок шесть лет. Звали женщину Салима.

В один из дней Салима сидела на противоположной от базарной площади стороне улицы, поджав под себя ноги в каких-то жалких обутках, с той же застывшей безысходностью в глазах. Перед ней к обочине дороги плавно подрулил и мягко, почти бесшумно остановился кофейного цвета «Форд» с затемнёнными стёклами.

– По-моему, как раз то, что мне нужно, – сказал один из двух сидящих в автомобиле парней. Молодой, пышущий здоровьем, в престижном костюмчике оливкового цвета.

– Да брось! Далась тебе эта затея, – ответил другой, не менее элегантный, который сидел за рулём.

– Ну, не-ет! Знаешь, бывает такое: вроде бы всё о,кей, всем доволен до пуза, но это-то и сосёт душу. Хочется чего-то такого – нмма! Необычного или, ещё лучше, запретного. Сечёшь?

– И охота тебе мараться? Не брезгуешь?

– Дур-рак! Именно это и разжигает интерес! А эта беженка – как раз, что надо: проста и немолода. Надоели уже молодухи!

– Да ей же лет сорок, если не сорок пять! Очумел? Было бы лет до тридцати-тридцати трёх, тогда ещё можно понять, но тут...

– Что ты понимаешь! В сорок пять – баба ягодка опять. Ты не гляди, что грязная да оборванная, она в сто раз чище всех наших городских потаскушек. У неё ведь никого, кроме мужа, не было. Им Аллах не велит. Ха-ха-ха-ха!

– Интересно! А с тобой, значит, Аллах разрешает? Мол, на здоровье! Ну-ну, валяй! Аллах с тобой! Только ты ведь необрезанный, насколько я знаю, и свинину большой любитель поест, а?

– Да пошёл ты!.. Не в этом дело. Просто я хочу её! До зуда! Вот такую: чумазую, замызганную, нищую. Заставить её силой, унижить. Сечешь, какой это бесподобный кайф: чувствовать вынужденную бабью покорность!

– Не думал я, что у тебя такой дерьмовый вкус. Ты, случайно, не извращенец, а?

– Чего-о? Сам ты... Корчишь из себя ангела непорочного. Только посмотри, какая она смугленькая! А какие глаза! Не-ет, уж с ней-то я испытаю такое, чего ещё ни разу ни с кем не испытывал!

Он вышел из машины, оправил пиджак и небрежным шагом направился к Салиме. Та несмело поглядела на него. А парень, не дошёл двух шагов, лениво присел на корточки и насколько мог пренебрежительно бросил:

– Эй, беженка, тысячу рублей хочешь?

Салима испуганно молчала. «Что надо этому человеку? Почему он хочет дать такую большую сумму?»

– Молчишь? Хм... А две тысячи?

Салима нерешительно произнесла:

– Зачем смеётесь надо мной? Что вы хотите?

Похотливо улыбаясь, парень сделал пояснительный жест пальцами.

Салима спешно замотала головой и, как от чумного, отползла от него.

– Ну, ладно, ладно! Пять тысяч. Слышишь? Как с куста!

– Аллах с тобой! Иди, откуда пришёл! – негромко, но твёрдо произнесла Салима.

Молодого человека последняя фраза задела. На мгновение он опешил, как от пощёчины. У него ещё никогда не было осечек и неудач с женщинами, а тут какая-то беженка отмахивается от него, как от надоедливой глупого пса. Он внутренне обозлился и решил действовать до конца.

– Десять тысяч, тварь! Десять! Ты таких денег даже не видела!

Салима убито молчала. А он, видя её смятение, продолжал словесно изощряться:

– Ну, кого ты тут из себя корчишь, а? Правверную? Боишься, что муж узнает? Дура! Не узнает. Всего один раз, слышишь ты? Я тебе поправлюсь. Не думаю, что твой муж лучше меня. А у тебя будет прекрасная возможность сравнить.

– Ты мне в сыны годишься, – едва смогла выдавить из себя Салима, не зная куда деться от насевшего красавца.

Тот помолчал немного, бесстыдно разглядывая её, затем насмешливо продолжил:

– И что? Это даже интереснее,.. мамочка, – и с исступлением в голосе процедил:

– Двадцать тысяч!

Потом подался вперёд, ухватил Салиму за подбородок и рывком поднял её лицо вверх.

– Смотри мне в глаза, сволочь! Двадцать тысяч! Я сегодня щедрый. Ну, пошли!

В это время из автомобиля вышел второй парень.

– Ну, что?

– Капризничает, тварь!

– Хэ! Девственница, что ли?

– Да какая там девственница! Наверняка мать-героиня!

– М-м. Я тут что подумал: если я буду иметь свой куш лакомства, то готов вложить долю. Поделишься?

– Ты глянь! Быстро же твои вкусы изменились!

– Ладно, считай, что ты меня заинтриговал своей «целеустремлённостью». Ну так что?

– Пожалуйста. Я не жадный. Но не думай, что получишь сладенькое вперёд меня.

– Не бойсь, я не привереда. Ты сколько давал?

– Двадцать.

– Сбрэндил?! За эту развалюху!

– Я тебя не принуждаю.

– Ладно. Значит, плюс я – десять.

До Салимы донеслось:

– Ты слышала? Эй! Тридцать тысяч!

Салима с горечью закрыла глаза. «Какие деньги! Целый месячный заработок без уличных мытарств! Можно будет купить что-нибудь новое детям. Но что скажет муж? Может, он не узнает? Может быть. Но простит ли Аллах? О Аллах, почему ты не защитишь меня сейчас! За что так?.. Но какие деньги!..»

«Сорок тысяч» – услышалось Салиме, как сквозь сон, и в руке захрустели деньги. Она вздрогнула, вяло встала и на ватных ногах, ничего не видя перед собой, пошла к сверкающему «Форду», влекомая за руки теми, кто только что купил её. В кулаке Салимы крепко были зажаты четыре новенькие десятитысячные купюры, а в воспалённых глазах стояли слёзы отчаяния, стыда и полной незащитности.

«Форд» с шиком, неторопливо ехал по улицам города. В просторном салоне было уютно, пахло дорогими сигаретами. Из динамиков магнитолы приглушённо доносился проникновенный голос Джо Дассена. Но до Салимы неясно доходило всё происходящее. В голове затыжными толчками шумела обжигающая мозг кровь: «Что со мной будет?.. Аллах велик, он накажет! Но какие деньги!..»

Вскоре автомобиль выехал на окраину города и минут через десять врезался в глубину сосняка, свернув на грунтовую дорогу. Остановился. Оба парня вышли из машины. Первый открыл дверку беженке.

– Вытряхивайся, мадам! Приехали.

Салима обречённо вышла, бессмысленно глядя вниз. Парень грубо схватил её за руку, развернул спиной и властно толкнул на автомобиль. Та покорно навалилась туловищем на прохладную гладкую крышку багажника.

Дальше Салима уже ничего не чувствовала, находясь в горестном забытьи. Пришла в себя, только когда стали подъезжать к городу. Из «Форда» её высадили там же, где два часа назад Салима впервые увидела этих парней.

Домой пришла поздно. Что сказать мужу? Обмануть? Но можно ли обмануть Аллаха? Он всё видит. От безысходности Салиме было ещё горше и страшнее.

Она вошла в деревянный одноэтажный, выселенный под снос дом, где ютилась её семья последние три недели, и сразу увидела мужа. Дети уже спали.

– Что так поздно? Сколько насобирала сегодня? – сразу же строго спросил он на своём языке.

Салима молча, робко положила перед ним хрустящие бумажки, а сама пугливо отошла и села в углу на фанерный ящик.

– Салима, ты их что, украла? Откуда они у тебя, отвечай!

Та была уже не в силах сдерживать накопившуюся боль и унижение в себе, затравленно вздрогнула от сурового окрика мужа, громко охнула, уронила голову на колени и зарыдала. Всхлипывая и часто отирая рукавом горячие слёзы, она начала сбивчиво рассказывать мужу о том, что случилось с ней сегодня днём.

Поняв смысл, он недослушал до конца, мгновенно изменился в лице, почернел от ярости и накинулся на неё.

Салима не сопротивлялась. Он бил и бил её, наотмашь, куда попало, а когда обессиленная Салима повалилась с шаткого ящика на пол, стал пинать ногами в живот, пока Салима не замолчала в беспамятстве.

Дети уже давно проснулись от ругани отца и рыданий матери. Испуганно и беззвучно лежали в комнате за дверью и не смели даже пикнуть. Они боялись отца. А тот грубо и брезгливо отпихнул Салиму, ушёл в другой угол, опустил на колени лицом в сторону Мекки и стал молиться.

Долго с иступлением он молился своему богу, возносил хваления. То упрекал, то рыдал, то ругался, то клялся непременно расквитаться за свою поруганную жену. И снова страстно о чём-то молил, непрерывно отбивая поклоны.

Постепенно его шумное возбуждённое дыхание успокоилось, он тяжело свесил голову со включенными волосами на грудь и затих, едва бормоча что-то себе под самый нос.

Потом замолчал совсем. Стал думать: как ему быть.

Убить? Прогнать Салиму за неверность? Он, конечно, проживёт, но – дети! Их четверо, куда он их денет? Но что тогда? Простить измену? Простить позор?.. Как же быть? Как быть?

«Подумать только: моя жена, мусульманка, при живом муже продалась за деньги. Как последняя проститутка! Но какие деньги! Будь они прокляты! Ради детей!.. Ради меня... О Аллах, помоги мне!»

Он устало поднялся. С ненавистью, но в то же время с жалостью и ещё каким-то неизъяснимым чувством, медленно, неуверенным шагом подошёл к Салиме. Та уже опаматовалась от побоев, но всё ещё лежала на полу. Когда муж приблизился, она открыла опухшие от слёз глаза, тихо и хрипло спросила с полной безнадёжностью.

– Что сказал тебе Аллах?.. Я должна умереть?..

Муж поглядел на неё сверху вниз, потом отвёл глаза в сторону и дрожащими губами после долгой паузы, как в пустоту, произнёс:

– Аллах велик! Он простил тебя. И мне наказал простить. Растить детей, Салима. И не изменяй мне больше. Аллах два раза не прощает.

ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ

Михеич сидел на скамейке боком к печке и курил папиросу. Неторопливо втягивал в себя, прищуривая при этом обрякшие веки, и столь же медленно выпускал изо рта густой дым. Топил печку. В доме уже стало тепло. В топке слабо шуршали раскалённые головёшки, печка дотапливалась.

Не выпуская из плотно сжатых губ уже погасшую папиросу, старик снял телогрейку, взял длинную кочергу, открыл дверцу печи и последний раз пошерудил остывающие угли, сдвинул их кучкой поближе к дымоходу. С минуту-другую выждал, встал, со стоном распрямил до хруста спину, крепко задвинул заслонку и снова с облегчением сел. Вгляделся подслеповатыми глазами в циферблат старых ходиков с одной гирькой-шишкой, качнул головой и стянул губы в трубочку. Было без четверти восемь.

– Где же нашу старуху-то носит, а, Вась? – обратился он к белому с рыжеватыми пятнами коту.

У Михеича всегда была эта странность: очень уж любил разговаривать с животными. Причём не в шутку и не походя, как многие, а именно серьёзно, как с человеком. То им новость какую расскажет, а то и за советом обратится.

Было дело. Один раз Михеич за сеном ехать собрался. Вышел коня запрягать в сани, сам разговаривает с ним между делом. А потом неожиданно возьми да и спроси:

– А что, Бурко, как ты думаешь, сёдни ехать али завтрава подождём? А? Сёдни?

А коню вдруг случись с чего-то головой замотать после этих слов, он и замотал. Да так сильно, что старик малость струхнул даже, стал обратно распрягать да приговаривать:

– И то, правда! Что ж это я тебя сразу-то не спросил. Подождём до завтрава. Не ровён час – пурга вдруг начнётся. Сгинем тогда оба.

Завёл коня обратно в стойло и сам зашёл в дом, разделся к удивлению старухи, сел за стол чай пить.

И что самое интересное, немного погодя, погода, в самом деле, начала быстро портиться, повалил густющий снег, завьюжило, загудело, и целых два дня пробушевала пурга, загнав всех по домам. Старики тоже безвылазно сидели в домике, Михеич тогда всё крестился да благодарил за провидение коня, всячески расхваливал перед старухой его ум...

– Где ж она запропала-то, а? – спросил он снова кота о старухе.

Васька только едва повёл ухом в сторону голоса. Разморённый жарой, он сидел подле самой печки с плотно закрытыми глазами и был похож на медитирующего китайца.

– Вась, ты чего молчишь, когда с тобой разговаривают?

Уши кота снова слабо шевельнулись.

– Васька, иди ко мне!

Та же реакция.

Старик догадливо усмехнулся и хитро блеснул глазами. Потом вскинул брови и вкрадчиво, нараспев проговорил:

– Ва-сень-ка-а, а я ведь против твоего молчанья-то волшебное сло-ово знаю!

Михеич выждал хорошую паузу и в полной тишине произнёс:

– Кыс-кс-кс-кс-кс!

Ваську как подменили! С громким обрадованным мяуканьем он миглом вспрыгнул Михеичу на колени, замурлыкал, захыркал, стал тереться уса-той мордочкой в грудь старика, задрал трубой и распушив длинный хвост. Довольный своим «заклинанием» Михеич, широко улыбался и поглаживал мохнатого подлизу.

В это время приглушённо стукнула калитка, и по двору захрустели торопливые шаги.

– Ну, вот и дождались хозяйку, – заключил старик, ссаживая кота на пол.

Отворилась дверь, и спиной вперёд вошла, по-бабьи кряхтя и взохивая, старуха, вместе с ней в прихожую ворвался большой белёсый клуб морозного воздуха.

– А ты чего это впотымах-то сидишь? Ни зги не видно! – быстро проговорила она, осторожно, но скоро поставив на стол ячейку яиц.

– Свет у нас отключили. По всей улице. Только ты ушла и – сразу.

– А-а, я и не заметила даже! Бежмя бежала, как ошалелая!

– Чего ж так?

– Чего! Крещенские ведь на дворе! Али забыл? Ресницы и те смерзают-ся. Шутка, что ли! А тут ещё поупку волоки. Ни закрыться толком, ни отворотиться.

– Н-нда. В лютый холод всякий молод. Хорошо, хоть дошла. Не околела по дороге.

– Типун тебе на язык! Всё бы подтрунивать!

– Хе!

– А накурил-то как, го-осподи! Хоть топор вешай!

– А мне-то чё. Хочешь, дак вешай. Хе!

– Дымит, дымит каждый день! Как паровоз!

– Ла-адно, не бубни! Кота напугаешь.

– Вас напугаешь. Как же!

– Ну во-от, зате-еяла. Мы тут, понимаешь, ждём её с Васькой, как хри-стово яичко, а она, погляди-ка, как расшумелась.

У нас тут такая тишина была. Правда, Вась?.. Где ходила-то эко время?

– А вот за яичками-то как раз и ходила. Аль не видишь?

– На что? Чай не праздник. Крещение-то уж прошло, сколь я знаю, а до Пасхи ещё, как до Москвы на телеге.

Старуха, наконец, отдышалась, разделась, села напротив, у стола. По-глядела на мужа и вздохнула:

– Ты у меня совсем со склерозом стал. Начисто всё забыл.

– А что такое?

– Что? Именины у тебя через четыре дни – вот что. А яйца я купила, чтобы постряпать чего-нибудь.

– И то... Я и, правда, забыл. Постой, это сколько ж мне стукнет?

– Семисят шесть. Ты же в десятом году родился.

– Н-нда-а, память с дыркой стала, – с сожалением протянул Михеич.

Старуха тут встала, ушла на кухню. Видимо, начала шарить по столу и тут же загремела в темноте, уронив что-то на пол. Старик заворчал.

– Тебя лешак там водит! Сама расшибёшься и посуду всю перебьёшь!

Старуха тихо, с досадой охала, потирала ушибленный локоть.

– Чем ворчать-то, помог бы лучше, ирод!

– Что-о такое!

– Керосинка у нас где?

– Под табуреткой у холодильника.

– Нету.

– Смотри лучше. Глаза-то разуй.

– Да нету, что я, слепая, что ли!

– Тогда за самим холодильником гляди... Нашла?

– Нашла, нашла.

– Неси сюды, спички у меня.

Зажгли лампу. Освещённая комната стала родной и уютной. Старуха ещё немного посуетилась, перекладывая попку в холодильник, собрала на кухне уроненные миски да черепки от одного разбившегося-таки блюда. Потом взяла клубочек спряденной собачьей шерсти и спицы, села около печки и принялась надвязывать протёртые пятки стариковских тёплых носков.

Замолчали. Старик достал новую папиросу и с отрешённым видом курил, старуха же споро перебирала спицами, склонив голову над вязанием. На стене монотонно тюкали ходики, а Васька напряжённо затаился у дырки в подполье и караулил скребущуюся там мышь. Михеич о чём-то думал, пристально поглядывая иногда на жену.

– А что, голубушка, столько лет прожить, как я, это шибко много?

– Да уж никак не мало, – отозвалась та, не отрываясь от своего дела.

– Н-нда. Порядочно... Тело-то, и правда, вон как одрябло. Глянь.

– Чего мне глядеть-то. Я тебя, как облупленного, вдоль и поперёк знаю.

– Ишь ты, – добродушно выговорил Михеич и пососал папиросу.

Потом склонил голову набок и снова поглядел на жену.

– А ведь не плохо мы с тобой жили, а?

Старуха из-под очков глянула на старика и оттопырила нижнюю губу: к чему это, мол, он ведёт? Затем тихо рассмеялась и игриво ответила:

– Жили? Хи! Вот так и жили: спали врозь, а детки были!

– Тьфу! Я ж тебя серьёзно, в большом плане спрашиваю, а ты!

– На-ка, «большой план», носок померяй, ладно ли будет? – она протянула старику один носок, а сама вытащила рядом из угла прялку, которая досталась ещё от матери, села на неё и принялась пряхть уже примотанную шерсть, ловко потеребливая её одной рукой, а другой быстро-быстро прокручивая веретено. Оно прямо так и вертелось юлой и постепенно увеличивалось в объёме.

Михеич тем временем сидел с починенным носком на ноге. Так и сяк разглядывал его. Даже ногу на колено положил, чтобы лучше разглядеть. Помусолил с недоверием вязку между пальцами: надёжна ли?

Только потом удовлетворённо, с оттенком великодушия сказал:

– Хорошо сделано! Молодец!

Та в ответ лишь отчётливо хмыкнула.

Она не обиделась. Они вообще со стариком никогда серьёзно не ссорились. Оба любили пошутить, а если и поворчать, повздорить, то тоже с известной долей шутки. Потому, может быть, и прощали легко друг другу житейские мелочи.

А за столь долгую, пятьдесят два года, совместную жизнь, несмотря на видимую разность характеров, совсем попритёрлись друг к другу, стали не разлей-вода – старики Липатниковы. Недаром же в народе говорят, что не по хорошу мил, а по милу хорош. Так было и у них.

Старуха между тем уже устала прясть, движения рук замедлились, от однообразной работы да ещё при недостатке света неудержимо стало клонить ко сну. Она вздохнула, заткнула веретено в шерсть и, обращаясь к прялке, погрозила пальцем и шутливо наказала:

– Я сейчас спать лягу, а ты без меня одна ночью пряди. К утру чтобы всё выпрjala. Поняла? Вот так.

Она встала, от души зевнула и одновременно перекрестила от нечистой силы рот. За ней встал и старик, опять пытаясь с усилием распрямить спину и постанывая.

– Ох, мать, болит у меня спина-то, моченьки нет! Словно кто шилем в неё тычет.

– Ну-у, беда мне впрямь с тобой. Третий день уж маешься, а всё ничуть не лучше. Айда, ложись. Сейчас постелю, и ложись, а я водкой тебе хребтину-то натру.

– Ох, во! Самое дело! А то ж ведь так и стреляет в костях-то.

– Ну, давай, айда, имвалид! Не рассыпся, куда пойдёшь.

– Да ты погодь, погодь маленько! Я даже шага ступить не могу – так насиделся. Ханроз проклятый! Чтоб ему пусто было!

– Сам виноват. Тебе чего врачиха сказала? Не курить. А ты? Вот погоди у меня, найду, где прячешь, весь твой табак в печке сожгу!

– Да ты постой, не сердчай не по делу! Сама ведь знаешь, с войны костями стал маяться. Сколько болот да речушек вброд переходить пришлось.

– Помню-помню, всё помню. А и курить тоже не надо бы, бросать надо.

– Да куда уж мне бросать. Поздно. Как я без папиросочки, – грустно сказал старик и, наконец, с вздохом поковылял к кровати.

Спустя полчаса Михеич лежал под двумя стёганными одеялами уже разогретый, растёртый и тихо кряхтел, ожидая, когда подействует рюмочка «сорокаградусного обезболивающего», которую великодушно отмерила жена для приёма внутрь. Старуха тоже вскоре легла, потушив лампу, и повернулась к старику.

– Ну, чего? Легче?

– Да вроде как. Отпускает.

– Вот и слава Богу. Теперь спи. Да смотри, чтоб к именинам здоров был.

– М-м, и хвостик морковкой! – коротко в подушку хохотнул тот.

– Ну, это уж, если сможешь, – по-доброму усмехнулась в ответ старуха.

Поворочалась на перине и сонно добавила:

– До завтрева. Спи.

– До завтрева, – глухо выдохнул Михеич из-под одеяла и замолчал.

Спустя некоторое время в доме Липатниковых уже все спали. Положив ладони под голову, еле слышно посапывала старуха, размеренно всхрапывал Михеич, а в ногах между ними свернулся в пушистый клубок и бесшумно спал-дремал кот Васька, прислушиваясь к ночным избушным шорохам. До завтрева.

АНАСТАСИЯ

- Старух, а сёдни которо число будет?
- Двадцать седьмо, – донеслось сонно из-под одеяла.
- М-м... А месяцц? Декабер?
- Ну...
- И то... А то я уж было запамятовал. Значит, де-ка-бер, – повторил он с расстановкой, вставая с кровати и надевая рубаху.
- Да ты куды вдруг ни свет ни заря? – недовольным голосом спросила, тоже поднимаясь, вконец разбуженная старуха.
- Как куды? Вчера всё было говорено.
- Ой, боже ж ты мой! – запричитала старуха, вспомнив минувший день и всплеснув руками. – Да, можа, ещё обойдётся всё, а-а? Перемогнётся она, поди? Ой, боженьки-и-и!
- Ишь ты, брат – перемогнётся! А то не слышала, что намени ветинар сказал? Веди-ка, говорит, Михеич, её на убой. Молока вам от неё уже не видать, а так хоть мясо будет. Жалко, коли сама околеет, ей уж, мол, недолго осталось.
- Да, можа, ошибся ветинар-то твой, – горестно хныкала старуха, – можа, ещё выправится, милая! Го-осподи-и-и-и!
- Эк хватила! «Можа, ошибся». А то не думаешь, что наш ветинар – человек уважаемый, учёной. А ты его слова под сомнение ставишь, – наставительно рассудил старик.
- Да не ставлю я-а-а! Жалко мне её-о-о! – совсем заголосила старуха, закрыв лицо руками.
- Многие в селе уже знали, что у Липатниковых горе – пропадает корова. Любимица. Ветеринар, приходивший к ним два дня назад, осмотрел корову, выслушал стариков о том, что она уже много дней толком не ест, покачал головой. Поставил неутешительный диагноз какой-то коровьей болезни и ушёл, посоветовал не дожидаться, пока та сама не околеет через неделю. Да что и говорить, пожила уж коровушка своё.
- Михеич оделся в серенькую фуфайку, нахлобучил на голову старенькую кроличью шапку-ушанку, надел на ноги широкие разношенные за прошлую зиму валенки.
- Затем сел на табурет, для солидности помолчал, деловито натягивая на валенки калоши, потом только начал говорить.
- Ты вот со мной всю жизнь, почитай, прожила, да и старше меня на два года, а нисколько умней не стала, – сказал он с лёгким осуждением. – Все тебе, как дошколёнку, объяснять надо.
- И-и-и, у-умник выискался! Чего ж не министр-то тогда? В пинжаках бы ходил да ботинках. А то, вон, окромя валенок да калош ничегошеньки и нету.
- Ла-адно, не бубни, – по обыкновению протянул старик.
- Зачем калоши-то?
- Затем, что корову на убой поведу. Не на танцы же собираюсь
- Ну-у, и?
- Вот и «ну-у»! Мало ли что. Там же кровищи, наверное, будет. Вдруг наступлю ненароком – весь валенок пропитается. А так всё путём будет. Соображать надо, – рассудил он поучительно.
- Старуха в ответ лишь махнула рукой: «Бог с тобой! Дело хозяйское».
- А Михеич вышел во двор и побрёл к стайке. Подойдя, он отодвинул застав, отворил дверь и шагнул в полумрак стойла, с густым, застоявшимся

запахом сена, молока, коровьего пота и навоза. Осмотрелся, привыкая к недостатку света.

Светлым пятном у противоположной бревенчатой стены стояла липатниковская корова. Смотрела неотрывно на вошедшего хозяина.

У неё было довольно странное для коровы имя. Назвала её старуха уж как-то совсем не по-коровьи, а просто в честь своей первой внучки: Анастасия. Местный пастух поначалу долго потешался, когда водил на выпас сельское стадо прочих Бурёнок, Чернушек, Белянок, Зорек. А тут на тебе – Анастасия! Пряма-таки королевское имечко!

– Настасьюшка!.. – ласково кликнул старик корову.

Та в ответ тихо и коротко мыкнула.

– Наста-асьюшка, жива! – обрадовано пролепетал Михеич.

Он подошёл к ней, погладил по спине. Легонько поцарапал между рогами и за ухом. Тяжело вздохнул.

– На-ка вот. Можя, поешь?

И он сунул ей пук мягкого душистого сена.

Анастасия вытянула к сену обвислую шею, понюхала, но есть не стала, глядя на старика грустными большими глазами.

– Эк ведь тебя попржиало, родимая! – жалостливо выговорил Михеич. Бормоча ласковые слова Анастасии, он неспешно вывел её за верёвку во двор. Старуха, уже одетая, стояла на крыльце.

– Да чего ж ты так быстро-то! Хоть бы чаю, что ли, попил. Я бы пока попрощевалась с ней, матушкой моей, – начала было старуха, но Михеич печально и сухо оборвал её:

– Нет. Уже пора вести. Я с Егором договорился. Ждёт, наверно.

Старуха всхлипнула, завывла, обнимая корову за шею. А Анастасия покорно стояла и мелко вздрагивала от мороза, выведенная из тёплого и влажного помещения стойки. Изредка шумно вбирала и выпускала из себя воздух, устало поводила головой по сторонам и смотрела вокруг болезненно блестящими глазами.

– Ну, ладно, будет – сочувственно проговорил старик и тронул старуху за плечо. Та сразу вдруг сжалась и смолкла.

– Я... пошёл.

Михеич осторожно потянул за верёвку, и Анастасия послушно поковыляла за ним. На улице старик оглянулся в сторону дома и тоскливо вздохнул, встретившись взглядом с заплаканными глазами жены.

– Пойдём, Настюш, – обратился он к корове, которая выжидающе и болезненно смотрела то на старика, то на старуху, стоявшую в проёме ворот, то бесцельно вглядывалась в оснеженную даль за рекой и всё так же крупно дрожала, едва держась на обессиленных исхудавших ногах.

И они пошли.

Поскотина, где забивали совхозных животных, находилась на противоположной стороне села, почти у леса, и путь предстоял не близкий. Михеич специально договорился с конюхом Егором об этом месте, а не во дворе дома, чтобы лишний раз не ранить сердце жены.

Старик украдкой отирал наворачивающиеся на глаза слёзы, семеня впереди неровными шажками и виноватым голосом разговаривал с коровой. Словно пытался её как-то утешить.

– Что ж ты, Настасьюшка, разболелась-то так у нас? Старуха-то, вишь, как изводится по тебе – ревмя ревет. Жалко.

– Му-у-у, – словно понимающе отвечала бредущая позади корова, тяжело дышала старику в спину и выпускала из ноздрей клубы пара.

– Вот и я говорю, пожила бы ещё годик-другой, а? И тебя ведь дюже жаль.

– Му-у-у, – монотонно вторила Анастасия.

– Ты только, Настенька, не бойся, – продолжал извиняться старик. – Егор – мужик хороший, сильный. Он у нас конюх. Не бойся, не больно ударит, с одного раза порешит, не почувешь. Он умеет. Ты прости, что не я, а чужой. Я уж слабый для этого. Да и рука у меня на тебя не подыметя.

Так и шли они. Старик тихо бормотал что-то, то и дело оборачиваясь к корове, а она понуро качала головой и осторожно переступала сзади, изредка помыкивая в ответ.

Дошли до поскотины. Егор уже ждал с длинным колуном в руках, опираясь на него, как на посох.

– Привет, батя!

– Здравствуй, Егор. Вот... привёл.

– Угу.

– Чтоб не маялась – сможешь?

– Угу. Плёвое дело! Видно, что слаба.

– Ты уж не оплошай, Егор, – жалобно попросил Михеич и тоскливо поглядел на корову.

А Анастасия, до настоящего времени безучастно, безропотно ковылявшая вслед за стариком, теперь насторожённо оглядывалась по сторонам, тревожно нюхала то воздух, то утоптаный снег, пахнувший кровью после недавнего забоя. Нервно и испуганно косила выпученными глазами на собравшуюся невдалеке большую свору бездомных одичавших собак – заведатаев кровавого пиршества, которые уже сейчас жадно глядели на неё, облизывались и нетерпеливо урчали.

Конюх и Михеич не успели заметить той перемены, которая произошла с Анастасией. Она вдруг вся напряглась и часто задышала, переступая копытами по хрустящему промёрзшему снегу. А когда Егор уже было взялся левой рукой за рог, чтобы для удобства заломить корове голову, она вдруг резко рванулась в сторону и (откуда только сила взялась!) опрометью поскакала прочь с поскотины, в сторону леса.

Разом оцетинившаяся свора собак тут же кинулась в погоню, стремглав промчавшись мимо ошарашенного Михеича и упавшего на снег Егора.

– Да что же это, а! – выдохнулось у старика. – Настенька! На-стя-а!

– Да не волнуйся, батя. Нагоним мы твою корову, надолго её никак не хватит. И что только с ней такое случилось?! Как вожжа под хвост попала! А ты говорил, помрёт, не сегодня, так завтра. Присядь пока здесь на бревно. Пойду, лошадь запрягу.

А собаки гнали и гнали Анастасию по лесной дороге. То и дело подскакивали и в хищном азарте хватали её зубами за ноги, за бока. Она спешно, на бегу отлягивалась от них, норовила боднуть самую нахальную и всё бежала из последних сил, с беспросветным отчаянием в глазах. Временами иступлённо взмыкивала на всю округу, перебивая ошалелый лай собак.

Надсадно, шумно дыша, Анастасия вразнобой, почти бессознательно перебирала ногами, с усилием отталкиваясь от накатанного снега дороги, держа на отлёте тощий жгут хвоста с метёлкой на конце. В налитых кровью глазах стоял ужас загнанного обречённого животного.

Вдруг корова натужно захрипела, её бешеные скачки резко замедлились, и она, рванувшись ещё раз два вперёд, остановилась, покачнувшись и неловко рухнула на колени, миглом облепленная со всех сторон разъярёнными собаками. Упёршись рогами в снег, Анастасия ещё попыталась

встать, но свора свалила её набок, иступлённо разрывая когтями и зубами измождённое тело коровы.

Она уже не мычала, а только утробно хрипела, беспорядочно вздрагивая ногами в предсмертной агонии. Из распоротого собаками брюха шумно вышел тёплый, пахнущий внутренностями воздух. Тело Анастасии в последний раз передёрнулось и замерло, обмякло. Вокруг слышалось только глухое ворчание и жадное чавканье собак.

Когда, отчаянно нахлёстывая лошадь, Егор и Михеич наконец подъезжали к месту звериного пиршества, Анастасию уже нельзя было узнать. Развороченная туша с торчащими наружу полуобглоданными рёбрами издали кровенела посреди дороги.

Завидев приближающиеся розвальни, собаки нехотя отпрянули в сторону, стараясь ухватить кусок мяса побольше.

Егор на ходу соскочил с розвальней, останавливая лошадь.

– Тпр-ру-у-у-у-у! Ах, чтоб вас р-разор-рвало! – и он, схватив с дороги, зло бросил в собак наугад «картофелину» мёрзлого конского помёта.

Собаки, недовольно рыча и скаля зубы, отбежали метров на десять и выжидающе сели на обочине дороги. Пристально глядели на людей и облизили окровавленные морды с застывшими красными ледышками на усах.

– О-о-ой-ё-ёй! О-о-ой-ё-ёй! Ма-а-атушка-а-а! – безудержно в голос плакал старик над коровой. – Да что же это, а-а-а! Ох, вы, нехристи-и!.. Настенька-а-а!.. У-у-у, застрелю-у-у! – истошно, с надрывом ревел старик сквозь зубы и грозил иссохшим кулачком в сторону собак. – Застрелю-у-у-у! Все-ех!...

– Ну, Михеич, ну, не надо, – успокаивал его Егор. – Пропала уж теперь корова. Всё мясо попорчено. Поехали домой... Ничего не поделаешь...

Он попытался поднять Михеича с колен, который теперь совсем забыл о калошах и сильно испачкал штаны в густой крови.

– А ты-то чего медлил! – накинулся было старик на Егора. – Ох, горюшко-о-о! Вот оно горюшко-то где-е-е!

Егор, наконец, крикнув, сумел поднять обессиленного расстроенного старика на ноги, и тот, пошатываясь и спотыкаясь, пошёл к розвальням, опираясь на конюха и всё оглядываясь на Анастасию, которую Егор сооразил оттащить к краю дороги.

Обратно ехали молча. Егор мрачно курил да изредка понукал лошадь, щёлкая её по крупу вожжём. Михеич сидел спиной к конюху, в горестном забытии глядел на убегающую из-под скрипящих полозьев дорогу и не видел её, как не видел ни леса, ни первых промелькнувших окраинных домишек села. Перед его мысленным взором неподвижно стояли глаза Анастасии, полные безграничной усталостью, тоской и неизбежной болью, теперь стеклянно леденеющие в лесу на декабрьском морозе.

ДОРОГА ПОД ЗВЁЗДАМИ

Михаил возвращался домой в эту субботу поздно. Он работал истопником в мужевской поселковой бане. Были Рождественские морозы, и топить приходилось – будь здоров. Вроде бы вот, совсем недавно подбросил добрую порцию угля, а в стенку, за которой парилка, уже снова долбят могучими кулаками разгорячённые мужики и повелительно просят:

– Земляк, поддай-ка ещё малость!

Михаил встаёт, открывает дверцу и ловко направляет в ненасытную пасть топки ещё две лопаты чёрного угольного крошева. Снова садится и

молчаливо слушает привычный шумок кочегарки: жадное гудение огня, а за стеной довольное кряхтение и разнобойный хлёт веников по голым распаренным телам. К одиннадцати часам парилка, наконец, затихает. Рабочий день окончен.

После тепла кочегарки январский мороз чувствуется не сразу, хотя, шутка ли, тридцать девять градусов ниже ноля. Одежда щедро накопила сухой жар. Но лицо гораздо быстрее становится беззащитным на холоде, а до дома ещё половина пути. Михаил пересёк улицу Комсомольскую, и с пригорка уже видны два родных окна правее метеостанции. Улица безлюдна. Он спускается с холма, одиноко идёт мимо колбасного цеха и старой совхозной конюшни. Потом останавливается и сквозь заиндевелые смерзающиеся ресницы смотрит в небо.

В этой части Мужей фонарей почти нет, и звёзды, густо рассыпанные по небосводу, кажутся намного ярче и ближе. Их незамутнённый мерцающий свет настолько пронзителен, что невольно покалывает глаза. Долго вглядывается Михаил в ночные искры неба, пока мороз не начинает настойчиво жалить лицо и пробираться ледяными руками под полушубок. Надо идти.

Под унтами хрустко продавливаются мёрзлый рассыпающийся снег. Михаил с внезапным удивлением отмечает, как давно он не обращал внимания на звёзды, он даже забыл, что их так много. Что их так невообразимо много! Искрящийся под ногами снег вдруг напоминает ему далёкие лучистые точки в бездонной выси.

– Кругом звёзды! Везде звёзды! – зачарованно бормочет под нос Михаил и вдруг, спохватившись, начинает торопливо растирать побелевшие, ничего не чувствующие нос и щёки. Про мороз забывать нельзя.

Михаил поднимается мимо детской музыкальной школы на следующий холм и попадает на родную улицу Юганскую. Это северо-западная окраина Мужей. Впереди виден его дом. Топится печь, из трубы отвесно поднимается сизый дым. В его густых клубах кутается и мутно просвечивает холодная полная луна. Михаил замечает, что у калитки двора кто-то стоит. Это Галина, его жена. Он улыбается, разглядев, что Галя надела его огромный овчинный тулуп, который смотрится на ней чересчур мешковато, и ускоряет шаг. Галина с нетерпеливым ожиданием смотрит в его сторону и притопывает ногами от холода.

– Привет, Галюш!

– Ой, Миша, что ж так долго-то, а?

– Работа, – разводит руками Михаил. – Всем кости прогреть захотелось.

– Час уже жду. Обрато зайду да снова выйду. Уж и детей уложила, и ужин готов, и печь дотапливается, – с женской заботой в голосе проговорила она.

– Ну что ж, вот и пришёл, – устало ответил Михаил, приобнял жену и отворил калитку. Они прошли через двор, поднялись на крылечко и зашли в сени.

– погоди, Миш, не заходи, – вполголоса произнесла Галина и плотно закрыла входную дверь.

– А что? – невольно поинтересовался Михаил и остановился.

– Одно дело есть. Только слушай! – она вплотную приблизилась к мужу и, собираясь с мыслями, поджала нижнюю губу.

– Ну?

– Верка-то Конева опять меня сегодня прилюдно обхамила. В магазине, – жалостливо начала Галина.

– Да? Я же ведь толковал с её мужем, чтоб малость приструнил свою жену.

– С Колькой-то? Да они ж два сапога – пара. Он тебе в лицо одно скажет, а за глаза посмеётся и пакость какую-нибудь сделает.

– Так чего же ты в магазине-то сама за себя постоять не могла? Сказала бы ей пару ласковых.

Галина всхлипнула:

– Попробовала. Сегодня.

– И что?

– Что? Верка буркнула со злостью что-то нечленораздельное и выско-чила из магазина.

– Ну, вот видишь, – успокоительно рассудил Михаил.

– Что «вот видишь»? Думаешь – всё? Как же! Я из магазина вышла, иду, а она сзади подбежала, видать, караулила, и ногой-то в сумку как пнёт! Вот, говорит, тебе, сучка кочегарская! Знай своё место! Да не распуская поганый язык! – Галина зарыдала. – Две банки разбила. Стерва!

– Ну, это уж слишком! – громко возмутился Михаил. – Вот баба!

– Я и говорю... Ой, ладно, замёрзла, давай в дом зайдём. Ещё что-то скажу.

Они вошли и тихо, чтобы не разбудить детей, разделись.

– Я вот ещё что сказать хотела, – шёпотом продолжила Галина. – Хватит всё это безнаказанно терпеть! Надо им отомстить.

– Это как же? – со смешливым недоверием поинтересовался Михаил.

– А вот как. Садись, ешь, а я тебе рассказывать буду. Ты мне только сначала скажи: в бане завтра твоя смена или нет?

– Нет. Я отдыхаю.

– Вот и хорошо. Ешь. Тут вот водочки немного есть, выпей, – Галина достала из-под стола початую бутылку.

– Ого! – приятно удивился Михаил. – Чего это вдруг любезность такая?

– Ладно. Когда расскажу – поймёшь. Пока слушай.

– Угу, – Михаил налил и опрокинул внутрь первую стопку.

– Салехард по радио на завтра буран обещает. Это значит, и у нас дня два-три непогода будет, что нос не высуну.

– Ну?

– Да. А говорю я вот к чему. У тебя завтра выходной, днём отоспишься, а этой ночью одно дело надо будет сделать, пока тихо, да небо ясное. Сделаешь, значит, поквитаемся с Коневыми.

– А что за дело-то среди ночи? – недоумённо спросил Михаил.

– Наш покос, помнится, рядом с коневским, – продолжала Галина. – Вы ведь с Николаем вместе этим летом косили.

– Да.

– Помнишь, которые их стога?

– Помню, – кивнул Михаил и пропустил вторую стопку.

– Вот и хорошо. Надо будет сейчас съездить туда и один из их стогов, который от наших подальше, перевезти сюда на сеновал. А свои на потом сэкономим. У нас как раз сено на исходе. Жерди спрячешь куда-нибудь, чтобы не торчали. Не забудь. Пока буран будет, все следы напрочь заметёт, как будто того стога и не было. А ехать надо сейчас. Среди ночи тебя никто не увидит. Все уже спят.

Михаил выпил третью стопку и задумчиво потёр лоб.

– Холодно же, Галя. Путь-то не близкий.

– А я для того и водочки тебе дала, чтобы грело внутри, – убедительно оправдалась Галина, хотя втайне про себя держала и другую мысль, что,

выпив, муж скорее согласится на такое отнюдь неблагоприятное дело, нежели трезвый.

– Ладно, – без большой охоты ответил Михаил. – Пойду собираться.

– Конечно, миленький! – засуетилась Галина. – Я уже и приготовила всё: носки, свитер, штаны ватные. Тулуп оденешь. А вернёшься, ещё водочки налью, – ворковала она. – И ещё кое-что будет, – игриво проронила она, зазывно глядя в глаза мужу, и словно бы случайно поправила кофточку на пышной груди.

Михаил обстоятельно одевался и в то же время с нескрываемым вождением поглядывал на ладную фигурку жены.

– Добро! Я не забуду, – весело ответил он и вышел запрягать лошадь, поцеловав напоследок Галю.

В Мужах все крепко спали, когда Михаил выезжал на противоположную сторону села к Оби. Даже собаки ленились гавкать на проезжающие мимо их дворов пустые поскрипывающие сани. Мороз. Намного приятнее лежать в тёплой конуре на мягкой подстилке, уткнув нос в густую шерсть.

По накатанному зимнику лошадь легко устремилась вперёд, увозя в заснеженные пойменные просторы одинокого ездока. Копыта гулко ударялись в утрамбованный снег, и Михаил, усталый после рабочего дня, полудремал под их монотонный перестук. Впереди над тальниками безучастно светила луна, окружённая зеленоватым нимбом, и ещё невероятней сияли вокруг застывшие капельки звёзд. Через купол неба, словно зеркальное отражение дороги, протянулся широкой лентой Млечный Путь.

Полчаса спустя Михаил доехал до покоса Коневых и, свернув с дороги, добрался до самого дальнего стога. Остановил лошадь, встал с саней и огляделся. Голая промороженная равнина луга с редкими холмиками стогов невольно будила в душе неприятную робость и тоскливое чувство оторванности от мира.

Перед тем как начать перемётывать сено в сани, Михаил достал из кармана начатую пачку «Астры», спички и осторожно прикурил. Табак необычно быстро и приятно ударил в голову. «Потому что выпил», – объясняя сам себе, подумал Михаил и непроизвольно снова взглянул в звёздную высь.

– Красота-то!.. – прошептал он восхищённо. – Сколько ж вас наплодилось, а! – пролепетал непослушными замерзающими губами Михаил.

Казалось, что лучистый свет звёзд так и тянется к его глазам, и что они сами вот-вот сорвутся с неба на землю, прямо в ладони Михаила.

Под ногами что-то зашуршало, и Михаил нехотя оторвал взгляд от неба. По снегу воровато, крадучись змеился тонкий ручеёк позёмки, трусливо скользнул мимо и растворился в темноте. Первый вестник грядущей непогоды. Любуясь звёздами, Михаил не заметил тот момент, когда проснулся ветер. Ещё одна струйка позёмки скоро прошелестела мимо. Следом в лицо по-хозяйски ударил студёный порыв ветра. Михаил тревожно нахмурился, спешно взял вилы и принялся за работу. Надо было торопиться. В Мужах каждый знает, как капризна и неустойчива северная погода.

Вилы в руках Михаила безостановочно описывали в воздухе дуги от стога к саням. В морозном безмолвии были слышны лишь мягкий, покорный шелест сена и шумное, разгорячённое дыхание. Стог заметно таял, из него всё больше выпирали деревянные рёбра жердей.

А со стороны озера Сой-Беда неслышно, с привычным северным коварством надвигалась плотная завеса бурана, застилая непроглядной пеленой беззащитные звёзды. Если бы Михаил хотя бы на мгновение оторвался от

дела, он бы немедленно погнал лошадь обратно, увидев, как неожиданно помутнела луна, а в пустом небе пока ещё обманчиво невинно порхают редкие, нечаянные снежинки. Он бы непременно, всем нутром почувствовал ту неповторимо жуткую мертвенную тишь, которая бывает непосредственно перед началом разгула стихии, когда ветер вдруг внезапно умирает.

Буря застала Михаила врасплох. Резкий сильный толчок ветра чуть не опрокинул его в снег. Он ошалело поглядел вокруг. С каждой секундой всё гуще и гуще начинал идти снег. Первый шквал пронёсся дальше, но всё же ветер оставался сильным и быстро обмораживал уязвимые части лица. Луна окончательно исчезла, только едва уловимое свечение пробивалось сквозь плотные снежные вихри. Навалилась мгла.

Михаилу стало страшно. Наскоро закрепив сено на санях, он вскарабкался наверх и взволнованным окриком тронул лошадь с места. К дороге! Как можно скорее!

Голые жерди так и остались торчать посреди поля. Михаил досадно оглянулся на них и только сжал зубы. Не до них. Лошадь тяжело потащила гружёные сани, пока, наконец, не ступила на твёрдую дорогу. Михаил нетерпеливо хлестнул её вожжой и в тот же момент почувствовал, что, вспотев после торопливой работы, постепенно начинает замерзать. «Скорей бы доехать!» – с нехорошей тревогой подумал он и уткнулся головой в пахучее сено. Ветер усиливался.

Нескончаемо тянулось время. Изредка Михаил поднимал голову и смотрел на густо облепленную снегом лошадь. Потом его мысли неудержимо унеслись к дому. Он необыкновенно ярко представил в уме тёплую комнату, родные голоса детей и жены. Вот он сидит у топящейся печки, и обволакивающий жар приятно проникает в него, добирается до каждой клеточки усталого тела. Вскипел чайник, и Михаил словно воочию видит, как Галина наливает ему в любимую чашку густой ароматный чай, заваренный с сушёной малиной. Напиток слегка обжигает горло и разливается внутри успокаивающей истомой. Как тепло! В мягкой кровати тело совсем расслабляется, и он неудержимо засыпает, засыпает...

По ночной дороге одинокая лошадь везёт сено.

В тумане нахлынувших грёз Михаил даже не уловил, как на самом деле незаметно уснул, нечаянно навалившись на правую сторону вожжей. Волей случая это произошло как раз на том месте, где находилось ответвление дороги в сторону Восяхово. Всегда послушная своему хозяину лошадь, почувствовав натянутую вожжу, безропотно свернула вправо и продолжала идти, но уже не к дому. Потом вожжа ослабла.

Буран бушевал. Михаил беспомощно спал, обезоружив себя перед стихией, пронизывающий холод властно сковывал его в своих беспощадных тисках. А лошадь всё шла и шла, пока чувствовала под ногами заметённую дорогу. Вдруг она по грудь провалилась в рыхлый снег и натужно рванулась вперёд.

От резкого толчка закоченелое безвольное тело шумно соскользнуло с сена и тяжело рухнуло в сугроб. Животное, почувствовав отсутствие хозяина, выбралось обратно на твёрдый участок и в нерешительности остановилось.

Поблизости, не переставая, шумел и трещал под тугим напором ветра угрюмый невидимый лес, а по широкой излучине Горной Оби бесконечно змеились хвосты позёмки, и хороводили снежные вихри, бесследно заметая неподвижное остывающее тело Михаила.

БАБА ГАНЯ

Если бы не ремонт автомобильного моста через Туру, из-за которого весь городской транспорт уже больше года попадает с одного берега на другой только в объезд, то моя встреча с жизнестойкой бабушкой Ганей вряд ли когда-нибудь произошла бы.

Был конец марта. Из заречной части города я ехал на работу. Сижу, на коленях две сумки. В одной книги да общая тетрадь, в другой изредка побрякивают от встряски банки с едой. Это заботливая супруга снабдила на суточное дежурство. Сторожем я работаю в областном Доме писателей. Что поделаешь – студент, да ещё и семейный. На одну университетскую стипендию никак сыт не будешь.

Автобус с металлическим скрипом тормозит у остановки «Луговая». Пока зима, здесь выхожу. Отсюда узкой улочкой в сторону закрытого на ремонт моста, затем через Туру по заснеженному льду, а там и старая деревянная лестница в сто десять ступеней на высокий берег реки. Поднялся, и считай, что уже на работе. Вон она, четырёхскатная крыша. Удобно. А лёд уйдёт – опять вкруговую добираться.

Мартовский лёд – усталый, просевший. Шагаешь по нему, то тут, то там потрескивает-постанывает. Зима нынче тёплая была, самое большое недельки две до ледохода осталось. Наверно, последний раз через Туру иду. Страшновато уже.

Вот и первые ступеньки жалостливо поскрипывают под ногами, подрагивают хлипкие перила. Сколько ж лет этой лестнице? Самое малое – тридцать. Девять пролётов разной длины и ни одного целого. Там ступеней нет, там перила обломались. Не идёшь, а скачешь, как заяц, через прогнившие доски. Только под ноги и гляди, на другое не засматривайся. Преодолею я так половину лестницы, вдруг слышу позади слабый надтреснутый голос, и вроде как меня окликает:

– Внучек!

Обернулся. Вижу, смотрит на меня снизу вверх какая-то древняя старушка. В руке потрёпанная авоська с оторванной ручкой, за спиной вдобавок сетка, не видать с чем. Пальтишко на ней не бог весть какое. Я, наверно, ещё с букварём в школу ходил, когда оно было куплено. Глаза глядят доверчиво и устало.

– Что, бабуля? – с невольным участием в голосе спросил я.

– Внучек, – так же хриловато повторила она. – Помоги мне до верху добраться. Из сил выбилась.

– Конечно, помогу.

Я осторожно спустился к началу лестничного пролёта.

– Давайте вашу сумку. Да за руку крепче держитесь. Тут и вдвоём свалиться – дело не хитрое.

За мою ладонь, словно боясь потерять единственную опору, неуклюже схватились её иссохшие пальцы. Почти невесомая рука старушки немощно подрагивала.

– Позавчерась ишло только одной ступеньки не было, а сёдне уж и вторую проломил. Вон-де лежит, – сокрушённо выговорила она и слабо кивнула в сторону берегового откоса. – Через одну-то ишло мало-мальски карабкалась, а через две-то уж нога не шагает.

Пока поднимались, я увидел, что в сетке за спиной у бабушки капуста, четыре кочана. Правда, сильно нетоварного вида. Удивился такой неудачной покупке.

– Что-то, бабуля, капусту вы беда неприглядную купили. Где вас так обманули?

– И-и-и, кабы купить. Она вить, внучек, дорогущая шибко. Где мне? С моей пенсией в магазин сходишь – все продукты в одной сумке уместятся, если окромя хлеба ишшо что-то брать надумаешь... Капуста-то, вишь, мёрзлая, с берега. Там с самой осени целая баржа её стоит. Всю зиму кто хошь брал. И на машинах даже приезжали.

– Надо же. И не запрещает никто?

– Так, наверно, нет, коли берут. Среди бела дня. Уж почти всю баржу вычистили. Я и сама зимой брала. Никаких сторожов не было. Пусто. Не знаю, почто так. А капуста хорошая, мёрзлая только. Но в щи-то всё равно сгодится.

– Да-а, вот я-то не знал, рюкзачок бы набрать не лишним было.

– Так сходи после. Ишшо можно выбрать.

– Ладно, наведуясь. Ну, вот и конец нашим «Альпам».

Старушка выпрямилась.

– Вот спасибо-то! Дай бог тебе здоровья! Не оставил бабушку. Так бы и застряла я там одна-то.

– А вам дальше куда? Может, по пути? Я пока что сумку понесу.

– Ро-одненький! – сердечно залепетала она. – Добрый ты... Мне-то хоть куды по пути будет, – продолжила она, когда мы снова пошли. – В любую сторону. Моя работа не хитрая.

– Ой, неужели работаете ещё? Где? – с сомнением воскликнул я. – Вроде уж годы почтенные.

– Да, конечно. Какая моя работа! Каждый божий день по городу хожу, бутылки подбираю да сдаю. Много ли, мало найду – всё ж к пенсии прибавка. Бывает, весь день по улицам шаркаюсь, в каждую урну заглядываю. Вечером приплетусь – разогнуться не могу, всю спину ломит, ноги стоймя не держат. Вот так и живу. Слава богу, шибко не голодую, – закончила она и прокашлялась.

– Да-а, стойкая вы бабушка. Не все таким жизнелюбием да терпением могут похвастать. Это хорошо, что мы встретились. Сейчас на мою работу зайдём. У нас во дворе с прошлой осени бутылки копятся. Наберёте, вам по городу не надо будет ходить. Пойдёмте?

– Ой, внучек, и благодарить не знаю как! Пойдём, конечно. Вот радость-то где!

На том, может, и завершилась бы эта встреча с неожиданной попутчицей. Набрала бы бабушка бутылок, поблагодарила ещё раз и ушла во свояси. И даже имя её осталось бы для меня загадкой.

Но старость есть старость. Прихватило вдруг большое старушечье сердце прямо на крылечке Дома писателей.

– Ох, сильно как кольнуло. Аж в глазах тёмно стало, – успела выдохнуть она и ухватилась за мою руку. – Ох, дыхоты не даёт! Ох! Как шильем тычет.

– Ну вот, бабушка, опять без меня никуда, – попытался сказать я бодрым голосом после того, как сам на мгновение растерялся. – Давайте я вас потихоньку в свою сторожку отведу. Сядете, отдышитесь, а там посмотрим, как быть.

С горем пополам добрались. Гляжу, бабуля уже ртом воздух ловит, ноги одна за другую заплетаются. Я её скорей на стул усадил поудобнее и со всех ног к соседке, тёте Томе, может, есть у неё что-нибудь сердечное.

Вот и старая скособоленная дверь её дома. Стучусь.

Тётя Тома – добрейшей души человек! Правда, бывает, пьёт сильно, но чужой беде всегда помочь старается. Помню, однажды, когда я на дежурство ехал, у меня в автобусной давке банки с едой разбились. Тётя Тома только узнала, сразу отменным борщом накормила. Да и так: то картошки с луком для супа принесёт, то карасей, что муж наловил, на уху, то белаяшей горячих, то сала. При этом частенько приговаривает:

– Ты только, самое главное, учись, брат. Если учиться бросишь, я тебе этого ни-ко-гда не прощу.

Вот и сейчас, как поняла, в чём дело, сразу зашла в дом и, минуты не прошло, вынесла на ладони четыре таблетки валидола.

– Ой, тётя Тома, зачем же столько? Одной хватит.

– Держи-держи. Пусть с собой про запас возьмёт. Мало ли что. С сердцем, брат, шутить нельзя.

– Спасибо большое!

Прибежал обратно в сторожку. Бабуля у меня уже руки к сердцу прижала, охает тихо.

– Ну, куда вы теперь в таком состоянии, – говорю я. – Прилягте пока на кровать. Вот лекарство подействует, тогда и легче станет.

Старушка только молча кивнула.

Помог ей лечь, обувь снял, а у самого в голове мрачные мысли так и крутятся. Как бы ещё хуже не сделалось! Вдруг умрёт? Что тогда? Сообщить ведь придётся. «Скорая» или кто там ещё приедут, спросят: «родственница?» – «Нет». – «Как зовут покойную?» – «Не знаю». – «А как у вас здесь оказалась?» Что я скажу? Так, мимо шла? Вот незадача.

Сижу, прислушиваюсь. Пока представлял в уме возможные последствия, бабушка всё это время едва слышно постанывала. Я уже немного успокоился, как вдруг стоны прекратились. «Господи! Неужели – всё, преставилась!» Вскочил, наклонился над ней – не-ет, дышит. Уснула, христовая. С меня будто камень свалился. Ну, пусть спит, сон тоже лечит. А сам сел книгу читать.

Вот уже час прошёл, другой, третий. Время обеда наступило – бабушка всё спит. А у меня желудок есть начал просить. Если, думаю, на цыпочках да не шуметь, то, наверно, получится суп разогреть. А повезёт, так и, обедая, не потревожу.

Легонько поднялся и пошёл на носочках к сумке с банками. Но куда там! У старых людей сон чуткий. Едва скрипнула подо мной половица, и уже зашевелилась бабуля, заворочалась. Оторвала голову от подушки и стала медленно подниматься с кровати. Села и распрямилась.

– Как спалось? Как сердце? – деловито спросил я, водружая на плитку кастрюлю с супом.

Моя гостья тщательно протёрла глаза и смущённо улыбнулась. Потом рассмеялась:

– Хи, вот и бабушка! Храпелка старая! Сама не заметила, как уснула. Давно-о уж днём-то не спала. Вот вить как. И сердцу-то как хорошо, ровно и не болело вовсе.

– Вот и замечательно! Сейчас пообедаем вместе, уже всё греется.

– А можно? – робко и недоверчиво спросила старушка.

– А почему нельзя? – искренне удивился я. – Конечно, можно.

– Добрый ты, – почти нараспев проговорила она.

Мне в ответ оставалось только улыбнуться.

– Ты здесь сторож, значит?

– Да.
– Надо же.
– А что?
– Сторож, а стол как у дилектора какого. И полочки есть, и стульев мягких с дюжину будет. Люстрочка даже висит.
– Так ведь это не моё всё, я только охраняю.
– А-а. А всё равно, хорошо так работать.
Я снова улыбнулся.
– Вы лучше скажите, как вас зовут, а то до сих пор не познакомились. Моё имя – Саша.
– А-а, Саша. Хорошее имя, христианское. А меня бабой Ганей зовут. Агафья, значит.
– Старинное имя. Сейчас таких не дают.
– Ну так мне его ишло когда дали. В одиннадцатом году. Я вить уж шибко старая. Восимисят четыре годочка мне.
– Ну, что ж, баба Ганя, садитесь суп отведать. Вот вам ложка, хлеб. Не стесняйтесь.
Баба Ганя подседа к столу, взяла ложку, несколько раз зачерпнула и съела. Потом подняла глаза и спросила:
– Суп-то сам, что ль, готовил?
– Нет. Светланка, жена моя.
– Женатый, значит.
– Да.
– А я гляжу, колечко на пальце, да, думаю, молодой ишло, наверно, просто так носит, модничает.
– Не-ет. Два года вместе живём. И в церкви венчались.
– Вот молодцы какие. Жене поклон передай. Суп шибко вкусный, сытный. Дай ей бог здоровья. Живите долго.
– Спасибо. Вы-то как живёте. С кем?
– А я, Саша, одна живу. Уж питнацать годочков одна.
– Что ж так? Ни детей, ни внуков нет?
Баба Ганя как раз доела суп, облизала и отложила в сторону ложку, вздохнула и начала говорить:
– Внуков-то, угадал, нет, да и не будет уж. А дети-то вот были. От первого мужа. Фёдором звали.
Я с ним как познакомилась? Первомай был. Черёмуха как раз цвела. Я и надумала к празднику букетик наломать. Вышла в лесок неподалёку, выбрала деревце понаряднее. Только первую веточку обломала, вдруг за спиной-то и слышу:
– Это зачем же вы деревцо раните, красоту губите?
А я в девках-то не пуглива была, оглядываюсь – парень молодой, рослый, с усиками, я ему смело так отвечаю:
– А какой же праздник без цветов!
Гляжу, он улыбается, а сам всё в глаза мне смотрит и говорит:
– Оно так, конечно. Но если, мол, все кому не лень к празднику так делать будут, то через десять лет в округе ни одной черёмухи не останется.
А я как будто обиделась на него и говорю:
– Если умный такой, взял бы и настоящих цветов подарил!
Он смеётся.
– Полюблю, – говорит, – так и подарю. Не жалко. Пойдёмте, я вам лучше сломанную черёмуху покажу, вчерашней грозой выворотило. Там и наломаете себе сколь надо, а то всё равно засохнет.

А я что, взяла да и пошла. Так вот и познакомились с ним. Через полгода свадьба была. Шибко его полюбила! Прямо всем сердцем прикипела! – И сколько ж у вас, баба Ганя, детей от него было?

Её засиявшие было от светлых воспоминаний глаза вдруг мигом померкли.

– Три раза носила... Да только третьего вырастила. С тридцать седьмого года который. Второй квёлый был, до года не дожил, помер. А первый-то и говорить страшно: сразу мёртвый родился. Как уж я горевала тогда! По первенцу-то! Страх божий! Мальчик был. В больнице-то прямо при врачах сразу разревелась, насилу успокоили.

А через три месяца в тот же год мама в деревне от тифа скончалась. Отец-то раньше ишшо, в гражданскую погиб. Я и помнила-то его смутно. Ох, было горюшка в моей жизни. Аж счас реветь хочется.

Потом только вроде всё направилось, война началась с Гитлером. Будь она проклята! Володьке пять лет сполнилось – с фронту похоронка пришла на Фёдора. Под Ленинградом погиб. Вот с того дня и сидеть начала, с тридцати-то лет.

– Да уж, как-то всё на вас сразу свалилось. Не позавидуешь. И сына, выходит, сами воспитывали.

– Десять лет поднимала. Всё одна да одна. Мужиков-то сколько в войну поубивало. Не я одна вдовой осталась.

А тут Сталин умер, аминистия была заключённым. Вот один-то из таких и привязался ко мне. Я подумала-подумала, не королевича же до смерти ждать. Согласилась, в общем.

Он ничего, хорошим мужиком оказался. Сидел-то не как бандит. Начальником цеха был, да авария там какая-то случилась, вот его за недогляд и упекли. Раньше с этим шибко строго было. Расписались мы с ним, Анатолием его, кстати, звали, а долго-то и не пожили. Меньше, чем с Фёдором. Через пять лет помер. От чахотки. Видать, на зоне ишшо заболел. А мог бы и дальше жить, полвека жизнь, что ли.

Опять одна с Володькой осталась. Мне сорок шесть полных, ему двадцать один. Уже после армии пришёл. Там шофёром был и на гражданке в таксопарк устроился.

– Что-то вы путаете, баба Ганя. В пятьдесят восьмом вроде ещё не было в Тюмени таксопарка.

– Так мы вить до семисят пятого в Свердловске жили, Потом уж сюда переехали. Володька захотел. На новое место, говорит. Чудной он у меня, непутёвый.

– Почему вдруг непутёвый?

– Да вот так. До лысины дожил, а так ни разу и не женился, внучат мне не оставил. Мне, говорит, мать, и так хорошо. Ох! Живой бы если был, так уж сам дедушкой стал.

– Так и Володя ваш умер?

– Помер, Сашуня, помер. В восьмидесятом ишшо.

– Постойте, так это... господи, в сорок три года выходит! Отчего же?

– Врачи сказали, что сердце остановилось. Не знаю. Он вить и не жаловался никогда.

– Может, скрывал?

– Может. Володька шибко меня жалел.

Я в тот день утром подошла к нему, чтобы на смену разбудить, а он холодно-у-ушенек лежит, лицо белое-белое, только губы синюшные. Как сама тогда не померла – не знаю! Оно вить шибко горько – ребёнка своего

пережить. Ни-ко-му не пожелаю! А вот живу. Уж питацать лет. На могилку к нему иногда езжу, сама пла-ачу, разговариваю, скоро, мол, тоже в землю лягу.

– Как знать, может, ещё годика три-четыре поживёте. Сердце только берегите.

– Бог даст – поживу. Чего ж не пожить-то. А так уж всё на похороны приготовила. Отдельно лежит. Бельишко там, платье, чулки ненадёванные. Ситцу припасла, свечи с ладаном да ленты чёрные. Не стыдно чтоб помереть-то было.

Я бы и на крест, может, ишшо наскребла, поднатужилась. Он, говорят, пока не шибко дорогой. Сорок тысяч. Так опять как нести-то его, громаду такую! А машину заказывать накладно.

Она помолчала.

– Господь-то наш, знаю, нёс на себе, так он хоть молодой был. И то тяжко. А я уж и без того через всю жизнь крест несу, потяжелше берёзового будет.

Ишшо вот саван да иконку купить надо... Ну, ничего, через месяц Пасха, к церкви буду ходить, милостыню просить. Бутылок-то не настрадаёшься.

– А что ж сейчас к церкви не ходите?

– А что сейчас ходить. Там и без меня калекам едва на хлеб с молоком хватает. Сердобольных-то не так уж и много. Вот пост к концу подходить будет, тогда все в церкву потянутся грехи замаливать, кажный сколько-нибудь да подаст. А пока одна подмога – бутылки да банки. Сейчас вот в «Восход» пойду, сдам их, глядишь, три тысячи прибавилось.

Баба Ганя неторопливо встала со стула.

– Ну, Саша, спасибо тебе. Как в сказке с тобой побывала: напоил, накормил, спать уложил да ишшо и вылечил и про жизнь мою выслушал. Добрый ты человек, дай бог тебе здоровья! И Светлане твоей того же.

– Вам, баба Ганя, спасибо на добром слове.

– Живи долго. Ты меня, Сашуня, теперь только сведи с лестницы на крыльцо, а дальше уж я сама как-нибудь.

Мы, не спеша, спустились с крутых ступенек, и я проводил бабу Ганю до ворот. Она благодарно поклонилась напоследок и медленно побрела к перекрёстку. Я стоял и смотрел ей вслед.

Где-то невдалеке густо и зычно ударил соборный колокол, созывая прихожан на вечернюю службу. Я увидел, как баба Ганя остановилась и застыла на месте. А когда величественный звук повторился, бережно поставила сумку и сетку на асфальт, выпрямилась и благоговейно трижды перекрестилась. Снова подняла поклажу и, по-старчески передвигая ноги, стала едва заметно удаляться в сторону заходящего солнца.

ВЕДЬМИНО БОЛОТО

Собрался я как-то за клюквой пойти. Уже ударили первые заморозки, и по всем приметам было самое время собирать эту целебную ягоду.

Накануне приготовил ведро, одежду, еду, спички, сунул в карман бинт и пузырьёк с зелёной – на всякий случай. Потом сходил в дровяник и принёс пару болотоходов, сплетённых из молодых берёзовых прутьев. Всё аккуратно сложил до завтрашнего утра, и остаток вечера провёл в тепле избушки.

Забавно потрескивала полешками гудящая печка. Было похоже, словно за чугунной дверцей идёт самый настоящий бой: вот стреляют из винтовки,

вот отчётливо бахнула пушка, и, визгливо жужжа, пронёсся раскалённый снаряд, что-то зашуршало, обрушилось от его падения, и снова треск, свист, гудение – и всё это озаряется пышущими языками пламени, бросающими блики сквозь резные отверстия дверцы на тёмные стены.

Уже стемнело, а я так и не зажёл свет. Молчаливо сидел за столом и мысленно перебирал в уме: всё ли приготовил, чтобы идти завтра за клюквой. И вдруг из закоулков памяти неожиданно всплыл давний случай, когда я тоже пошёл на болота за этой ягодой.

Загадочная тогда со мной история произошла.

Я в то время ещё молодой был. Года два прошло, как в избушке таёжной стал жить. В ту осень клюквы на болотах видимо-невидимо было, словно её нарочно кто рассыпал.

А есть тут у нас километров за восемь гиблое место. Ведьмино болото. Его все в округе знают. Много людей затянуло. Дурная у болота слава. И воздух, говорят, над тем местом нехороший. Одурманивающий.

А я по своей глупости, храбрости напускной решил пойти именно на Ведьмино болото. Набрать клюквы, а потом перед всеми побахвалиться: вот, мол, Ведьмино болото не испугался, был там, да ещё и витаминов полное ведро принёс. Ох, дурная голова!

Ну вот, отправился, значит, и никому не сказался, в какое место меня чёрт понёс. Сейчас вспоминаю: какой же самонадеянный был. Сколько мне, двадцать семь, что ли, было? Да, так, вроде.

Пришёл на болото. Осмотрелся. Место, и правда, не из приятных. Около берега лес мёртв, ни одного живого деревца или кустика. Само болото в небольшой впадине: шагов четыреста в длину и примерно с половину того в ширину. Мрачное место, одним видом угнетает.

Тут я первый раз оробел. Но поколебался и решил: не уходить же обратно, коли пришёл. И к тому же какой-то странный навязчивый азарт охватил меня, когда глядел на болото. Невиданно огромные, как крыжовник, сизо-рубиновые бусины клюквы очаровывали, неудержимо влекли к себе, щекотали взгляд тусклым спелым блеском.

И вот я ступил на моховой ковёр Ведьмино болото. Боже мой! Под упругим настилом от ноги сразу побежала едва заметная пологая волна. Меня слегка качнуло, будто я находился в лодке. Надо быть начеку. Осторожно ступая, продвинулся ещё на пять шагов. Остановился, поглядел на болото, на мёртвый лес.

Что-то было не так! Корявые скелеты деревьев почему-то медленно поднимались вверх! Росли!

Страшная догадка толкнулась в голову. Я метнул взгляд к ногам. О, ужас! Тонкий слой сфагнома прогнулся подо мной в глубокую воронку, которая продолжала заметно вдавливаться вниз, и сквозь мох сочилась наверх грязная жижа. Она покрывала болотные сапоги уже выше щиколотки и медленно, но неуклонно поднималась, а под моховым настилом что-то отвратительно забулькало и тихо зашипело, пробираясь наружу.

Я невольно вскрикнул и вдруг всем телом ощутил: подо мной – бездна! Меня охватил животный страх. Какое-то мгновение даже не знал, что делать. Страх сковал ноги, тело предательски ослабло.

А мох всё больше продавливался, и, казалось, он вот-вот разорвётся, и Ведьмино болото поглотит меня.

Я отчаянно рванулся вперёд и, не помня себя, пошёл, но не к краю болота, а в его центр. Главное было – уйти от коварной ловушки, где бесславная гибель уже дышала в лицо.

Наконец набрёл на более твёрдый участок почти в середине болота, остановился и с облегчением перевёл дух. Пот застилал глаза, от недавно пережитой опасности тело безостановочно била нервная дрожь. Я бессильно повалился под единственную на болоте чахлую умирающую ель и впал в забытьё.

Через какое-то время пришёл в себя. За эти минуты небо успело затянуть тяжёлыми тучами, а на болото неведь откуда опустился небывало густой туман. От самого болота тоже поднимались слабо колыхающиеся струйки желтоватого пара. В воздухе, и правда, появился какой-то давящий смрадный запах, о котором нередко поговаривали люди, когда речь заходила о Ведьмином болоте.

То, что случилось дальше, принято считать по науке за самовнушение, за навязчивые видения под давлением страха – может быть, но я так думаю, что это всё от действия паров или газов, которые из болота выходят.

Так вот. Лежу, значит, – опаматовался. Вдруг слышу: где-то за пеленой тумана – стоны! Протяжные, мучительные! И совсем близко, но не видать. У меня внутри всё словно оборвалось! Выходит, я не один на Ведьмином болоте! Насторожился. А сердце до того сильно стучит, что, кажется, слышно его шагов на десять. Вокруг туман сгустился, даже туч не видно. И так-то мне нехорошо на душе стало. А стоны опять. И уже ближе! И различаю, что не мужик, а женщина стонет. Страдальчески, глухо, словно из утробы стон идёт.

Вдруг вижу: далеко в тумане какая-то более плотная тень движется. Плавно так. Покачивается. И чувствую, что приближается. У меня даже волосы дыбом поднялись, как шерсть у зверя. И деваться – никуда не денешься! Приподнялся на локте, дыхание затаил и гляжу во все глаза. А тень всё ближе и ближе, будто плывёт по воздуху, и недобрый холодом от неё веет. Вокруг туман клубит, и стоны уже в нескольких местах слышатся, с хрипотцой. Жутко мне стало! Вот, думаю, влип! Прямо к нечистому в лапы!

Вижу, а это самое пятно, тень-то, в человека вроде как превращается. Вот руки вылезли, сверху голова с шеей расти начали... Гляжу – дева какая-то. Вся, словно из тумана, в одеждах белых, волосы светлые в беспорядке по плечам распущены. Идёт ко мне бесшумно, словно крадучись. Всё ближе, ближе. А я не то, что отползти – крикнуть уже от оцепенения не могу! И сердце – бум-бум-бум-бум...

И вдруг протягивает она ко мне длинную руку, не доходя шести шагов, и манит к себе иссохшим крючковатым пальцем. Попытался было вцепиться глубоко в мох, но какая-то неведомая сила сорвала меня с места, подняла на ноги, и я неуклюже пошёл за девой, как магнитом притянутый.

Могу побожиться: никогда ещё не встречал дев такого обличия. Это была воистину лесная дева. А, может, и сама хозяйка болота – ведьма. Это, скажут, выдумки, сказки, но ведь я видел! Своими глазами видел!

Так вот, иду за ней, как на привязи, а она всё меня пальцем манит... И глаза у неё такие нечеловеческие: одни белки! Выпучены, не мигают! И взгляд особенный: всасывающий, пожирающий!

И, страшно вспомнить, в довершение ко всему она... улыбалась! Это была дикая застывшая улыбка. Улыбка сумасшедшей, с хищно оскаленными зубами.

Она неестественно покачивала угловатой головой и отступала назад. В трясину. Неожиданно ведьма (я уже не сомневался, что это именно она) остановилась, опустила руку с продолжавшим манить пальцем, запрокинула голову и утробно засмеялась: хы-ы-хы-ы-хы-ы-хы-ы-ы-ы... Одноре-

менно с этим одежда мягко соскользнула с её плеч и растворилась в тумане. Она предстала полностью обнажённой, и её тело было пугающе прекрасно.

Быстрым движением ведьма обхватила ладонями могучие груди, сильно сдавила их и зажмурилась от одного ей ведомого наслаждения. Из крупных сосков тугой струёй выпрыснула тёмная жидкость, попала на мох и бурно зашипела, пуская густой жёлтый пар. Мох словно выгорел, на его месте зияло окно трясины. Ведьма злорадно рассмеялась, довольно поглаживая массивные груди, и вдруг – пропала, бесследно растворилась в неподвижном тумане.

Долгое время я находился в глубоком оцепенении и ничего не видел вокруг себя. А между тем тучи стали расходиться, и выглянувшее солнце подняло тяжёлую завесу тумана над болотом. Наконец, я стал узнавать предметы и вспомнил, что со мной было. Но всё это казалось дурным сном, хотя я всё так же находился на пресловутом болоте и стоял шагах в двадцати от чахнувшей ели, недалеко от рваной дыры трясины. Пустое ведро, о котором я совсем забыл и всё это время не вспоминал, было по-прежнему крепко зажато в правой руке. Так, что я перестал чувствовать его деревянную ручку.

Глубоко и облегчённо вздохнув, я поспешил уйти с Ведьминого болота. Кто знает, какая ещё напасть может прицепиться.

Осторожно ступая по дрожащему хлипкому слою мха, я и не подозревал, как коварно Ведьмино болото, и что его хозяйка вовсе не намеревается меня выпустить. Да и само болото, я уверен, было живое и уже давно обозлилось оттого, что его жертва так долго не сдаётся. Страшно было ощущать под ногами его затаённое алчущее дыхание. То и дело из-под мохового одеяла доносились приглушённые, навевающие ужас звуки.

Я уже дошёл до края болота и занёс было ногу, чтобы ступить на твёрдый берег, как кромка мха подо мной предательски продавилась и мгновенно ушла в чёрную гнилую трясины.

Я стал стремительно погружаться в вязкую пузырящуюся муть. Холодный сжимающий страх вновь мгновенно навалился на меня. Боженька, помоги!

Судорожно метался я ошалелым от паники взглядом по низкому берегу, пытаюсь ухватиться за любую кочку, способную помочь. И вдруг увидел берёзку, которая, словно желая выручить, протягивала сверху свои ветви.

Чудом, в последнее мгновение сумел ухватиться за протянутые «руки помощи»! Изю всех сил подался вперёд. Снизу будто десятки рук уцепились за ноги. Если бы ветви не выдержали и обломались, я пропал! Болото урчало и чвокало, словно не желая отдавать уже по грудь затянутую жертву. Его грязные языки липко цеплялись за одежду, но всё же медленно сползали.

Не оставь, Господи! Я сделал ещё одно невероятное усилие. Болото продолжало тянуть вниз, выпускало из себя сотни маленьких пузырьков, которые противно и зло лопались за спиной, но уже не могло справиться. Я хотел жить, я побеждал.

Измученный, до подмышек в скользкой болотной грязи, я, наконец, выкарабкался на берег, обхватил свою берёзку-спасительницу и... зарыдал. Словно что-то оборвалось внутри меня. Рассудок, казалось, ещё не верил, что я остался жив.

Продолжить путь к избушке получилось только часа через два – слишком велико было потрясение. Почти всё это время я просто лежал возле берёзки и благодарно молился Богу. Возвращался уже без ведра, оно-то и стало добычей Ведьминого болота.

С тех пор обхожу его стороной. Боюсь. Второй раз живым ни за что не отпустит. Клюкву только на хорошо знакомых болотах собираю. И таёжные законы изучать стал досконально. Потому как в тайге незнающему или глупому храбрецу очень легко согнуться, порой и следов от человека не остаётся. Тайга – это огромная страна. Тайга – это тайна.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!

Мужи. Первая половина июля. Благословенная пора белых ночей. Долгожданный подарок природы всей мохнатой и крылатой живности леса. Необъятен день! Вот уж, казалось бы, и вечер поздний, ложись да отдыхай после дневных забот, а ещё и солнце не село. Щекотит, дразнит усталые глаза, желанный сон напрочь гонит. Что ты будешь делать!

Лишь ближе к полночи, когда солнце зависает над самым горизонтом, понемногу замирает село, только влюблённые парочки да беззаботные стайки молодёжи неспешно бродят по притихшим улицам, затягивают песни.

Влажная простыня ночи не спеша размывает отчаянную синь северного неба, забеливает даль окоёма. А в вышине – ни звёздочки!

Морошковым краем, страной белых ночей называют в это время года мужевскую землю.

На этих кривых улочках, отвоевавших когда-то у тайги своё место под солнцем, на высоком берегу Оби, прошло детство Толи Шебалина. Позади школа. Но каждый год приезжает он в Мужы на каникулы после сдачи экзаменов в университете. Так и в этот раз.

Шесть дней прошло, как сошёл Толя с «Метеора» на железный, гулко разносящий шаги дебаркадер. Хлебнул полной грудью родного воздуха и замер: так светло, радостно на сердце стало, что хоть кричи от переполняющего, невесть откуда взявшегося ощущения счастья. Но вместо этого губы лишь едва слышно прошептали:

– Дома!

Одним длинным-длинным днём прошла почти целая неделя как он у матери. Всё смешалось: разговоры, встречи, новости, и не вспомнишь, в какой день что было.

Ещё по приезду Толя пообещал своему одиннадцатилетнему брату Юре, что они обязательно пойдут на днях встречать восход солнца. У брата глаза загорелись. Каждый день, как вечер приблизится, спрашивает:

– Ну что, сегодня пойдём?

У Толи уже внутри неприятно покалывает: обещал ведь. А как пойдёшь? Тут крёстные в гости пришли, там ещё что-нибудь непредвиденное.

Но вот, наконец, выдался свободный вечер. Настало время сборов. Толя укладывает палатку, Юра собирает сумку с провизией. Мама с сестрой Ниной тут же в коридоре стоят, наблюдают. Невдомёк им, что это парням дома не сидится.

– И охота вам комаров кормить, – по-доброму усмехается мама.

– А мы с собой мазь взяли, – откликается Юра. – Во! Целый тюбик.

Нина, средняя из детей по возрасту, не преминула после мамы встать:

– Лучше бы в своей комнате прибрались, чем шататься непонятно где.

Юра ехидно парирует:

– Ты дома остаёшься? Вот и приберись.

Сестра выразительно хмыкает и демонстративно уходит в свою комнату.
– Ой, обиделась будто! – смеётся вдогонку младший. – На часы посмотри. Десять уже. Какая приборка, на ночь-то глядя!

Толя незаметно поглядывает на маму, ожидая, как она отреагирует на словесную перепалку детей, и, успокаивая, говорит:

– Послезавтра всё равно суббота. Тогда полностью и приберёмся.

– Всё! Готово! – докладывает Юра и, пыхтя, зашнуровывает разношенные кроссовки.

Братья выходят во двор. Негромко разговаривая, идут на северную окраину Мужей. Вышли специально попозже, чтобы людей на улице меньше было. Село-то наполовину зырянское. А зыряне – народ любопытный. Всё интересно им: и кто куда пошёл, и о чём соседи повздорили, и чья собака у их калитки ненароком уснула. Каждую мелочь приметят. Любого хоть завтра в разведчики записывай!

Людей, и, правда, было не много. То ли день душный был, то ли телефильм интересный показывают. Вышли Шебалины на окраину. Впереди на длинном деревянном шесте полосатый «чулок» аэропорта неподвижно висит. Тихо. Сейчас вдоль взлётно-посадочной полосы до небольшого пляжа на берегу Югана, а там чуть влево и палатку ставить.

Огненный шар солнца медленно заваливается к северу. В щедрой россыпи предзакатных лучей скрадываются очертания лесистого косогора, едва различима в золотистой дымке соседняя крохотная, в двенадцать домов, деревенька Ханты-Мужи. Воздух за день прогрелся, дышит ласкающим теплом и травными запахами, даже комаров ещё нет, прячутся в сырых низинах.

Пока братья устанавливают палатку, разводят небольшой костерок и готовят в котелке немудрящую похлёбку из пакетного супа с тушёнкой – уже полночь. Солнце зависло над дальним тальниковым островом и упрямо не хочет садиться. Струит рассеянный свет на раздольный пойменный луг, оттеняет румянцем жидкое серебро витиеватых протоков и реки.

– Искупаемся, пока комаров нет, – предлагает Толя.

– Давай, – охотно соглашается младший.

Шебалины наперегонки сбрасывают всю одежду и вприпрыжку бегут к Югану.

Статное, мужающее тело Толи первым взбуравливает спокойную гладь. Более осторожно, взохивая от неожиданной прохлады воды, заходит на глубину Юра. Братья неторопливо плывут на недалёкий противоположный берег. Хоть и не глубок Юган, но даже в жаркие дни вода прогревается лишь на метр, поэтому оба стараются держаться на поверхности, их голые тела почти не скрываются под водой.

– Уф-ф, хорошо! – отдувается Толя, выбираясь на пологий илистый берег.

– Ничего себе – хорошо! Дубак такой! В воде и то теплее.

– Не беда, скоро обсохнем. Смотри-ка, кони.

К Югану неторопливо брёл небольшой табун.

– Наверно, на водопой, – предположил Юра.

– Может быть. А может, на тот берег переплывут.

Мимо братьев равнодушно, полностью в своих думах прошли первые четыре лошади. Остановились у кромки Югана, лениво оглянулись, вразной фыркнули и вошли в воду. Поплыли. Вслед за ними с таким же несложным обрядом последовали ещё три. Издалека их рыжая лоснящаяся от воды шерсть казалась медно-огненной, словно само солнце спряталось в шкуре на покатых боках.

– Я испугался: думал, перевернут наш котелок, – признался младший.
– Да нет. Что они, глупые, на костёр идти, – рассудил другой брат. – Поплыли обратно. Там уже, наверно, всё сварилось.

– Ага. А то всё равно что-то холодновато. И комары появились.

Братья отошли берегом вверх по течению, чтобы не плыть в тёмной, взбаламученной животными воде, и погрузились в прохладные струи реки.

– Ты чего отстал? – окликнул Толя брата, отряхавшись на мелководье от капель.

Юра неловко выбирается на берег и неуклюже ковыляет к костру. Тяжело дышит.

– Ногу поранил? – тревожится старший.

– Нет, свело. Едва доплыл. Хорошо, что у берега почти.

Юра пытается говорить со спокойной уверенностью, но глаза выдают недавний испуг.

– Иди, давай, в палатку, оботрись и одевайся быстрее, – велит Толя и хмурится. – А то не утонул, так простудишься.

– Маме только не говори! – отзывается из палатки Юра.

– Ладно, сами грамотные.

Толя одевается сам, потом берёт ложку, зачерпывает из котелка, дуёт и, обжигаясь, пробует:

– А ничего супец! Наваристый!

– Ты мне-то хоть оставь! – шутливо возмущается младший из палатки, энергично и шумно растираясь полотенцем.

– Сколько ложек? – с ответным юморком отзывается Толя, и братья смеются.

– Юр, слышишь?

– Что?

– Мазь прихвати. Одолели кровососы! Аж в ложку с супом липнут.

– Ага.

Брат выбирается из палатки с тубиком в руке.

– Ой, а солнце-то село! Прозевали!

– То-очно, – с сожалением тянет старший.

На севере почти в полнеба яро алеет заря. Там, где село солнце, далёким костром пышет горизонт. Такое ощущение, словно огненный шар совсем рядом, просто укрылся за тальниковым островом и, если подняться на холм, то непременно увидишь его приплюснутый, набирающий силы для нового дня круг.

Насытившись, братья спешат под брезент палатки от полчищ комаров.

– Сколько сейчас?

– Час ночи, – отвечает Толя, взглянув на часы.

– Здорово, да?!

– Что?

– Солнце встаёт в один день, а заходит уже на следующий!

– Да-а. Будто и не заходит вовсе.

– В Салехарде, наверно, так и есть. Там же Полярный круг?

– Ага. На Ямале вообще здорово. Кругом только тундра, небо и солнце! Там сейчас и белых ночей нет. Всё день и день.

– Классно! Не верится даже.

Незаметно проходит час. Золотисто-румяное зарево неторопливо передвигается с одного конца острова на другой.

– Гляди, – замечает Юра, – луна.

Толя внимательно шарит глазами по светлому безоблачному небу.

И правда, над Обью, одинокая, словно никому не нужная, блёкло розовеет слегка выщербленная с правого бока луна. Попранная владычица неба полярных ночей. С каждой минутой всё ярче раскаляется кромка земли и неба.

– Как будто все Шурышкары горят! – восклицает Юра с восхищением.

– С Салехардом вместе, – замороженно следом добавляет Толя.

Братья выбираются из палатки.

– Сейчас взойдёт, – с ожиданием в голосе произносит старший брат и неотрывно глядит на зарю.

– Ух ты! – выдыхает, обернувшись, Юра. – А в Мужах-то уже взошло!

Толя оборачивается и согласно кивает:

– Точно! На холме потому что.

В первых лучах розовеют притихшие дома. В окнах играет рассвет. Бело-сине-красный флаг на здании районной администрации кажется розово-лазурно-алым.

С минуту Шебалины любят родным селом и снова устремляются взглядом на север. Почти в то же мгновение тёплый луч ярко ударяет в глаза и заставляет прищуриться. Поначалу крохотный, уголёк светила всё больше раскаляется, растёт, превращается в полусферу и наконец, оранжево-красным шаром отрывается от горизонта, заливая светом всю низину Оби.

– Здравствуй, солнце! – радостно и шутливо выкрикивает Юра и машет рукой.

Толя весело смотрит на брата и тоже вскидывает руку:

– Привет!

Потом дурашливо прибавляет:

– А мы тут тебя всю ночь ждали! Целый час и двадцать минут!

Братья раздувают присмиривший огонь и кипятят воду для чая. Воспрянувший костёр отгоняет комаров, и они мельтешащей кучей-облачком недовольно отлетают в сторону. От горчащего запаха дыма оживают вдруг тёмные валуны дремлющих коней, они лениво поднимают головы и долго нюхают воздух.

На природе время течёт незаметно и быстро. Уже раннее утро. Солнце всё выше поднимается в небо и начинает припекать. По Оби пляшет целая россыпь золотых зайчиков.

Пора обратно в село. Шебалины заливают тлеющие угли костра, собирают палатку и отправляются домой.

Поднимаясь на первый пригорок Мужей, Толя и Юра ещё раз обернулись назад. Зелёный луг плотно затянулся жёлтыми облаками. Это один за другим раскрылись, встречая новый день, пушистые солнышки одуванчиков.

Над ещё спящими улицами, над речной низиной зычно разнеслось беззаботное ржание коней. И, словно приветствие, отозвался ему со стороны Киевата долгий раскатистый гудок теплохода.

Сергей СМЕТАНИН

Весенняя минута

Что за нрав у северянок – Этих вьюжиц и ветриц! Удивляют спозаранок, Машут крыльями ресниц.	На щеке снежинка тает, За машиною пылит. Жизнь ничуть не утихает – Воздымает и бурлит.
Снег – на шубке, снег – на шапке, Снег – на чьих-то волосах. На девчонке и на бабке, У торговца на усах.	В этой сутеми и смуте, И в раздрае скоростей Не хочу терять я сути Самой солнечной своей.

Сургут

На берегах Оби широкой,
Затерянный среди болот,
Осколком рани синеокой
Возник мой город и живет.

Его строителям за сорок,
Он знал героев и рвачей,
Но не шальным богатством дорог,
А тем, что сердцу горячей.

Да разве в памятной тетради
Своей рукою зачеркну
Его тяжелый дебаркадер,
Реки степенную волну?

Я вижу вольные стремнины!
Далеко ропот им нести
С его причалов – середины
Великолепного пути.

Он жил, творил, мечтал и строил,
Ходил то в робе, то в мехах,
И память славную покоил
О павших рано земляках.

Добытчик нефти знаменитой,
Соперник вечности самой,
Всегда к себе душой открытой
Меня зовет он, город мой!

1997 г.

Виадук

Зачем-то снится Новый Уренгой.
Я был там в жизни, может, раза два,
Мне климат больше нравится другой,
Но тундра там по-прежнему жива.
Там лишь в июне будет ледоход.
Полярное сиянье на весь свет.
И ненец Айваседа там живёт,
Другой, не нижевартовский поэт.
Я пил с ним чай в гостинице, как друг,
За окнами мошки́ струился рой.
Там высился бетонный виадук,
На мкадовский похожий, под Москвой.
Среди болот и моха, и песка,
Намытого на пуровской косе,
Возможно, здесь ему стоять века,
В суровой приполярной полосе.
Он выдюжит под зноем и пургой,
В добыче газа годы не страшны.
Не зря мне снится Новый Уренгой –
Я добрые, обычно, вижу сны.

Зимняя прогулка

Солнце пышет ярче сварки.	А в нетронутой низине
В ледяные зеркала	Столько нежной белизны!
Важно смотрятся подарки	Ты постой посередине,
Новогоднего стола.	Ведь такому нет цены.
Вон сугроб, как пряник ладный,	Проходя под хрупкой аркой
Вон осинка вся в снегу,	Индевеющих кустов,
Как фольгой шоколадной,	Не стряхни щекою жаркой
Шелестит на берегу.	Фантастический покров.

* * *

Хорошо на Урале по осени –
Настоящий березовый рай.
Столько золота с неба разбросано,
Хоть корзиной его собирай!

А в долине – рябинка заветная
С алой гладью по краю листа.
Обняла ее дымка рассветная,
Словно белого шелка фата.

И смущенно лесная красавица
Прижимается кедру к плечу.
Ей бы только со счастьем управиться,
А другого – желать не хочу.

Сибирь

Кому – тюрьма, кому – награда. Чтоб небо – не окинуть оком!
Ничьей судьбы не оскорблю. Чтоб сердце – не сдержать в груди!
А мне Сибирь такую надо, Чтобы девчонка ненароком
Что с детства знаю и люблю. Мне улыбнулась на пути.

* * *

Даже радости нас догоняли с трудом,
Удивляли и путали карты.
Мы ледышки со щек обрывали с живьем
И ругались со злостью, азартно.
И не то, чтоб иначе совсем не могли
«Представители высшего права»,
Просто нефть этой взбуренной нами земли
Нас пьянила сильнее, чем слава.

Просто ветер, шипя ледяным кипятком,
Не без нежности шпарил по коже,
И, работая с глупым еще пареньком,
Сам себе я казался моложе...

Шофер

*Памяти
Бориса Васильевича Гусева*

В автомобиле, как влитой,
Одетый строго по погоде.
Шофер «от бога» – робок, вроде,
Перед дорожной суетой.

Переплетенья магистралей,
Да светофорный окоем...
О, сколько раз одолевали
Вы человека за рулем!

А сколько раз во днях труда
Он рисковал, и ставил на кон
Судьбу свою под Зодиаком.
Но грела добрая звезда,

И снова байки про мороз
Напарник впаривал жестокий,
И вьюга, преданно, как пес,
Ему облизывала щеки.

* * *

День уходит медленно и вяло.
К западу желтеют облака:
Долгий караван бредет устало
В поисках живого родника.

Так и я, куда бы ни стремился –
Не уйму закатного огня.
Мне вчера хороший сон приснился,
Будто счастье вспомнило меня.

г. Когалым

В Сургуте-городе

Красивей нет бескрайней северной равнины,
У неба синего на верхнем этаже
Такие белые, пуховые перины! –
Такая даль, что не вмещается в душе!
В Сургуте-городе зимой – одна погода:
С утра мороз, к обеду – минус сорок два.
Зато не тесно и в любое время года
Не заболит о перспективе голова.
Сильнее зрелище, мой друг, увидишь где ты?
Найди сравнение, припомни детский сон!
Забудь про горы. Чтоб увидеть полпланеты,
Тебе достаточно лишь выйти на балкон.

Сентябрь

В Сургуте осенью такая благодать –
Не передать!

Лазурь небес, янтарь и золото берез
Слепят до слез.

И дождь нечаянный со снегом пополам
Приветен нам.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ

Владимир ПРОТАСОВ

Алёнка

1

– Крылов! К начальнику отдела! – крикнул кто-то, выглянув из коридора.

Крылов оторвался от планшета, бросил карандаш, потянулся. «Чего это он? Сказал же – завтра закончу по Лангепасу...» – подумал ворчливо, нехотя поднялся и пошёл через пустой отдел к дверям.

Шеф орал по телефону, срывая связки и обрастая жилами на могучей шее. «Снимал стружку» с какого-то «полевика». С севером, как всегда, связь была дрянная.

– Три дня тебе даю! Крутись, как хочешь, а чтоб к пятнице был в отделе! Всё!

Он бросил трубку и, ошалело глянув на Крылова, бросил:

– Ну?! – Закашлялся, стал слепо шаривать рукой карман пиджака. Отсморкался, обсушился и приступил к делу. – Когда кончишь?

– Как обещал – завтра.

– Слушай, Устье «горит», надо срочно готовить полевые материалы. Кроме тебя, некому. Сам знаешь, все в поле.

– Знаю. А Островкина, моего рабочего, куда подевали?

– Геологи взяли. Чего ему без дела сидеть, пока ты камералишь?

– Ну так куда я один?..

– Рабочего тебе заказчик даст. На месте.

Шеф сунулся в ящик стола и выложил на стол пачку бумаг.

– Вот: задание ГИПа, выкипировки...

– Да не поеду я один, – запротестовал Крылов, – сами знаете, случайного человека надо ещё научить, разжевать всё, чтоб не бегать на каждую точку... Да ещё спешка такая! Одна нервотрёпка получается!

– Даст тебе заказчик речника! Телефонограмму пошлём. Обязуем. Там всего-то десять гектаров съёмки, километра два привязки – чего огород городить? А как рейку ставить, можно и обезьяну научить...

– Там нет обезьян! – мрачно буркнул Крылов.

– Ну, ладно, хватит! – отмахнулся шеф и быстро настрочил приказ. Протянул через стол. – Иди оформляйся, получай командировку и, как говорится, попутного ветра!..

2

Поезд с трудом одолел тесноту извилистых ущелий, где ревниво нёс с собой стук колёс. Но вот горы стали опадать, растекаться, выравнивая горизонт, поезд вырвался на бескрайний простор тундры, и тишина её почти растворила в себе тяжелый грохот...

В вагонах сразу стало тише, светлей. За окнами плыла, ослепительно сверкая под солнцем, заснеженная равнина...

Омертвев от бесконечных холодов, тундра зарылась в снегах и, только начинавшее прогревать апрельское солнце не в силах было вырвать её из этого сна.

Крылов долго сидел у окна, цепляя взглядом синие тени ложбин и редкие островки хилой берёзки, пока не заболели глаза от режущего снега...

– Ну вот, скоро и дома будем! – объявил кто-то громогласно и, словно очнувшись от томительного безделья дороги, люди задвигались, зашумели. Хлопали крышки чемоданов, визжали молнии. Сухо, по-деловому, стреляли замки.

Крылов тоже собрал рюкзак, кинул за плечи и стал пробираться к тамбуру через вагон, всклокоченный суматохой сборов.

Поезд медленно, как уставший большой зверь после сумасшедшей гонки, подполз к маленькому невзрачному зданию вокзала с заплывшими льдом окнами, лязгнул сцепками, тяжело вздохнул тормозами и застыл успокоенно...

Крылов с трудом продрался через шумный встречающий перрон, неторопливо зашагал главной улицей, с привычным интересом присматриваясь ко всему.

Штатив с рейкой в одной связке он нёс на плече, а приборы, как всегда, были уложены в рюкзак вместе с полевыми журналами и прочей необходимостью.

Заполярный посёлок стал стремительно расти, когда до него докатилась волна нефтяного бума. Скопищем техники, россыпью балков и жилыми домами стали прирастать к нему разноведомственные базы экспедиций, Орсы, Урсы и прочие государственные авангарды штурмующей недр армии. Но вся эта бурная человеческая деятельность носила печать временности и неустроенности. Стандартные и безликие, строго привязанные к линейке улиц, дома без привычных глазу наличников и палисадников стояли неухоженно и сиротливо среди развороченного гусеницами суглинка и строительного хлама. Всё было наскоро сколочено, срублено, сложено. А на окраинах тундра жевала в труху груды железа. Никакая техника не выдерживала этого бешеного темпа.

Крылов шёл по скрипучим доскам бесконечного тротуара. Мимо него в снежных вихрях, в бурных выхлопах сгоревшей соляры проносились тяжёлые «КРАЗЫ», лязгающие траками вездеходы и лишь изредка, выпадая из общей картины своей архаичностью, проплывали нарты, на которых невозмутимо восседал хозяин тундры, дымя дешёвой сигареткой и изредка подгоняя хореем покорных олешек.

Ему стало жарко от ходьбы. Он расстегнул полушубок и так, нараспашку, ввалился в двери местной гостиницы.

– Это вы, что ли, хозяйка? – с весёлым удивлением спросил он художную девицу, которая сосредоточенно что-то вязала, сидя за огромным, обшарпанным столом у входа. Лица ее почти не было видно под пышным великолепием песцовой шапки.

– Я, – не переставая вязать, ответила она.

Он прислонил к стене связку и сбросил рюкзак на пол.

– А найдётся ли командированному желанное койко-место в ваших апартаментах? Или придётся ему околевать на улице, проклиная судьбу и безжалостное начальство, загнавшее его на этот край ойкумены? – балагурил Крылов, доставая документы.

– Ах, как трогательно! – заулыбалась «хозяйка». Отложила вязанье и достала бланки. – На сколько суток?

– Пока не женюсь!

Она хмыкнула и сверкнула глазами из-под груды белоснежного меха.

– Я думаю, дней десять хватит, – успокоил её Крылов.

Девушка заполнила бланк и протянула ему ключ.

– Семнадцатый номер. Там четыре «желанных койко-места». Выбирайте любое. – И, не переставая улыбаться, спросила. – А что такое ой...кум..

– Ойкумена? Ареал расселения...

– Хм... А что такое ареал?

Крылов снисходительно усмехнулся, играя полученным ключом.

– Я бы на вашем месте, о дочь Севера, не стал тратить время на вязание шарфиков своим поклонникам, а усердно читал бы умные книги.

– Я замужем, – с некоторым достоинством заметила она и пожала острыми плечиками. – А зачем вам умные жёны? Что я, картошку лучше поджарю, если буду знать интегралы и ойкумены?

– Главное – не образование, а образованность! – с шутливым пафосом изрёк Крылов, подняв вверх палец, на котором болтался ключ с замызганной картонной биркой, и отправился в свой номер.

Устроился он быстро, с привычной деловитостью и умением приспособливаться к временным пристанищам. Несмотря на долгую дорогу, настроение было приподнятым и, бреясь, он что-то напевал, стоя перед зеркалом, криво висящем в простенке.

Там гримасничало лицо, вполне ещё моложавое (Крылову было чуть больше тридцати), лишь у глаз легли заметные морщинки. Две глубокие, жёсткие складки, идущие от крыльев суховатого носа, придавали ему строгую мужскую привлекательность...

Через полчаса, расспросив хозяйку и без труда отыскав поссовет, он уже сидел перед председателем, грузным пожилым человеком в очках, с одутловатыми щёками, на которых уютно гнездились тяжёлые очки.

– Хм!.. Где вам найти человека?.. В экспедиции не дадут – у Ошева там запарка...

– Вам же самим надо скорее получить документацию, – подстегнул его размышления Крылов.

– Это конечно!.. А вы вот что: сходите-ка в райотдел. В милицию, то есть. Здесь недалеко. Может, там дадут? Ну, из этих, из... отбывающих. А я звякну. Со своей стороны.

– Фу ты! Не хватало мне ещё с уголовниками возиться! – возразил недовольно Крылов.

Председатель откинулся на спинку стула и развёл руками.

– Да какие там уголовники?! Я имею ввиду пятнадцатисуточников. Ну, там, случайная драка или семейный скандалчик... Бывает. Наказаны в административном порядке... Уголовники – те в тюрьме сидят, а у нас её не имеется, к вашему сведению, – заключил он обиженным тоном и, обвиснув щёками, потянулся к телефону...

Крылов отправился в райотдел, втайне надеясь, что там не окажется сейчас этих «отбывающих» и председателю всё же придётся подыскивать ему что-нибудь поприличней.

– А-а! Звонил Иннокентьев, звонил, – выслушав его, закивал головой молоденький сержант-дежурный и сказал строгим голосом, который не шёл к его почти мальчишескому лицу. – Время уже... – он задрал голову, взглянув на часы, – одиннадцать доходит, гражданин, а «покупатели» у нас «товар» с утра разбирают. Вот так!

– Я недавно с поезда, – ответил Крылов с облегчением, собираясь уже уйти.

– А что за работа? – спросил милиционер, ёрзая на стуле, меняя позы, словно выбирал более солидную, подобающую его положению дежурного.

Крылов нехотя объяснил.

– В общем-то, ничего сложного, за день научится всему, – заверил он и, вспомнив последний разговор с шефом, усмехнулся про себя: «Ах, Крылов, Крылов!»

– А, вот! – вскинулся вдруг дежурный, показывая рукой куда-то в сторону, и его щегольски подбритые усики разом вытянулись в сторону, растянутые жизнерадостной улыбкой.

Крылов оглянулся.

В начале коридора, куда выходили двери камер, выжимая грязную тряпку, склонилась над ведром девчонка, крепконогая, с ладной фигуркой, что угадывалась под простеньким платьицем и плотно облегающем свитером. Рукава его были высоко закатаны и оголяли смуглые руки. Пряди тёмных, вьющихся волос упрямо падали на лоб, и она то и дело сдувала их или резко откидывала локтем.

– Берём? – спросил сержант с весёлой деловитостью.

Крылов почему-то смутился и машинально кивнул головой, соглашаясь.

– Эй! Алёна! – громко позвал дежурный.

Девушка зыркнула исподлобья в их сторону, не разгибаясь и не выпуская из рук тряпки.

– Домывай быстрее – работать пойдёшь! Вот с этим гражданином...

Крылов расписался в потрёпаном толстом журнале и вышел ждать её на улице.

«Ну, шеф, сделал ты мне подарочек! Возись тут с ней под «личную ответственность»...

За спиной оглушительно хлопнула дверь. Девушка появилась на крыльце, застёгивая короткий, потёртый полушубок. На голове лихо сидела вязаная шапочка; бурки, вышитые броским орнаментом, были одеты прямо на капрон, тесно охватывая крупные икры.

Она с жадностью огляделась вокруг, прищулив глаза от обилия слепящего света и как-то взмахнув, освобождено вздохнула. Потом спустилась с крыльца, подошла к нему.

– Ну, начальник, чем будем заниматься? – спросила ломким, с хрипотцой, голосом. Красивое лицо её с мягкими чертами дышало юной свежестью и чистотой. Но глаза смотрели недоверчиво и затемнённо.

– Ты здешняя?

– Ага!..

– А зовут?

Она улыбнулась солнышком и присела в реверансе:

– Елена Сергеевна!

– Не доросла ты ещё до Елены Сергеевны!..

– Разве? – в притворной обиде надула она губы.

– Сначала, Алёна, тебе бы одеться потеплей. В тундре будем работать, – не принимая игры, сказал Крылов и, взглянув на её колени, съязвил:

– А капрончик – это для танцулек!

– Так мне домой идти, что ли?

– Ну, да!

Она ничего не ответила.

Вскоре они подошли к двухэтажному дому, обшитому «вагонкой».

– Здесь! – сказала Алёна и направилась к одному из подъездов.

«Зайти или подождать?» – беспокоила неопределённость положения: то ли конвоир, то ли сопровождающий какой...

Когда они вошли в подъезд, девушка молча стала подниматься по лестнице на второй этаж, а он нерешительно прислонился к батарее у входа, закурил, услышал, как она постучалась и как немного погодя, взвизгнув петлями, открылась дверь.

– А, явилась деточка! – ударило сверху скандальное сопрано.

Дверь бухнула и заглушила голос.

«Вот, чёрт, попалась девка», – поморщился Крылов, и сразу поднялась глухая неприязнь к кричавшей там женщине, пусть даже матери этой заплутавшей, видимо, девчонки. Он вспомнил умершую уже тещу, которая немало попортила ему крови такими вот крикливыми, истеричными скандалами.

Стало почему-то жаль девушку, и только сейчас он понял её внезапную отчуждённость: знала, что не пирогами встретят.

«А что, если...»?

Крылов выбросил на улицу окурок и решительно поднялся на второй этаж...

Дверь открыла невзрачная, средних лет женщина с обрюзгшим лицом, с усыхающими злыми губами.

– Чего надо? – грубо спросила она, окинув его подозрительным взглядом.

– Я из милиции, – как можно небрежней сообщил Крылов, прежде чем понял, что женщина была пьяна: до него доплыл тяжёлый сивушный запах.

– Ну и что? – она приняла воинственную позу, готовясь видимо, к очередному поединку. – Если за дочерью, то она только что оттуда...

– Вот я её и сопровождаю!

Крылов нахально зашёл в прихожую, отеснив хозяйку, и закрыл за собой дверь.

– Куда «сопровожаю», зачем «сопровожаю»? Сбежала, что ли?

– Нет. Я отведу её на работу.

– Достукалась, мерзавка! – накаляясь злобой, крикнула женщина. – Вот и подыхай там на нарах!

– Вы вот что, гражданка! – жёстко сказал Крылов и уставился на неё свирепым взглядом. – Прошу вас не устраивать здесь пьяных скандалов и не орать – я при исполнении...

– Я что, в собственном доме не могу с дочерью поговорить? – сбавив тон, отгрызнулась хозяйка.

– Я повторяю: помолчите... и дайте стул: я её здесь подожду.

Женщина принесла табуретку и, сердито сопя, с грохотом впечатала её ножками в пол.

– Пож-жалуйста, – прошипела она и исчезла на кухне. Больше он её не видел и не слышал, расположившись в коридорчике под вешалкой, морщась от оставленного ею стойкого запаха.

Вскоре явилась Алёнка, тепло одетая, с припухшими от слёз колючими глазами.

Они молча вышли из подъезда.

– И чего надо было заходить? – упрекнула она его, отворачивая лицо.

Крылов пожал плечами и, хмурясь, промолчал.

3

Им предстояло выполнить топосъёмку небольшого участка берега у широкой протоки, на которой стоял посёлок, километрах в двух от него.

Берег был гол, как и лежащая вокруг тундра, лишь кое-где щетинился жиденькими пятнами ерника.

В первый день, в оставшееся до темноты время они успели наметить и забить съёмочные точки и промерить линии ходов стальной лентой. Под обрывом, у самого уреза, снегу намело столько, что приходилось чуть ли не животом расталкивать его перед собой. Крылов шёл впереди, волоча за собой ленту, вспахивая снежную целину сугробов, но и вслед за ним идти было нелегко. С трудом, задыхаясь от напряжения, пробороzdили внизу целую траншею («Как медведь прошёл!» – сказал потом Крылов, глянув сверху). Часто теряли шпильки: рыхлый снег глотал их целиком, и приходилось перемеривать линию заново, барахтаясь в собственных следах...

– Ничего! – успокаивал он Алёнку, когда, запарившись от ходьбы, они валились прямо на снег передохнуть. – На самом обрыве речных точек будет немного: перепад большой, а наверху можно бегом работать – наст хорошо держит.

– Да чо я, маленькая?.. Уговаривает!.. У самого, поди, коленки дрожат! – весело зубоскалила она, лежа пластом и опрокинув лицо в вымороженное до бледной голубизны небо. Ресницы, брови пряди волос, выбившиеся у неё из-под платка, заиндевели от дыхания, а щёки обливал яркий румянец. Работа встряхнула, оживила её, и Крылов ни о чём не расспрашивал, ни о чём они не говорили в тот день, кроме того, что касалось работы.

Закончив наверху все промеры, они уже в сумерках вернулись в посёлок, еле двигаясь от усталости.

На западе гасла зелёная полоса заката. Высыпали звёзды, переливаясь холодным светом, и снег яростно скрипел под ногами.

Крылов предупредил дежурного, который встретил их легкомысленной усмешкой, что завтра снова возьмет её на работу, расписался в журнале и, уходя, встретился с Алёнкиным грустным взглядом.

– До свидания, Алёна.

Девушка рассеянно кивнула ему головой и отвернулась...

4

– Это называется «рейка». Когда будешь её ставить, старайся держать прямо, пяткой вниз, видишь, нули нарисованы? – объяснял Крылов Алёнке на следующее утро.

– А для чего всё это? – спросила заинтересованно Алёнка после всех его наставлений.

– Карту будем снимать... план...

– А-а!.. Ну, я пойду...

И она, волоча за собой рейку по снегу, пошла «работать».

Кругом лежал скованный морозом, спрессованный ветром снег. Наст был крепким, как асфальт. Ножки штатива с трудом вгрызались в него и теодолит стоял жёстко и надёжно, не то, что летом, когда в топких местах приходилось забивать под каждую метровые колья и снимать отсчёты, как говорится, «не дыша».

Пока Алёнка перебегала с одной точки на другую, он успевал немного погреться, вытанцовывая на месте. Мороз всегда наказывает за неподвижность. Хорошо, хоть ветра не было.

В окуляре рядом с рейкой мелькало Алёнкино лицо, и он иногда оставался на нём взгляд, прежде чем махнуть журналом, что означало: «Взял! Давай следующую!»

«Красивая девка! Парни, наверно, льнут, как мухи на мёд. Интересно, за что она сидит?»

Он спросил об этом, когда позвал её передохнуть.

Алёнка подбежала запыхавшаяся, оживлённая, прикрывая варежкой рот, чтоб не запалить дыхание морозом.

– Хорошо танцуешь! Прямо уморил!

Он снял у неё с плеча рейку, бросил плашмя на снег.

– Садись...

Она примостилась рядышком, хохотнула, мазнув варежкой по его обледеневшим усам. Оттерев их рукавицей, Крылов шутливо обнял Алёнку за плечи, притиснул к себе.

– Так теплее!

– Вам, мужикам, только бы полапаться! – беззлобно уколола его девушка.

– Ну вот! Сразу – полапаться!.. Ты чего такая колючая? – убрал он руку.

– А жизнь такая ... колючая.

Алёнка сняла варежки и стала шумно дышать в сложенные корабликом ладошки.

– Как тебя угораздило в милицию-то попасть?

– Подралась с одной ... стервой, – неохотно ответила она.

– Ну и что? – удивился Крылов, плохо представляя себе драку между семнадцатилетними девчонками.

– Чё, чё! Стекла побила... Они с мамашей и сдали...

– Чего вы не поделили?

– Да-а, – махнула она рукой, – бухая была... Поругалась... Слушай, а к вам артисты в город приезжают? – вдруг оживилась она, переменив разговор.

– Какие артисты? – не сразу понял Крылов.

– Ну... которые в кино.

– Приезжают.

– А ты видел кого? Папанова или Извицкую... Красивая, правда?

Крылов хмыкнул, неопределённо пожал плечами.

– Я в городе мало живу.

Алёнка задумалась о чём-то своём, подперев кулачком подбородок, а Крылов, доставая сигареты, подумал: «Совсем ещё девчонка, а туда же – бухая была!»

– В школе учишься?

– В ПТУ. На будущий год должна кончить, если не попрут за всё хощее...

– А потом?

– Не знаю! – тряхнула она головой и нахмурилась.

Он понял, что ей неприятен этот разговор и, молча докурив сигарету, поднялся.

– Ну, давай работать, а то окочуримся так!

В полдень он позвал её к себе.

– Обедать пойдём. В столовую.

– На свои будешь кормить, начальник?

– Ага! Угощаю! – обрезал он, снимая со штатива теодолит и укладывая его в футляр. Весь инструмент спрятали тут же в снег.

– Алёна, а отец у тебя где? – спросил Крылов, когда уже подходили к посёлку.

– А чёрт его знает!

– Пишет?

– Цифрами в переводе, – брезгливо сморщилась девушка, – и то чаще молчит. Да и не помню я его вовсе, мне два годика было... – Потом быстро глянула на него сбоку чуть раскосыми живыми глазами. – А у тебя есть дети?

– Дочь... Но мы развелись, – не сразу ответил Крылов, словно она заставила его признаться в чём-то постыдном.

А на третий день она сбежала...

5

В километре от берега проходил зимник на буровые. По нему днём и ночью сновали машины с бочками, трубами, лесом. Там была граница их съёмки. Крылов в тот раз набирал самые дальние точки участка и снимал отчёты уже на пределе видимости – за двести метров.

Проходивший по дороге жёлтый «КРАЗ» резко затормозил рядом с Алёнкой, и Крылов увидел, как мелькнув белым платком, она вдруг исчезла в кабине, а самосвал, взревев своим мощным нутром, рванулся в сторону посёлка, скрываясь за снежными вихрями.

– Тьфу ты, чёртова кукла! – выругался он, лихорадочно снял прибор, приткнул его тут же в снег и побежал к дороге, бухая по насту тяжёлыми унтами.

На попутном тягаче ему удалось быстро добраться до посёлка. А, собственно, где её искать? Дома? Но она ведь прекрасно понимает, что прежде всего он отправится туда, да и за каким чёртом надо было так предательски срыватьсь домой, когда можно было просто отпроситься у него? Прежде всего, он должен найти этот жёлтый «КРАЗ». Не Москва же! Переплюнуть можно! Решив её искать, он думал не о себе, он боялся за Алёну: не наделала бы делов девчонка!..

...Прошло часа два, прежде чем он открыл дверь дома, вернее, барака, с одним общим, захламлённым коридором и безошибочно определил интересующую его квартиру, потому что оттуда лихо раздавалось многоголосое магомаевское «Эй, вы, ко-ни!»

В комнате было плотно накурено и приторно пахло дешёвым вином. Лоскутья табачного дыма плавали под облезлым потолком, над головами сидящих за столом, который ломился от бутылок. Подгулявшая компания не сразу обратила внимание на вошедшего Крылова. Кто-то нетвёрдой рукой выключил проигрыватель, царапнув иглой по пластинке. Алёнка метнулась, было, куда-то в угол, но, поняв, что он её уже заметил, кисло заулыбалась и с вызывающим видом вернулась к столу.

– Знакомьтесь, товарищи, моё начальство пожаловало! – небрежно кивнула она в его сторону. – Прошу любить и жаловать!..

– Ну-ка идём отсюда! – грубо сказал Крылов.

– А вы разве с нами не выпьете? – с фальшивым жеманством никудышной актрисы выламывалась Алёнка, наливая в захватанный стакан вино. – Замёрз, поди, у своей треноги?.. На, погрейся!

Девушки хихикали и заинтересованно поглядывали на Крылова. Два молодых парня, развалившись на старом, прожжённом диване, толкались в него мутными глазами, видимо, находясь уже за чертой понимания происходящего.

Он подошёл, взял у Алёнки стакан, поставил на стол и молча хлестанул по лицу взглядом.

Алёнка хмыкнула и, притворно вздохнув в голос, потянула со спинки стула свой платок.

– Эх ты, дура! – вырвалось у него на улице.

Утром, добираясь с ним до участка, он всю дорогу отворачивался от девушки, словно не замечал, злясь на неё за вчерашнюю выходку, но в то же время какое-то смутное чувство вины перед этой взбалмошной девчонкой тревожило и не пропадало...

Работа отвлекла его от мрачных мыслей. А Алёнка снова была озорной и беззаботной, словно не для неё были приготовлены на ночь казённые нары в исписанных похабщиной стенах камеры.

Крылов забыл свою обиду и радовался её хорошему настроению. Когда вечером они возвращались в посёлок, он старательно смешил её, рассказывал анекдоты, баловался, как мальчишка. Обессиленные хохотом, они падали в снег, и прохожие боязливо обходили их стороной.

...Они целый день долбили лунки, промеряя глубину у берега – акватории будущего порта. Алёнка вычерпывала ледяное крошево, а Крылов с хеканьем молотил тяжёлой пешнёй. Вода брызгала из лунок, а, освободившись, пузырьём выплёскивалась на лёд, и к вечеру они основательно промочили ноги. Крылов потащил Алёнку в гостиницу. Она упиралась, даже немного обозлилась на его настойчивость, но в конце концов он провёл её мимо онемевшей от удивления хозяйки в свой номер, заставил разуться и просушить на батарее носки и бурки.

– Успеем в твой зверинец. Там тоже есть люди – поймут, – грубовато шутил он, шлёпая босиком по комнате.

Потом пили крепкий («купеческий») чай.

Алёнка с неприкрытым, почти детским любопытством расспрашивала его обо всём, а Крылов, разомлев от тепла и присутствия такого внимательного слушателя, был «в ударе»...

– ... Шли мы из маршрута уже ночью, по реке, чтоб в тайге не плутать. А горные реки – неглубокие, быстрые и вода в них просто ледяная! Идём по одному берегу до обнажения – это когда скала отвесно падает в воду, и, чтоб не карабкаться по ней в темноте, переходим на другой берег – он, как правило, пологий. И так раз пять за ночь... Собака у нас была, Джулька – молодой ещё кобелёк. Он страшно воды боялся, и нам приходилось по очереди перетаскивать его на руках. Подошла моя очередь, пошёл я с ним и только добрался до середины, поскользнулся на камнях и грохнулся на колени так, что вода до горла достала. Джулька скулит, бьётся, но я его всё-таки удержал и стал подниматься. Чувствую, тяжело стало, будто мне кто полный рюкзак камней насовал. Кое-как побрёл: колени дрожат, спину назад ломит. Выполз на берег. Ребята, хриплю, что у меня там за спиной? Они посмотрели и со смеху попадали. Это надо же! С самой середины полное ведро воды припёр. Сам же его утром за клапан рюкзака цеплял!..

Потом Крылов вспомнил ещё что-то очень смешное и Алёнка даже стакан с чаем опрокинула, закатившись от смеха. Наконец, успокаиваясь, долго катала по столу хлебную крошку, пока не погасла последняя искра улыбки.

– Интересно тебе жить? – спросила вдруг девушка.

– В общем... да! – серьёзно ответил Крылов и стал наводить на столе порядок.

Алёнка присела к окну, задумавшись и втиснув колени в батарею, курила, а он вдруг вспомнил, как явился к ней в квартиру в тот первый день:

– Папрашу вас! – свирепым голосом хотел он повторить свой монолог, но растерянно умолк, увидев, как заплясала у неё в губах сигарета, как она поспешно и слепо стала тушить её в пепельнице дрожащими пальцами.

– Что с тобой?

– Ненавижу... её! – сдавленным голосом проговорила девушка, еле вытолкнув из себя этот колючий комок слов. – Ненавижу! – повторила она, замотав головой, и отвернулась к окну, растирая по щекам набегавшие слёзы.

Крылов, не зная, что делать, растерянно присел у стола, звякнув стульями...

В гостинице было тихо, лишь изредка с улицы доносились глухие взрэвы проезжавших машин, и Алёнка, словно сторожась этой тишины, приглушённо и несвязно говорила...

– Маленькая была – думала, всё так и надо... Потом уж... У других – отцы, семья. Завидно до слёз. А тут – то дядя Гоша, то дядя Лёша. Сюсюканье, шоколадки да пьянки одни – надоело всё... Да чёрт с ними! Отца они не заменят. А мать... Иногда найдёт на неё – разревётся, обмусолит всю: «Доченька, родная, прости!..». И всё такое... Ну, пожалеешь, подумаешь: ей ведь тоже тяжело – загнала себя в угол, дура! А потом... всё то же и те же!..

Крылов навалился на стол и молчал, втиснув подбородок в сжатые кулаки, томясь жалостью, но вот в какой-то неуловимый миг Алёнкин голос будто перелился в другой, давно не слышанный им, такой до боли знакомый и родной, что сердце забухало тревожно и тяжело. Алёнка говорила, давясь слезами, а голос уже был не её, голос был другой. Потом и Алёнка пропала куда-то, и он с пронзительной ясностью увидел вдруг на этом месте свою дочь, увидел её лицо, чуть широко расставленные глаза с угольками зрачков, вздёрнутые волосинки бровей и вечно подветренные губы. И эти губы тоже произносили беспощадное: «Ненавижу!»

«Господи, да неужели и ей такое?» – подумал он, обливаясь запоздалым страхом.

Только сейчас, вот здесь, в этой заваленной снегами гостинице заброшенного на край тундры посёлка с острой болью прорвало наконец ту хлипкую оболочку душевного благополучия, под которой давно уже вырвалась тревога за свою дочь. Он вспомнил и уже по-новому осмыслил и, как надо, понял последние её письма, где она подробно, без обычной восторженности писала о своих увлечениях и школьных делах, а о матери, бывшей жене – скупой и вскользь, с детской стыдливостью, боясь оголить всей вот такой «алёнкиной» правды, облечь её словами...

От своей матери он слышал, что та пьёт, пьёт безобразно, но только отмахивался. «А мне-то что? Пусть катится!» А сейчас он вдруг осознал, что творится в душе у дочери, когда каждый день рушится и исчезает в ней то, что должно быть незыблемым на всю жизнь: материнский авторитет, уважение и любовь, когда всё это уродливо перерождается в «ненавижу». А что же вместо этого, первородного, изначального останется в детском сердце? Кто, как не он, должен помочь ему не озлобиться и не охладеть к добру и вере?

Крылов, не в силах больше сидеть, вскочил и заходил по комнате, перемалывая внутри себя эти так стремительно нахлынувшие мысли, и всё-таки там скрежетало и кровоточило...

В эту ночь он долго не мог уснуть, мучил подушку, ворочался, вставал курить...

Они развелись пять лет назад. Крылов оставил жене квартиру, а сам переехал к матери, в другой город. Он исправно платил алименты, переписывался...

сывался с дочкой и посылал ей подарки. Казалось, кругом он был безупречен и чист перед совестью. Он давно уже раскаялся, что в горячке молодости женился на этой красивой пустышке, не сразу разглядев тогда её распущенности и душевной убогости. Он действительно любил её преданно и слепо, наивно верил в созидательную силу этой любви, как в панацею от всех человеческих недостатков, но... Её тянуло в шумные компании и претила семейная проза. На первых порах они старались уступать друг другу, хотя и не всегда миролюбиво. Он, как умел, тянул её в круг разумных интересов, стараясь отгородить от вульгарных подруг и пустого времяпрепровождения, но... начались командировки, и мучительная раздвоенность между семьёй и любимой работой. Чем дальше, тем внушительней раздвигалась между ними пропасть, и те жидкие мосточки, слепленные на скорую руку во время его приездов, вскоре рушились, теряя опоры...

Вспомнилось, как в последний год их совместной жизни он однажды приехал из командировки и застал дома одну дочь...

«А мама на дне рождения!» – сообщила она ему звонким, не остывшим ещё от радости встречи голосом. Мотыльком залетала по комнатам, подавая ему тапочки, чистое полотенце, хвастаясь новыми куклами и нарядами и, на правах маленькой хозяйки, взгромоздила на плиту чайник, собираясь накормить. А «большой хозяйки» не было ещё сутки и, когда она явилась со стойким запахом затянувшегося веселья, в сползающей с ресниц и губ косметике, он прямо при дочери исхлестал её по щекам. А потом туман остывающей озлобленности прожгли вычерненные ужасом детские глаза... Когда он остался один, не простив женщине предательства, он не слишком терзался памятью о ней и больше не строил иллюзий на счёт «верной Пинелопы»...

А дочь...

Когда его мать привозила её к себе погостить, а он, случалось, «камералил» в это время в городе, крохи общения с дочерью приносили ему не только радость, но и оставляли в душе горький осадок неполноты, ущербности чувства, хотя со стороны посмотреть, всё было вроде благополучно. Вот идут они в кино. Она о чём-то весело щебечет, скачет вприпрыжку рядом, повиснув на руке, а он, улыбаясь, что-то отвечает, что-то рассказывает, с гордостью поглядывая на встречаемых: «вот у меня какая дочь, егоза, красотуля!»...

Или на пляже ярким сверкающим днём он учит её плавать. Визг, брызги, хохот. Ручонки судорожно цепляют за шею, а он с осторожностью, но требовательным усилием толкает её в воду и сам смеётся, упоённый этой игрой...

Не раз где-нибудь в палатке под железный звон дождя или в тягучих мыслях у ночного костра он переживал эти встречи заново, светлея и радуясь, пока...

Это событие тогда потрясло весь город. Две тринадцатилетние школьницы, взявшись за руки, шагнули с крыши многоэтажки в свою смерть. В ходе следствия нашлись свидетели, которые видели, что сделали они это по своей собственной воле...

Страшно было пережить такое. Но вина его перед дочерью была так огромна, как он сам считал, что, наверное, переживёт и его смерть и даже там, за гранью, будет терзать и мучить. Она, вина эта, то затаивалась в повседневности где-то в глубинах, то, потревоженная, всплывала острой болью и раскаянием...

На следующий день Алёнка больше молчала и старалась не встречаться с ним взглядом, словно жалела, что вот так вдруг доверила почти незнакомому человеку самое сокровенное, что и в самой-то себе ворошить было мучительно, больно и стыдно.

Крылов, не выспавшийся, хмурый, не тревожил её расспросами.

Работа подходила к концу, и в последний день оставалась лишь небольшая нивелировка. В обед Алёнка отпросилась домой – помыться и «вообще»...

Они договорились встретиться в гостинице. Крылов прождал часа три, всё порывался пойти за ней, но почему-то не решился.

А когда Алёнка пришла сама, уже темнело и не было смысла идти на работу...

– Привет – появилась она на пороге в расстёгнутой шубейке, с пьяненькой улыбкой на губах. Весь её расхристанный вид говорил сам за себя. – Привет, говорю! – повторила она, удивлённая, видимо, молчанием и привалилась к косяку, целя в него блуждающим взглядом.

– Проходи, – буркнул Крылов, поднимаясь с кровати. Так он и знал: вырвалась птичка на свободу...

Алёнка прошла в комнату, стянула с головы платок, плюхнулась на стул и лихо закинула ногу за ногу.

– Осуждаешь? Морали читать будешь? Давай, давай, чего такой бука? Кругом все моралисты, ажно плюнуть некуда!

– Не выступай! – оборвал её Крылов и потянулся за сигаретой.

Алёнка тоже достала из кармана тощую пачку. Долго шуршала целлофаном, пытаясь непослушными пальцами подцепить сигарету. Наконец ей это удалось. Она неумело прикурила и развалилась на стуле.

– Ну, выпила маленько! Простишь, а, начальник? С милицией я сама разберусь – не бойся...

Крылов молчал, отчуждённо глядя в окно.

– Вот возьми ментов наших, – разглагольствовала Алёнка, щурясь от дыма, – он тебе в глаза: такая-сякая, живёшь неправильно, тебя ещё ремешком по попке... А сам лапает втихаря, как шлюху какую. Да у него вся эта мораль – в штанах... А завуч? Такие сладкие речи поёт, ну чисто соловей, заслушаешься! А дома, как скотина, напивается да бабу свою гоняет!..

– Чего тебя понесло? – поморщился Крылов. – Ты хоть дома-то была?

– Не-а! – тряхнула она волосами. – Парниш-шу тут знакомого встретила...

– Отхлестал бы я сейчас твоего парнишу!

Алёнка чему-то усмехнулась, опустив глаза, а потом заискивающим деловым тоном осведомилась:

– На работу пойдём?

– Посмотри в окно, работница!..

Она взглянула и фальшиво присвистнула:

– И правда-таки...

Крылов встал с койки, заходил по комнате, поглядывая на девушку.

– Я одного не пойму: ты-то зачем пьёшь? Мать осуждаешь, а сама? – задал он мучивший его вопрос.

Алёнка выпустила в потолок длинную струю дыма и махнула рукой:

– А!.. Она сама по себе! Я сама по себе!

– Во, лозунг! – язвительно заметил Крылов. – Одно слово пропустила: она сама по себе пьёт, я сама по себе...

– Да плевать я на неё хотела, понял? – бросила она через плечо, сверкнув злым взглядом.

– Доплюешься так! – тоже разозлился Крылов. – Одну пакость из углов выскребаешь, пацанка! Сама вот так залезешь в неё по уши – потом не отмыться будет!

– Да чё ты ко мне пристал? – вскинулась Алёнка, крутанувшись на стуле. – Ты кто мне, отец, муж, брат? Сделал своё дело и уматывай короче, а то приста-ал! – протянула она плачущим голосом и отвернулась, зашмыгав носом.

– Детский сад! – вздохнул Крылов и сел на кровать, напротив. Он хотел убрать с её лица упавшие волосы, но Алёнка взбрыкнулась и ещё больше отвернулась, всхлипывая и давясь дымом.

– Да брось ты к чёрту это курево! – Он вырвал у неё сигарету.

Аленка вскочила, вцепилась ему в руку:

– Отдай, гад такой!.. Отда-а-а-ай!..

Она уже редела в голоса, колотясь крупной дрожью и рвала ему на руке свитер, пытаясь дотянуться до сигареты.

– Да успокойся же ты! – испугался Крылов, выбросил сигарету к печке и, усадив её на кровать, обеими руками крепко прижал к себе.

Она не пыталась вырваться, только, низко опустив голову, тоненько пощеньячы скулила и подвывала.

– Ну, не надо, Алёна! – голос у Крылова сорвался и ему сейчас самому захотелось плакать и искать сострадания... Он зарылся лицом в её волосы и, помутнев душой, судорожно сжимал объятя.

А она вдруг резким и сильным движением отстранилась, провела ладонями по лицу и взглянула на него почти отрезвлёно и ясно.

– А хочешь... женой твоей буду? Я знаю, ты – надёжный!.. Ну и что, что старше? Другие вон... А я пить и курить брошу, ты не думай. Вот честное слово!..

Крылов удивлённо уставился на неё, перестав что-либо соображать.

– И с тобой буду ездить везде! Рейку таскать. Возьмёшь меня рейку таскать? И ухаживать за тобой буду, я же всё умею: и шить, и готовить. Я хорошей женой буду, Крылов! Правда-правда! Мне восемнадцать через полгода исполнится – тогда и распишемся, да?.. – Она порывисто обняла его, прижалась сбоку горячим телом. – Только увези меня отсюда, Крылов! А то сама сбегу! Ты же видишь, какая я здесь ... непутёвая!..

У него горло будто петлёй стянуло. Или руки её так сильно сдавили шею? Но не поэтому он молчал, закрыв глаза и тихонько глядя её плечо. Слишком противоречивыми были чувства, чтоб вылиться во что-то определённое: в ответную нежность к юной женщине, в щемящую жалость к обиженному ребёнку или в желание стряхнуть её заблудший разум холодной мудростью наставлений.

А Алёнка, словно не желая торопить с ответом, притихла рядом, обжигая щёку своим дыханием.

– Ты знаешь, я уже который раз один и тот же сон вижу, – расслабленно и сонно, как будто устав от минутного порыва и уже забыв о нём, доверчиво зашептала она. – Старуха одна говорила – видение это. Будто сижу я на траве в каком-то поле... Кругом цветы, а я вся в белых кружевах, и трава такая пушистая, мягкая. И вижу: он идёт ко мне и, знаешь, так улыбается, ну... просто умерла бы за одну такую улыбку... Берёт он

меня на руки и я лечу, лечу... Так мне легко и радостно, и чувствую, что вот с ним мне будет всегда хорошо и ничего плохого больше не случится. Вот правда, несколько раз это видела! Даже страшно иногда – мистика какая-то. Но вот верю, что это будет, и всё тут!

Крылов наклонился и тихонько поцеловал её в солёные губы.

– Вينيщем-то от тебя!..

Она с виноватой улыбкой спряталась от его изучающего взгляда.

– Парни вокруг, наверное, табунами ходят, неужели никто не нравится?

Алёнка презрительно хмыкнула где-то у него за ухом.

– Народу много, а людей нет... Дон-Жуаны сопливые...

И рассказала обычную сентиментальную историю обманутой любви.

– Хотела вены себе резать, дура... Да потом как-то перегорело всё, – и она с надрывом вздохнула.

– Алёнка!.. То, что ты предлагаешь, – заговорил Крылов, мучительно подбирая слова, – это не реально... Это не выход...

– А что выход? – откликнулась она, убрав руки. – Что выход? Гнить в этом болоте с мамашей на пару?

– Конечно, уехать тебе надо. От подруг подальше... Но не сейчас же. А учёба как? – Он чувствовал желание как-то помочь ей, всё же он старше, опытней и имеет право советовать и определять цену поступков, но в то же время, высказывая зрелые, трезвые мысли, в глубине души сознавал, что говорит совсем не то, что она хотела бы слышать... – Кончишь ПТУ, специальность будет, значит – самостоятельность, тогда все дороги – твои. В город приезжай, я тебе помогу устроиться...

Пока Крылов говорил, Алёнка внимательно и настороженно смотрела на него мохнатыми глазами, потом как-то вся сникла, сгорбилась, сложив руки между колен, и уставилась в пол...

– Я понимаю – тяжело, но ты... потерпи! – И Крылов осторожно обнял её.

– Да иди ты к чёрту! – отбросила она плечом его руку и вскочила с кровати. – Ещё один учитель нашёлся!

Он, помедлив, поднялся, сходил за водой, включил плитку и поставил на неё замызганный чайник.

«Чего я тут нагородил? Как будто она сама этого не понимает!.. Дочери своей тоже посоветуешь терпеть? А если нельзя это терпеть? Если это – невыносимо?..»

Он бесцельно послонялся по комнате, терзаясь этой раздвоенностью мыслей. Алёнка привалилась к батарее у окна, хмурилась и тоже молчала.

– Есть хочешь? – спросил он, не глядя на неё.

Она переступила с ноги на ногу и вызывающе вскинула голову.

– Выпить хочу! Или, может, денег жалко?

– Денег мне не жалко, – сразу ожесточился Крылов. – Тебя, дурочку, жалко!..

– Жалостливый какой! – ехидно протянула Алёнка, но лицо её чуть просветлело, и она сказала:

– Ну, тогда давай чай пить...

Через три дня Крылов уезжал.

Он пришёл на вокзал задолго до отхода поезда, отыскал своё купе, растолкал вещи и вышел из вагона покурить...

Перрон был залит полуденным солнцем. Где-то вызванивала робкая капель, пахло влажным снегом, и лица снующих вокруг людей были оживлены и приветливы.

«А у нас, наверное, тротуары уже сухие», – подумал он, слабо ощутив радость возвращения. Всё же на душе было тяжело и муторно, будто в чём-то он предал Алёнку и трусливо бежит сейчас в тепло, на юг. Он так и не смог сказать ей в тот вечер ничего определённого. И на следующий день, когда они закончили работу, она так холодно простилась с ним, что Крылову стало не по себе. Всё же он больше думал о дочери. И мысли о ней заслоняли всё остальное...

Но, чёрт возьми, что он должен? Ну, встретились, ну, выложила она ему боль свою, разве это обязывает в чём-то, кроме сочувствия и совета? Тут своих забот не расхлебать – дочь вот...

Вдруг всё вылетело из головы...

По перрону шла Алёнка. Через плечо у неё висела большая цветастая сумка, на голове опять была одета вязанная шапка, а колени обтягивал капрон.

– Алёна! – окликнул он её с удивлением и неосознанной радостью.

Она сразу остановилась, будто споткнувшись о голос, отыскала его чуть испуганным взглядом, и не сразу подошла, мягко, по-кошачьи ступая в своих разрисованных бурках. Остановилась в двух шагах – глаза в глаза. Он всё понял.

– Пошли!..

Стянул с плеча сумку, провёл в своё купе, потом сбегал обменял её билет и, с грохотом закрыв дверь, присел рядом.

– С милицией как?

– Дак, отпустили!..

Она сидела, привалившись к перегородке, опустил глаза и бессмысленно поправляя какие-то складки на платье.

– А училище?..

– Забрала я документы, – криво усмехнулась. – Чуть спасибо не скажали...

– Ну и ладно!.. Может, это к лучшему, чёрт возьми, – затормошил он ещё не пришедшую в себя девушку. – Начнёшь всё по-новому. Матери напишешь, объяснишь по-человечески – поймёт!.. На выписку запрос пошлём... Жить пока у меня будешь – места хватит, а мать у меня замечательная, – быстро, с какой-то очищающей твёрдостью в голосе разрешал сейчас он все вопросы, словно заранее их обдумал и только ждал этой минуты, чтоб ответить на них...

Потом встал, навалился локтями на полки и, улыбаясь, сверху обладал взглядом Алёнку, которая жалась в углу, тихонько вздыхала.

– Ничего, Алёна! Всё хорошо будет, вот увидишь!

А она растерянно смотрела на него из-под разбрызганных волос и застенчиво молчала...

Роман с дождём

Художник Кирюшин в одиночестве лежал на кровати в гостиничном номере, слушал по радио концерт для тружеников села и в то же время работал – думал.

Эскизы были уже разработаны и согласованы с местным руководством, оставалось только решить, как всё это скомпоновать в интерьере клуба.

Время от времени он, свесившись с кровати, разглядывал лежавшие на полу эскизы, брал какой-нибудь, долго вертел перед глазами, вполголоса подпевая очередной певице, потом бросал обратно.

В глазах рябило от мордастых коров, волочивших по тучным травам изобильные вымя, от частокола берёзок и жизнерадостных доярок с рубенсовскими бюстами.

«Куда же его вклеить-то?» – зевая, размышлял Кирюшин, имея в виду трактор.

*«...У природы нет плохой погоды:
Каждая погода благодать...» -*

сквозь хрип и шипенье пробивался из репродуктора томный голос.

«Хм, хороша благодать, – лениво возмутился он, представив, что сейчас творится во дворе: пятый день уже льёт и брызжет. Могучие «кировцы» измочалили улицы в тесто, растолкали грязь до самых палисадников. И какая же здесь замечательная грязь! Чёрная, жирная, самой что ни на есть высшей пробы. С превеликим трудом идёшь по ней, как схимник, волоча на ногах пудовые вериги. Даже «Беларуси» уже не осмеливаются показываться из гаража. Только чумазый, чахоточный «дэтэшка», захлёбываясь гусеницами, протащится иногда, волоча за собой прицеп, где мотаётся серая кучка сонных доярок.

«Да, благодать...»

В дверь постучали.

– Входите!

Он сел на кровати и стал прибирать эскизы. В щель приоткрывшейся двери просунулась голова в кепке. И поздоровалась.

– Здрасте! Вы будете художник?

– Мы, – рассеяно ответил Кирюшин. – Заходите!

– Я щас! Сапоги сыму! – сказала голова и исчезла. За дверью повозились и через некоторое время вошел её обладатель: высокий, худой, в брезентовом плаще, и толстых, домашней вязки носках.

Кирюшин сунулся под соседнюю койку и нашарил там тапочки.

– Вот, наденьте!

– Ага! Спасибочко! – въехав в растоптанные шлепанцы, гость присел к столу.

– Это вы, значит, по договору клуб у нас оформляете? – спросил он, избрав улыбку на морщинистом, в гармошку, лице. – А я – заведующий буду сепараторным отделением молокозавода... Ну, как устроились?

– Да я что, привычный. Койка есть, столовая рядом. Чего ещё? Работать приехал, не на курорт.

– Да, едрёна вошь, тут у нас, конечно, не курорт. Не те грязи! – засмеялся гость булькающим смешком. – У меня вот какое дело... Надо нам наглядную агитацию на отделение. Ну и лозунг какой! Вперёд, к победе, понимаешь... Районное начальство требует. Чтоб, значит, как у всех... А то у тебя, говорят, Игнатъич, хлев какой-то, а не производство, не на чем глазу остановиться... Оплотим всё соответственно. – Он прихлопнул ладонью по столешнице. – Ну как, договоримся?

Кирюшин пожал плечами.

– Черт его знает! Мне клуб надо ...

– Да там немного: пять-шесть плакатов у входа, ну там план, факт, всё такое. А этот клуб-то когда-а ещё размалюешь!

– Ну, хорошо, – немного подумав, согласился Кирюшин. – Завтра утром я к вам приду, обсудим в деталях.

– Вот и ладненько, – поднялся заведующий и, прощаясь, протянул ему маслястую ладонь.

После его ухода Кирюшин немного вздремнул и проснулся когда окна уже затянуло густой синью ненастного вечера.

Пора было идти к Аннушке. За молоком. Он сполоснул банку и оделся...

На улице ветер зло швырял в лицо иголками брызг и ледяными пальцами нахально лез за воротник.

Глубоко проваливаясь и с трудом выдирая обратно сапоги из ухватистой грязи, Кирюшин долго пробирался до Аннушкиных ворот, хотя тут было не так уж и далеко.

Уже прогнали стадо, и улица, осветлённая реденькими, издёрганными ветром фонарями, была сплошь испятнана воронками следов. Пахло навозом и мокрой шерстью.

Эх, деревня! Осенью ты по уши в грязи, зимой по маковку в снегу. Жители твои так притерпелись к этому бездорожью что даже к собственным воротам не желают пару-другую досок под ноги кинуть: всё одно или коровы затопчут, или трактор утопит. А об асфальте даже и мечтать перестали. Какой, к чёрту, асфальт, откуда деньги, если колхоз с планом-то еле справляются!..

Аннушка была дома, возилась на кухне, разливая молоко. Видимо, только отдоилась.

– Проходи, – сказала озабоченно, обласкав взглядом. – Банку-то принёс?

Кирюшин поставил на стол посудину и присел рядом.

В печи ровно горел огонь, на плите смачно шкворчало и шипело. Вся кухня, весь дом были пропитаны запахом пищи, тепла и уюта. И Кирюшин в который раз уже подумал, что пора и ему устраивать собственную жизнь, а не мотаться по чужим углам. Аннушка, конечно, женщина приятная... Но что у них может быть общего? Он всю жизнь прожил в городе, а её не оторвать от коровьих титек. Да и надо ли? Без любви-то?..

«Сосватал» ему Аннушку председатель, когда они, оформив договор по клубу, решали вопросы «благоустройства».

– И молоко можно покупать, – говорил тогда председатель, роясь в своих бумагах. – Да вот у Аннушки хотя бы ... Бабёнка она одинокая, с мужиком развелась, когда тот ещё сидел – натворил делов по-пьянке, дурак, а сейчас пропал куда-то. А сынка её балкой пришибло. Ферма у нас старая обвалилась... Ну, вот и живёт одна. Женщина она хорошая и как доярка – в передовиках ходит. А излишки в колхоз сдаёт... – Тут председатель с хитрым прищуром блеснул очками на сидевшего напротив Кирюшина. – Может и угол сдать кому, если понравится. – Видя, что тот никак не отреагировал на такой доверительный намёк, кисло уточнил. – Я угол имею ввиду... – И потянулся к простуженно задрезавшему телефону.

Конечно, в первый же вечер Кирюшин отправился договариваться с хозяйкой. Жить в деревне и вволю не попить парного молока! Этого он никак не мог допустить.

– Ну а чо? Мне без разницы, кому... Приходите, – согласилась Аннушка, немного растерявшись вначале при виде его небрежно расстёгнутого кожаного пальто и слегка потёртого до модных стандартов джинсового костюма. Но, видимо, самое большое впечатление произвела не её импозантная «казаковская» борода из фильма «Человек-амфибия», который она когда-то очень любила смотреть.

Кирюшин был тоже приятно тронут, но не столько возможностью каждый день пить молоко, сколько своим знакомством с хозяйкой, внешние достоинства которой недвусмысленно и коротко оценил: кровь с молоком.

Ну а потом Аннушка «уговорила» его как-то посмотреть кино по телевизору, и он остался. А потом... словом, жизнь есть жизнь, и всё, что совершается в этом подлунном мире, совершается по его извечным законам.

– Останешься? – просто спросила Анна, стоя к нему спиной и ворочая сковородками на плите – Я...это...беленькой припасла.

– Ну, если беленькой, – шутливо развёл руками Кирюшин.

Он помог накрыть на стол и при этом дурашливо изображал из себя разбитного официанта из какого-нибудь дореволюционного «Метрополя», элегантно принимая из её рук тарелки и уплывая комнату лакейской, вихляющей походкой. Аннушка весело похохатывала и не очень резво увёртывалась от дружески-нахальных щипков, а Кирюшин при этом галантно «просил у неё прощенья» с истинно французским прононсом.

Включили телевизор. Аннушка заботливо подкладывала ему в тарелку. Ей нравилось, когда мужчина много и с аппетитом ест.

– Во, во, смотри, – не переставая жевать, тыкал Кирюшин вилкой в телевизор. – Ну, прямо душа радуется за нашу процветающую державу! А? У тебя тоже радуется? Вот я и говорю: и это выполнили и там перевыполнили!..

– Так они чо? – по-женски мягко махнула рукой Аннушка на бодро сыпавшего цифрами комментатора. – Их же в передовые хозяйства только и возьмут! Пыль в глаза пускают!

– Не из этой ли пыли достаток?

– Ну, видишь... У нас-то колхозишко захудалый, у соседей тоже, а вот Калининский – миллионер! И их по стране, может, тыщи! Вот и вытягивают!..

От напряжения мысли на лбу у неё прорезались лёгкие строгие складки, и Кирюшин представил себе, как с такой же строгой озабоченностью Аннушка доит своих бурёнок.

– А с захудалыми-то что делать? – заинтересованно спросил он, наливая в рюмки.

Аннушка пожала плечами.

– У нас, видать, Ерофеич, председатель-то, слабак, да и в районе начальство всё больше о себе думает. Приедут когда, полаются в конторе да и обратно.

– А вот ты как передовая доярка возьми и напиши в Москву, какой у вас тут бардак развели, – посоветовал Кирюшин, усмехаясь.

– Да ну ты!.. – отмахнулась «передовая доярка», – Пришлют сюда же в район бумагу, чтоб на месте разбирались. Меня же и со свету сживут.

– Тогда не надо, – согласился Кирюшин и, морщась, выцедил водку.

Немного спустя он возбуждённо ходил по комнате, размахивая руками и натываясь на стулья, убеждал Аннушку, как измельчали люди, как погрязли в суеде, замкнулись в злобном эгоизме, утратив культуру духовного общения и извратив нравственную основу поступков...

– И – ложь! Кругом ложь! Она въелась в душу, как ржавчина, и мы уже не замечаем её, вернее, принимаем как должное, как нечто вроде бы и не очень хорошее, но неизбежное, почти правильное... из каких-то там высших соображений... которые...

Аннушка, навалившись на стол тяжёлой грудью, пригорюнившись, следила за ним сочувственным взглядом...

– Да уж, конечно... – время от времени раздавались её жалостливые вздохи, что ещё больше распяляло оратора, делая его речь более изощрённой и красочной...

– Кругом пьянство, бардак!.. Никому ничего не надо! – страстно кричал он на притихшую хозяйку.

– Ты выпей, господи! – засуетилась Аннушка, испуганно хватаясь за бутылку.

Кирюшин угрюмо понаблюдал, как она разливает водку, и это его вроде бы успокоило, но когда пил – ноздри дрожали.

Ему много хотелось сказать ей. И не только о том, что окружало, но и о том, что болело внутри, словно оттуда вынули какой-то стержень и ничего не осталось – ни веры, ни уверенности. И она, он знал это, не столько поняла, сколько бы приняла его боль своим женским сердцем. Но тогда он остался бы как-то обязан ей, её сочувствию и ещё больше запутал себя.

Проще всего было играть свою роль до конца.

Они допили водку, а потом захмелевший Кирюшин картинно рухнул перед Аннушкой на колени и уткнулся мокрой бородой в теплое её бедро...

Аннушка глубоко вздохнула и ласково пригладила шершавой ладонью его взвихренные на макушке редкие волосы...

Утром он проснулся в аннушкиной кровати и долго валялся, наслаждаясь теплом и тишиной (Анна ещё затемно ушла на дойку). Только немного побаливала голова и лезли в неё ненужные какие-то мысли.

Потом в памяти всплыло лицо аннушкиного брата, Лёвы, который вчера опять приходил занимать деньги, и он не без стыда вспомнил первую их встречу.

Здоровенный парняга в провонявшей мазутом телогрейке ввалился в номер и, оставляя на полу смачные отметки грязи, молча подошел к нему и показал чёрный кулак.

– Видал? – ударило свежим густым перегаром.

Свирепое лицо в мощных скулах не обещало обалдевшему художнику никакого светлого будущего.

– За что? – хотел только спросить Кирюшин, готовясь к мордобитию, но чувство собственного достоинства не позволило слепо подчиниться надругательству над собой.

– Может, объяснимся? – проблеял он, внимательно разглядывая чудовищный кулак у себя под носом.

– Слушай, ты, маляр! – с коварной вежливостью в голосе произнёс обладатель кулака. – Если ты ещё раз к сестре заявишься, я из тебя мочалку сделаю, по-ял?

– К какой сестре? – спросил Кирюшин, хотя обо всём уже догадался.

– К Аннушке, твою... Ты чо думаешь, она гулящая какая?

– А-а! Так ты брат её? – еле растянул в улыбке окаменевшие губы Кирюшин и, стараясь сохранять спокойствие, уселся на кровать.

Лёва, тяжело посопев, тоже присел на стул. Ему было, наверное, лет двадцать пять, хотя кто этих деревенских поймёт? Иной и в шестнадцать лет выглядит таким многоопытным мужиком.

– Зачем же так-то сразу в драку? – уже вполне овладев собой и на правах старшего укоризненно сказал Кирюшин, а затем неожиданно для себя добавил. – Я, может... люблю её!

– Знаем мы эту любовь! – угрожающе высказал Лёва своё мнение, хотел сплюнуть, но почему-то раздумал.

– Эх! – Кирюшин картинно вздохнул и уронил голову. – Не веришь!

– А чо верить-то?.. Ты приехал, поимел своё удовольствие и свист-дырка! Думаешь, из города, так все девки должны перед тобой штабелями ложиться?

– Какая же она девка? И я, и она уже в возрасте...

– Кака разница!

– И всё-таки я хочу... Я очень хочу, Лёва, чтоб ты мне поверил. Это не тот случай. Это – любовь...

Кирюшин при этом дрогнул голосом, и даже в глазах зашипало, так ему стало жалко себя. Но не того, который сидел сейчас перед этим громилой и лживым признанием вымаливал прощения, а того, который действительно мог бы вот так полюбить незамысловатую во всех отношениях деревенскую бабу и бороться за свою любовь.

И, представив, как всё это было бы на самом деле, Кирюшин долго и убеждённо доказывал грозному защитнику нравственности, как он любит Аннушку, как нужна она ему, такая чистая и простая, и что только один вопрос у них не решён – то ли он останется здесь, то ли заберёт её с собой в город.

Лёва слушал его рассеянно, думая о чём-то своём, но скулы его опали и в лице исчезла свирепость.

А когда Кирюшин замолчал, попросил у него трояк на «будершафт».

Они славно провели этот вечер, даже спели в два голоса «Ой, мороз, мороз». Правда, Кирюшин плохо помнил, как тащил потом Лёву до дома и как сам умудрился вернуться обратно в гостиницу. Это по такой-то грязи! Наутро даже из ушей пришлось выковыривать... Полз, что ли?.. Но это ничего! Грязь – это наплевать! Грязь – это не кровь.

С того раза Лёва повадился стрелять у него трояки «взаймы до вечера». Потом на несколько дней исчезал, а потом эта процедура повторялась, и Кирюшин начисто забыл, сколько Лёва ему должен и когда же наступит этот никак не приходящий вечер...

«Шантажист!» – в который раз обругал он Лёву про себя и поднялся с постели.

Вспомнил, что обещал зайти на сепараторное отделение, оделся, поискал замок, запер дверь и бросил ключ в известное ему место.

Отделение дымило тощей трубой на дальнем краю деревни.

Он долго месил осточертевшую грязь, пока не добрался до маленькой убогой конторки и, открыв дверь, сразу увидел там заведующего, скучавшего за единственным, занимавшим большую часть помещения, столом, на котором, кроме мух, ничего не присутствовало.

– А-а!, – обретая свой истинный рост, поднялся навстречу заведующий. – Привет!

Кирюшин присел на стул, и они начали обсуждать предстоящую работу...

– А лозунг вон туда надо сладить!.. – заведующий ткнул пальцем в окно за своей спиной. – Над главным входом. Вперёд, значит, к победе!

Кирюшин, согнувшись, глянул через мутное стекло на скоробленный временем щелястый фронтон цеха и ехидно произнёс. – И вы считаете, что этот фасад достоин украшения?

Заведующий, развернувшись на стуле, тоже посмотрел в окно и раздвинул в кислой улыбке бледные губы.

– Отремонтируем! На будущий год. Пока финансов нету... А ваше дело – нарисовать. Вам за это деньги уплотют!..

Кирюшин облокотился на стол и задумчиво потеревил бородку, чувствуя, как поднимается знакомая тоскливая немочь, когда не хочется браться за работу, заранее зная, что не принесёт она ему ни радости, ни удовлетворения. Только ради денег...

– Кистей у меня совсем нет, – вяло соврал он – в город хотел ехать...

– Кистей?.. А хвосты пойдут?

– Какие хвосты?

– Ну, какие у лошадей хвосты? Конские, стало быть. Хвосты, из конского волоса...

– А-а...ну, вобщем!..

– Тогда айда на конюшню! – поднялся из-за стола заведующий.

Они прошли на территорию отделения. Из цеха раздавался ровный гул, там что-то брякало и свистело. Пахло навозом, соляжкой и ещё какой-то кислятиной.

Конюшня лепилась в самом углу, за кочегаркой, топорщась обглоданными рёбрами углов.

Они зашли в полутёмное, смрадно пахнущее конской нищетой помещение, и заведующий срезал с первого попавшегося на глаза хвоста солидный пучок. Потом потащил Кирюшина в мастерские, где непохмельный угрюмый слесарь не сразу поняв, что от него требуют, принёс им обрезки алюминиевых трубок.

– Ну вот! – воодушевлённо изрёк заведующий и с прибаутками, вроде, «бедняк на выдумки мастак», с веселеньким перематом завозился у верстака, загоня пучки волос в один конец трубок, сплющивая их ударом молотка и обрезаая всё лишнее.

– На! – с гордостью протянул он Кирюшину готовую к употреблению продукцию своей доморощенной фирмы. – Пойдут?

– Вполне! – рассмеялся тот

Временно отложив оформление клуба, Кирюшин, пересиливая себя, рисовал плакаты. Работал допоздна, ночевать уходил в гостиницу...

– А чо это ты на отделение ходишь? – спросила Аннушка, когда он на третий день явился к ней за молоком. Она не скрывала ревнивой интонации в голосе и даже усиливала её нарочито – грозным косящим взглядом.

– А что такое? – Кирюшин заёрзал на стуле. – В чём крамола?

– Конечно!.. Девочек там молоденьких... – Анна обиженно шмыгнула носом.

Кирюшин прямо из банки пил тёплое молоко, пахнувшее лучами и почему-то свежим хлебом.

– Чо молчишь-то? – нетерпеливо допытывалась она, моя в тазике посуду.

– Представляешь, – с невинной добросовестностью в голосе начал рассказывать Кирюшин. – Захожу я позавчера в эту вашу богадельню – заведующий попросил кое-что нарисовать – а там!.. – он закрыл глаза и замотал головой, – среди грязных молочных рек – правда, кисельных берегов я не заметил, – среди сепараторов и прочей рухляди стоит этакая, понимаешь, русалочка, молоденькая, свеженькая, ну прямо бутончик, цветок на болоте! Представляешь, какая композиция? Какой контраст? Поль Гоген в соавторстве с Шагалом!..

Аннушка зло поджала губы и стала швырять на полку вымытые чашки.

– Ну-ну, разобьёшь же! – урезонил Кирюшин, оглушённый стеклянной канонадой. – Шучу я!.. А ты правда ревнуешь?

– Хо! Придумал! Ревновать!.. На черта надо? Катись к своей русалочке, кобель приبلудный!..

Кирюшин с трудом успокоил разволновавшуюся Аннушку и в знак примирения и любви, натащив красок, целый вечер разрисовывал печку райскими птицами и нехитрым орнаментом.

Хозяйка осталась довольна и блистательной живописью и льстивыми улыбками её автора, профессионально замазавшего таким образом свои несуществующие грешки.

– Да люблю ж я тебя, дурочка, – убеждал её ночью, глядя горячее тело, стараясь придать голосу искренность страсти. – Кончу клуб, съезжу в город, с мамой поговорю... Она у меня добрая старушка, сживётесь!

– Куда я от своих коров-то? – с надеждой и грустью шептала Аннушка, млея от его ласк.

Через две недели комиссия приняла клуб. Кирюшин получил расчёт, немного попьанствовал у Аннушки, шикая в пределах местных возможностей, подарил напоследок дорогое кримпленовое платье и собрался уезжать.

Дождь перестал, но небо никак не желало просветлеть, занавесившись какой-то серой дрянью. Грязь привольно обжила улицы. Она казалась непобедимой и вечной, как сама жизнь.

Они стояли у попутного молоковоза, поджидая водителя, и чувствовали какую-то неловкость, недосказанность всего, когда выдуманное уже воспринимается почти явью и невозможно обидеть друг друга правдой.

– Я где-то через неделю подъеду, – с фальшивой бодростью в который раз говорил Кирюшин, отворачиваясь от наскоков холодного ветра. – И что тебе в этой дыре прозябать? Тьфу!

Аннушка изредка встречалась с его ускользающим взглядом и тоже, закрываясь ресницами, тихонько вздыхала.

– Ты не пей хоть дорогой-то! Деньги вон какие!

– Да не бойся! В первый раз, что-ли?

Наконец, разбрызгивая грязь, заполошно примчался шофёр.

– Давай, давай, садись!

Они с Аннушкой наскоро и не таясь поцеловались, и Кирюшин полез в кабину. Хлопнул дверцей.

– Ну, иди домой! Холодно! – сказал ей через стекло и отвернулся, будто обжёгшись от её пронизывающим взглядом.

Молоковоз, буксуя и взывая мотором, выехал на дорогу.

В душе у Кирюшина тоже что-то пробуксовывало, возились, толкались мысли. Но он твёрдо знал, что никогда уже сюда не приедет и скоро забудет это утонувшее в грязи захолустье...

«Всё пройдёт, как с белых яблонь дым...» – вспомнил к случаю и попытался настроить себя на философский лад.

Но когда проезжали мимо сепараторного отделения, и Кирюшин увидел установленные над хиленьким забором свои яркие, кричащие плакаты с упитанными коровьими мордами, с пухлыми цифрами выполнений и повышений, уже кое-где заляпанные, когда он увидел свой лозунг, победно пламеневший на разваливающемся фронтоне, ему стало вдруг так нестерпимо гадко, что даже во рту всё свело какой-то преснятиной...

Кирюшин откинулся на сидение, закрыл глаза и, заставляя себя ни о чём не думать, всё-таки подумал: «И здесь одна видимость»!

Один день Алексея Крамова

В субботу жена затеяла стирку, а Крамов прямо с утра отправился мыться в городскую баню.

– Я тут воды нагрею, постираю и сама помоюсь, а ты иди давай, Лёшка, – напутствовала она мужа, собирая бельё. – А то вечером пойдёшь – настоишься там...

В городе как обычно летом горячей воды в домах не было и к услугам жителей, очень привыкших ежедневному мытью, работала единственная старенькая баня у вокзала. Остальные, как и положено, отстаивались на долгосрочном ремонте.

– Не-е, на будущий год на даче обязательно свою отстроим, Аня, – с энтузиазмом заявил жене Крамов, одеваясь в прихожей.

Анна подала ему сумку, хмыкнула:

- Который год собираешься!
- И соберусь!.. Сколько можно!..
- Иди уж, строитель!

Пока Крамов добирался на автобусе до вокзала, мысли его крутились вокруг будущего строительства маленькой, уютной, как ему представлялось, и, главное, своей баньки. Все упиралось в материал. И достать его было трудно и ещё трудней выкроить из своей далеко не впечатляющей зарплаты необходимую сумму...

«Ладно, как-нибудь», – успокаивал сам себя, полагаясь на известное русское «авось».

Когда он вошёл в тамбур – предбанник, провонявший мыльным духом, с запотевшими, облезлыми стенами, там было человек десять – в самый раз, чтоб не очень утомиться ожиданием. На единственной скамейке у входа в раздевалку сидели двое старичков пенсионного возраста, пристроив на коленях свои сумки, из которых торчали веники. И лица их были такими же сморщенными и высохшими, как и листья на этих вениках. Остальной народ, подпирая стены, сидел на корточках.

Разговор в тамбуре уже достиг накала вежливого спора. И, конечно же, о политике. Как и при дебатах в Верховном Совете, среди жаждущих попариться уже наметилась определённая конфронтация. Явные сторонники президента – двое сорокалетних мужиков с тугими плечами, проглатывая наполовину матерки, сдерживали оппозиционные выпады давно уже никому и ничему не верящих пенсионеров.

– Да он ведь глаза вам разул, отцы! Вы газеты-то читаете, что там пишут? Голимую правду пишут, как всё было! И про Сталина, и про коррупцию!..

– Знаем, читали, – ворчали старички скрипучими голосами. – Всю жизнь эти партейцы только обещают, а сами жиреют на народе... Ить когда, к примеру, две бабёнки соперничают, выпендриваются перед мужиком, которого охомутать думают – они одна другую в дерьме так и топят, чтоб, значит, на евонтом-то фоне чище выглядеть...

Старички зафыркали смехом и это сразу немного разрядило обстановку. Мудрые стариканы как бы давали понять, что здесь всё-таки не съезд депутатов и не следует слишком уж горячиться: им силёнки ещё в парилке понадобятся – жар терпеть да веничками махать.

– Да мы всё понимаем, – миролюбиво пробасил один из тугоплечих. – Всю жизнь угрохать ради светлого будущего, так сказать... И к чему пришли, едрит твою!..

– Из всех кораблей самым мощным была «Аврора», – с шутовским глубокомыслием сказал молодой парень, примостившийся в углу на корточках, – один холостой выстрел – и семьдесят лет разрухи...

Очередь сдержанно похрюкала, настраиваясь на анекдоты, но тут из раздевалки с распаренными физиономиями вышли двое помывшихся, и народ сразу озабоченно зашевелился, пропихнув в двери свой авангард – старичков-пенсионеров.

– А всё-таки хочется верить, что победит в конце концов здравый смысл, – скромно произнёс интеллигентного вида мужчина. Он оказался самым первым у входа в раздевалку и ему тоже захотелось поговорить.

– Изобретали велосипед, а он оказался с квадратными колёсами, – изрёк какой-то мудрец из очереди.

– Уже про Маркса пишут, что ошибся он со своей теорией классов...

– Так правильно: диктатура она и есть диктатура, что военная, что пролетарская, один хрен...

«Ну и народ!» – усмехнулся про себя Крамов, – сплошные политологи кругом. Года два назад в таких очередях анекдоты травили да жаловались друг другу на начальство, а сейчас – какие мысли, какая подкованность!..».

Даже в парилке, куда он наконец-то добрался, с вождением окунувшись в удушающий сухой жар, не стихали общественно-политические страсти.

Голый, волосатый громила, потрясая мощными ягодицами и безжалостно истязая чьи-то расплывшиеся на лавке телеса, громогласно приговаривал:

– Сейчас, Коля, весь марксизм из тебя выблюю со сталинизмом в придачу! Кхе-к! К едрени фени, чтоб духу ихнего в тебе не осталось! Кхе-ек!

– Вылазит, Вася! Чую, вылазит! – задушевно бубнил лежащий, весь облепленный ошметьями мокрых листьев.

– А может, это похмелье из него вылазит? Дух больно вонючий! – спросил кто-то рядом.

– Да один чёрт! – весело оскалился громила, размахивая веником.

... Как удивительно чутко откликается душа на чистоту тела. Она сама будто очищается, легчает и радуется. И воздух на улице, когда он вздохнул его полной грудью, показался Крамову таким же свежим, как где-нибудь в вечернем саду за городом, хотя на улицах сновали машины, стреляя газами, и пыль кисейными вихрями врывалась на тротуары.

«Боже мой, – с какой-то блаженной тоской подумалось ему, – на что мы свою жизнь тратим? Всё какая-то рутинная суета ради сытого брюха и модных штанов. Глобальные проблемы пытаемся решить в случайных сходках, спорим до посинения об абстрактных вещах и не умеем, разучились тихо порадоваться вот этому солнышку, запутавшемуся в листве, летнему дождю, от которого сердито пузырятся лужи. Да просто тому, что живёшь, дышишь и видишь всё это!..»

Но неожиданный этот всплеск сладостного мироощущения так же быстро угас, как и возник в нём, пока Крамов добирался до автобусной остановки...

Потом Анна послала его в магазин и, томясь в этой, второй уже за день, очереди, весь во власти нарастающего раздражения от вынужденного томления, он чуть не поругался с соседом по очереди, который в завязавшемся разговоре начал ностальгически канючить:

– Придумали, понимаешь, эту перестройку вшивую. Как раньше-то спокойно жили: и в магазинах всё было, и злобы такой вот не было...

Крамов хмуро, в упор, оглядел говорившего, его сытое, дровяное лицо интеллигента первого поколения (отец его, наверное, днём чистил коровники, а вечером гонял затурканную жену за самогоном и, цедя его из мутного стакана, хвастался, как он лихо воевал немца), его мешком сидевший дорогой костюм, и обозлился:

– Это кто хорошо жил, ты, что ли? А старуха и убогие, которые и сейчас по деревням по-одиному в завалившихся халупах да на тридцатирублевую пенсию, они – хорошо?.. На чьих горбах твой «развитой социализм» строили? Они такой жизни заслужили?..

– Так я же не за них говорю! Я за себя говорю!.. – наиндючился «интеллигент», даже не понимая глупости ответа.

– А я за них! За... народ! – презрительно бросил Крамов.

– Да хватит вам, мужики! – вмешались стоящие вокруг женщины, которых было большинство в очереди. – Господи! Телевизор включишь – там про одну политику талдычат, в автобусах, в очередях, кругом!

– Сейчас как два мужика соберутся – считай, парламент!..

– С женой ночью тоже, поди, политические вопросы решаете или как? – совсем разошлась какая-то бойкая толстушка, лукаво стрельнув на Крамова голыми, без ресниц, глазами.

– А как же! – оттаивая, пошутил он, – это непременно! Пока она мне всю повестку дня очередной сессии не доложит – в постель не пущу!

Бабы брызнули смехом...

– Чего так долго? – спросила его Анна, видимо, по привычке.

– Будто сама не знаешь, какие очереди, – проворчал Крамов, скидывая обувь.

– Да уж!.. – озабоченно вздохнула жена и, стреляя по пяткам шлёпанцами, понесла сумку. – Умывайся и обедать! – донеслось с кухни.

Раздался звонок, и Крамов открыл дверь.

В соплях и слезах явилась с улицы Ленка, их девятилетняя дочка.

– Ты чего?

– А чё он, Колечкин противный, меня «перетройщицей» обзывает! А я отличница! Вот!

– Как? – уставился на неё обалдевший отец.

– Перетро-ой-щицей! – громко, обиженно и гнусаво пропела дочь.

Анна вышла с кухни и, фыркая от смеха, уволокла её мыться.

– Пошли, пошли, перетройщица!..

«Чёрт-те что!» – изумился про себя Крамов.

– Опять «мирмишель»? – спросил он шутливо, усаживаясь за обеденный стол.

– А что прикажешь делать, если нигде ничего нет?.. – потихоньку закипятилась Анна, – скоро и это деликатесом будет... картошка вон – семь рублей ведро!..

– Да я разве осуждаю?

– Каждый день башку ломаешь, где достать, чего варить!.. А они там только болтают, – продолжала она, увязнув в этом самом большом бабьем вопросе. – И все только обещают: «Мы накормим народ!» Да это кто, они, что ли, будут пахать или коров доить? Кормильцы!..

– Верно, Аня! – усмехнулся Крамов, орудуя ложкой. – Вот если бы их жёны каждый день пилили, а ещё лучше – на голодный паёк посадили, может, быстрее зашевелились бы?..

– У них там свой паёк, дай Бог! С голоду не расшевелишься!.. Чего копаешься! Ешь как следует! – прикрикнула она на дочь.

– Не хочу-у! – закапризничала Ленка, состроив гримасу. – У меня и так уже живот толстый!..

– Как это – не хочу! Я тебе дам не хочу! – совсем разошлась Анна, – одну газводу дуешь целый день, как верблюд какой!

– Да причём здесь верблюд? – вмешался Крамов (впрочем, подумалось ему, зачем требовать от женщины логики, когда она в таком состоянии).

– Ну, не хочет ребёнок! Зачем насильно-то пихать?

Ободрённая его поддержкой, дочь, выклянчив стакан молока, убежала на улицу.

– Ну что, на дачу завтра поедем? – спросила Анна, убирая посуду.

– Угу! – буркнул Крамов без всякой радости, зная, сколько там накопилось работы.

А всё ж делать-то надо, куда денешься!

Завалился на диван, полистал свежие газеты, полностью прочитав только одну статью известного экономиста.

«Раньше было проще, – мелькнуло мимолётно в голове, – газетам верили. И если в них писали, что это плохо, значит, верилось, что это было на самом деле плохо, если хорошо... А сейчас барахтаешься во всех этих аргументах противоречивых мнений. Радикалы, либералы... То тебя в кипяток сунут, то – ушат холодной воды выльют на голову...»

От газеты его оторвал звонок.

Явился Шурка Рыбаков.

– Вот, шёл из кино...

– Проходи, пропащий!.. Мог бы и почаще наведываться...

И они пошли на балкон курить под разговоры.

Рыбаков был его давнишним приятелем. Вместе росли, учились и всегда жили рядом. Но жизнь у него не совсем получилась, как считал Крамов, сравнивая со своей. Да и сам Шурка, как ни горько ему было в этом сознаться при его довольно-таки болезненном самолюбии, резюмировал так: «Моя жизнь состоит из больших неприятностей и маленьких радостей, на что-то среднее я не способен!..».

Два раза он поступал в институт, два раза бросал, работал в экспедициях, откуда его регулярно выгоняли за пьянку. Но вот уже год, как он «завязал», съездив куда-то на лечение. За этот год в нём произошли серьёзные перемены, словно он, проснувшись после кошмарного сна, заново всматривался в окружающий мир и видел его и себя в нём совсем по-другому, не как раньше.

И Крамов был рад за друга, чувствуя, как тот всё дальше отходит от своего пьяного прошлого, потому что ценил его за острый и цепкий ум и ещё за какую-то интеллигентность, которую даже водка в нём не смогла растворить. И вообще, Крамов считал – если бы не пьянство, то с его умом можно было многого добиться.

Внизу, под балконом, шумел ребячней тесный, заставленный гаражами, двор, прикрытый буйной зеленью, и всё было покойно и обычно.

Рыбаков рассказал сюжет фильма, который, видимо, потряс его чудовищной своей правдой...

– Ты понимаешь, Лёша, если такое могло быть в нашей стране, если такое у нас возможно, – говорил Рыбаков, нервно, часто затягиваясь, – то какого чёрта по списочкам реабилитируют? Там сразу осудили всю систему, которая убила те миллионы и этим автоматически реабилитировались все

её жертвы... Она не могла не убить, потому что на это запрограммирована... А наша тоже перемолола в лагерях, споила и выжила за границу цвет нации, потому что иначе и не могло быть, иначе она просто не работала бы.

– Но ведь сталинщину осудили!

– Условно. В процессе... Но самое страшное знаешь что? Она наплодила совершенно новый тип человека – «гомо советикус» – безынициативного, привыкшего жить на подачках государства, бездуховного, погрязшего в мате, разврате, в грязи и разгильдяйстве. И с этим народом строить новое общество?..

Крамов курил, облокотившись на перила, кивал, соглашаясь, пока его не начал раздражать в словах Рыбакова полнейший нигилизм.

– Да ты чего, старик? – перебил он его, – нельзя же никому и ни во что не верить? Критикуй, пожалуйста! Но в любой критике должно же быть какое-то рациональное зерно? Иначе, к чему весь этот переполох?

– А ты видишь его? – еле усмехнулся Рыбаков жёсткими губами.

– Ну, хотя бы... здравый смысл... И потом, не может не выжить целая страна в окружении цивилизованного мира.

– Здравый смысл... Это, значит, рассуждать здраво, так я понимаю? И предстоит сие нашим парламентариям и советам, верно?

– Ну да! – дёрнул Крамов плечами, – выбирали же достойных...

– Если не говорить о Сахарове, – Рыбаков ёщелкнул окурком, и тот, описав крутую траекторию, пропал в листве. – Толстой писал: «Чтоб выбрать мудрых и святых, самим надо быть мудрыми и святыми, а если все мудрые и святые, какой смысл выбирать и управлять?».

– Ну, подожди! – нетерпеливо хлопнул Крамов ладонью по перилам, – не будешь же ты утверждать, что кто-то найдёт один верный ход и сразу – раз! – здравствуй, счастливая жизнь!.. И колбасы в магазинах навалом и «панасоники» кругом ревут и у всех кругом глаза квадратные от избытка духовности!..

– Не считай меня идиотом! – возмутился Рыбаков. – Я знаю только, что мы до этого времени не доживём и вижу то, что вижу... А вижу я бестолковую жизнь и одну говорильню... Я знаю, что тот алкаш, что радуется сегодня с бою взятой бутылке, так и сдохнет алкашом, не сожалея о том, что мог бы прожить иначе, потому что просто не знал, как иначе... Я знаю, что те семнадцатилетние балбесы, которые презирают работу, потому что видят, как плохо работают взрослые, которые видят в женщинах только самок для своих животных утех, потому что наша жизнь не научила их ничему возвышенному, они – не строители, они – разрушители...

– Ах, ах! Как мрачно! – сплюнул Крамов.

– А ты, я вижу, оптимист, – ехидно поддел его Рыбаков.

Они помолчали, недовольные друг другом. Но сейчас, на обломках конформизма, каждый из них понимал, что, как и в них, это брожение сознания происходит в миллионах вокруг и как не хочется тебе сплошного единомыслия, его не будет, как не будет никогда больше стадного подчинения каким-то директивным идеям, кроме одной – человек должен быть счастлив на этой земле...

– У тебя корни есть: семья, дом, – заговорил Рыбаков неровным голосом, – и все эти проблемы для тебя... ну, вторичны, что ли... Я же всё растерял и ... как голый сейчас перед всем этим...

– Бабу тебе хорошую надо, вот что! – обнял и потрянул его за плечо Крамов. – И сразу половина проблем твоих решится, а на другую половину ты уже будешь смотреть чуть-чуть свысока! Верно я говорю?

Рыбаков кисло усмехнулся и уронил голову меж угловатых плеч, вроде соглашаясь...

Они знали друг друга уже много лет и между собой всегда были откровенны до конца. Человеку обязательно надо кому-то высказаться, поделиться главным, от чего зависит его душевный настрой. И воспитаны они были одинаково на тех идеалах, на тех человеческих ценностях, которые теперь не то что обесценились, но оказались вдруг тем фиговым листком, прикрывавшим ложь, лицемерие и духовную растленность того мира, иллюзорной беспроблемности, который их окружал. И так омерзительно было узнать об этом, как если бы примерному ученику неопровержимо доказали, что любимый учитель дурак, самозванец, лгун и развратник, и не далее, как вчера, после своей лекции о нравственности он изнасиловал ребенка.

Было обидно за себя, за то, что лучшую часть своей жизни промяукали слепыми котятками, марионетками, оболваненные сплошной идеологической ритуальностью. А правда о жизни, о прошлом – это много, это очень много для человека. Это – фундамент, на котором строится его мировоззрение и, в конце концов, судьба.

Ну, конечно, не такими уж они были слепыми. Жизнь иногда подбрасывала такие штучки, которые заставляли жестоко сомневаться в том, что всё вокруг устроено наилучшим образом, как их уверяли...

Сейчас они были уже в том возрасте, на том переломе сознания, когда такая вот вынужденная извне перемена мировосприятия заставляет человека сознательно сделать выбор: или принять зло и, руководствуясь им, плодить его ещё больше, злорадствуя и уповая на вседозволенность, или же, сохранив трезвый рассудок и объективность суждений, искать в самом себе истоки рабства, истоки жертвенности своего «я» ради каких-то эфемерных общественных ценностей, чтоб понять, наконец, что твоя жизнь и есть та величайшая ценность, которую надо отдать неумолимому течению времени как можно дороже для себя и как можно торжественней для других. И в конце концов, достойно протраться через весь этот не истлевший хлам прошлого.

– Знаешь, Шура! – с какой-то веселинкой в голосе сказал Крамов, – может, я действительно такой уж отпетый, как ты думаешь, оптимист, но я почему-то уверен, что моя Ленка будет женой какого-нибудь преуспевающего менеджера, а мой внук откроет собственную фирму.

Рыбаков покачал головой, улыбаясь.

– Далеко смотришь!.. Но это же не всё! Надо, чтоб люди не только брюхом думали! Хамство не искоренишь сытостью, а духовность не поднимешь одним лишь ростом производства. Не-ет! – Душа... – это самое главное...

Он задёргался, меняя позы и отвернувшись, словно застыдился этих высокопарных слов, но, видимо, обыкновенные слова были слишком невыразительны, чтобы передать те чувства, которые он испытывал.

– Уважение к человеку, друг к другу!.. это – не просто место уступить в автобусе! Это – чувствовать его чувствами и больше прощать! Только самоубийцы не могут оправдать и простить, а мы же в своих каких-то нечестных поступках всегда найдём для себя оправдание и не хотим это же искать для других...

– Ты уже в толстовщину въехал... – перебил его Крамов.

– А что?.. – начал, было, Рыбаков азартно...

– Ну, закурились, наверное, начисто, мужики!.. – выглянула на балкон Анна, и они оба удивленно оглянулись на неё, – идите на кухню, мне бельё надо развешивать.

Анна, озабоченная своими постирушками, в коротком халатике, не скрывавшем отточенности её почти девичьей фигуры, вся такая домашняя, пахнущая мылом и свежим бельём, враз разрушила всё их напряжение мыслей и вернула в реальный мир.

– Ну, ладно, пойду я! – скучным голосом сказал Рыбаков, и они вяло пожали друг другу руки, прощаясь.

Вечером Крамов из-за какого-то пустяка поругался с Анной, накричал на капризничавшую Ленку и долго не мог уснуть, ворочаясь и путаясь в своих всклокоченных мыслях. Но сосредоточенная тишина ночи с её отвлечённостью от мелочной суеты постепенно отсеяла наносную муть, и мысли его обрели вдруг и глубину и определённость.

«Да чёрт возьми, да кто я такой, чтоб радеть за всё человечество? Правильно Шурка сказал... Это ли мне не счастье – любимая жена рядом, дочь... Это и есть моё человечество, о котором я в первую очередь должен думать и радеть... Маленькое моё человечество! Моя вера, мой алтарь!.. Если всё самое лучшее, что в вас есть, мы отдадим нашим детям: и совесть, и милосердие, и веру в добро, чего не сделает по-настоящему никто и ничто в этом мире, кроме отца с матерью, – это и будет достойной ценой жизни, залогом будущего лучшего мира, и, наконец, по большому счёту – тем исполнением долга не только перед самим собой, но и перед теми, кто не смог этого сделать не по своей вине.

И пусть хоть камни падают с неба – ты должен это сделать и сделать как можно лучше – иначе ничего не надо, иначе всё бессмысленно!

Успокоенный этими мыслями, принявшими такое ясное обличье, он повернулся к спящей жене, осторожно обнял её и, уткнувшись лицом в цветочно пахнущие её волосы, быстро уснул...

Рано утром он с Анной и с дочерью стояли на остановке, ожидая дачного автобуса. Крамов шутил и был очень предупредителен и ласков к жене. Анна только посмеивалась, решив, что он просто подлизывается к ней, стыдясь вчерашней ссоры.

– Привет, Лёша! – подошёл к ним сосед по даче, сгибаясь под тяжестью рюкзака.

– Да скинь ты его, ещё минут десять ждать!..

Они закурили.

– Вчера не смотрел сессию?

– Да ну её... – сплюнул Крамов, поглядывая на дорогу.

– Ты знаешь, один там выступил, генерал, ну, прямо, закоренелый сталинист. Отстрелялся, как на брежневских съездах, понимаешь!

– Это как же? – заинтересованно спросил Крамов, повернувшись к говорившему...

Наталья БОРОДКИНА

Гончар

Скажи, какую мыслью влеком,
В сосуд ты превращаешь глины ком?
Вдыхая жизнь в безжизненную плоть,
Как это делал некогда Господь?
Вращаешь круг гончарный не спеша
И вот уже затеплилась душа
В твоём сосуде дивной красоты
Великий Труд не терпит суеты.
Тебе чужды пустые разговоры.
Труд и молитва. «Ora at labora»^{*}
Тебе ещё не ведомо пока –
Творенья мастера живут века.
Уйдут за поколеньем поколенья,
Твоих шедевров не коснётся тленья.
Их бережно потомки извлекут,
Благословляя твой бессмертный труд.
И восхищённый трепет их сердец –
Творениям твоим – живой венец.
Нет в Вечности начала и конца,
И Истина живёт...в руках Творца.

Там, где легко и светло...

Растворится ночь в синеве ясноглазого утра,
И у теней ночных нет ни шанса – их время ушло.
Этой ночью во сне я была удивительно мудрой,
И летала душа в тех мирах, где легко и светло.
Где Вселенная спит на руках милосердного Бога,
Где у каждой души есть свой вечный единственный дом,
И куда мы уйдём отдохнуть перед новой дорогой,
И куда мы вернёмся...обратно...когда-то...потом...

Ночь на даче

Луна мерцает между тучами, И в колдовской ночной тиши Парит неслышно мышь летучая, Бросая тень на камыши. Туман лохмотьями слоистыми Трясёт – неспешен и суров, И озерцо с глазами чистыми – Как зеркало меж двух миров. Такой манящий и таинственный Мир горний смотрит с высоты,	Как соловей поёт неистовый, Как нежно к травам льнут цветы, Как брезжит из окна полночного Настольной лампы робкий свет, Как пленник часа неурочного Над рифмой трудится поэт. И невдомёк ему – беспечному Что здесь, средь звона комаров, Как никогда он близок к Вечному На тонкой грани двух миров.
---	---

^{*} «Ora at labora» – молись и трудись (*лат.*) – девиз святого Бенедикта Нурсийского, который в 529 г. Основал монашеский орден бенедиктинцев.

Иерусалим

А, в общем, я нигде и не была...
Всё как-то мимо, мимо, мимо, мимо.
Расправить бы два белые крыла
И полететь к стенам Иерусалима.
Бродить по древним улочкам кривым,
И чувствовать пронзительно, всей кожей,
Каким Он был – не сказочным – живым,
И потому ещё, ещё дороже.
Вбирать ступнёй тяжёлый жар камней,
Что помнят ног Его прикосновенье,
И чувствовать, чем дальше, тем сильней
Безжалостной Голгофы приближенье.
За шагом шаг и – сердце на разрыв,
И мечется душа в безмолвном крике,
Как будто слышу горестный призыв,
Как будто вижу свет в печальном лице.
Стенания и выкрики толпы
Забывать мечтают каменные стены,
Но нет спасенья, глухи и слепы
Невольные свидетели измены.
Его священной кровью прожжена
Земля насквозь у страшного распятия,
И в море слёз нет берега и дна,
И в месиве толпы – враги и братья.
Провалы искажённых злобой ртов
В чудовищной, безликой круговерти,
И смешан с диким запахом цветов
Безумный, тошнотворный запах смерти.
Наполнен воздух гибельным метаньем
Слепой толпы, ревущей словно зверь,
Известным лишь Ему предначертаньем
Свершился день – он в Вечности теперь.
Я рухну, разбивая в кровь колени,
О, как же эта истина проста!
Мы – люди, совершая преступленья,
Вновь распинаем нашего Христа!
И наши торопливые молитвы,
И весь красивый наш самообман –
Ничто на бесконечном поле битвы
Добра со злом – иллюзия, туман.
А нам пора бы крикнуть что есть мочи,
Неистово и страшно голосить,
Пока душа ещё спасенья хочет:
«Спаси нас, Боже! Господи, спаси!
Спаси от бедствий, нами сотворённых,
От мести мёртвых, подлости живых,
От дней без цели и без смысла проведённых,
А, главное, спаси... от нас самих...»

Нас нет с тобой нигде

Так тихо потому, что улетели птицы.
Так грустно потому, что не сбылись мечты.
Чуть теплится любовь, и по ночам не спится.
И самым дорогим мне стал, увы, не ты.
И в дымном сентябре, где жгут сухие травы,
И в сумрачном саду забытая скамья,
Нет смысла вспоминать, как были мы неправы,
Ведь в этом сентябре с тобой, увы, не я.
И там, где запах волн пронзительный и едкий
Слит с запахами роз и зреющей айвы,
Где тучные плоды к земле склоняют ветки,
И там не мы с тобой. Не мы с тобой, увы.
И где заросший пруд свои кувшинки прячет,
Скрывая омуты в таинственной воде,
И ива, наклонясь, уже привычно плачет,
И там – не мы с тобой. Нас нет с тобой. Нигде...

Старик

По лужам искристым малыш босоногий скакал – так приятно смотреть,
А в парке сидел на скамье одноногий старик и хотел умереть.
Из глаз его тусклых смотрела печально усталость от прожитых лет,
А плечи дрожали и будто кричали: «Нет счастья и радости нет!»
А солнце? А лето? А дождик весёлый? А струи, текущие с крыш?
А пары в обнимку? А визг возле школы? А этот счастливый малыш?
А крик воробьиный? А цвет изумрудный до блеска промытой листвы?
А чистое небо, бездонней, чем море, в святом торжестве синевы?
Неужто не может согбенная старость почувствовать счастье других?
Неужто ей только одно и осталось – сидеть на руинах своих?
Неужто брюзжанье и взгляд исподлобья прибавит здоровья и сил?
Ведь был же он счастлив, ведь был же он молод, ведь был он любим и любил.
Он многое видел – всего и не вспомнишь за долгую-долгую жизнь.
Судьба его была нещадно, наотмашь, безжалостно, только держись,
Под этой своей неподъёмною ношей он сгорбился, сжался и сник.
Хоть ты ничего в этой жизни не понял, храни тебя Боже, старик!

Вокзальный бомж

Вокзальный бомж помятый и небритый	Давно он здесь... У старого вокзала От старого бомжа секретов нет.
На стульях в уголочке прикорнул.	Вон там вахтёрша знаком показала –
Настороже. Глаза полуоткрыты.	Бесплатно пустит в платный туалет.
И не поймёшь – хитрит или уснул.	Буфетчица вокзального буфета
Охранник подойдёт неумолимый	Подсунет пару чёрствых пирожков.
Заставит встать, ему же всё равно.	Кивком «Спасибо» скажет ей за это,
А поезда мелькают мимо, мимо,	Попьёт чайку, вздохнёт, и –
Как кадры надоевшего кино.	был таков.
Покорно встанет – спорить бесполезно.	Он что-то в жизни изменить не в силах.
И, взяв свою котомочку, уйдёт.	Вот и живёт, как может, без затей.
И захочет скрежетом железным	Ах, матушка жестокая, Россия,
Вокзал, где он уж столько лет живёт.	Что ж так не любишь ты своих детей?

Диоген и Аристипп*

Чудак, мудрец, философ, маргинал
Решил однажды в бочке поселиться.
Из бочки глиняной порою вылезал,
Чтоб мудростью с народом поделиться.
Был славный Диоген большой аскет
Неприхотлив и беден был к тому же
Похлёбка с чечевицей на обед,
Да чёрствый хлеб – вот всё, что было нужно.
Свет мудрости его звездой сиял,
В народе почитаем без сомненья,
Но оды он царям не сочинял,
И не стяжал богатого имения.
Совсем другое дело – Аристипп...
Награды получал и был обласкан
В искусстве лести он вершин достиг -
Хвалебных од непревзойдённый мастер.
Богатый дом, подаренный царём,
Был полон слуг покорных, раболепных
И повар иноземный был при нём –
Творец умелый блюд великолепных.
И как-то, мимо бочки проезжая,
Где Диоген готовил чечевицу,
Тот Аристипп, собрата уважая,
Решил своим секретом поделиться:
«Я дам тебе совет, мой дорогой,
Не буду платы за него просить,
Не жить чтоб чечевице одной,
Ты научись царя превозносить!»
На что ответил Диоген, смеясь:
«А ты сумеешь похлёбкой сытым быть.
Свободным быть и бедным не боясь,
Не нужно и царя превозносить!»
Мораль проста: хоть и века промчались,
Мы, люди, всё такими же остались
Не хочешь лишь похлёбкою питаться,
Так будь готов пониже прогибаться!

* Диоген – древнегреческий философ, основатель школы киников 412 век до н.э.
Аристипп – ученик и друг Сократа.

Даниил СИЗОВ

Тюмень

Ни стук хлопушки по ковру
(Морозным вечером столь ясный,
Что этот звук не по нутру,
Как будто жизнь прошла напрасно),

Ни шум мотора во дворе
Хрущевки чьей-то новой тачки
(К познанию мира детворе
Привычно-жалкие подачки)

Не отличают город мой
От тысячи таких же рыхлых-
Идешь ли с «Маяка» домой
Или же дома тянешь мысли

О том, что это место – дно,
Где просто весь рельеф знакомый,
Твой мозг и «микраши» – одно,
А «Оборона» – икс искомый.

Вид Зареки: простор саднит,
Как будто там – за окоемом
Откроется чудесный вид,
Где воспаришь освобожденный

Из этих уличных сетей-
Хорош для старта «мост влюбленных» –
И монастырских голубей
Сопровожденье, удивленных.

* * *

На живую нитку шитые
Пораскинулись кварталы,
Мостовыми перевитые
По случайному лекалу.

Но шнуровкой переулочной
Ты здесь накрепко обвязан,
Местоположенью булочной
До конца времен обязан.

Слуховых окошек мороки
Выпускают птиц на волю,
Схватит ветер крепко под руки
И толкает в чисто поле.

И сопротивленья ярого
Бесполезны трепыхания –
Поведешь локтем и карюю
Станет улицы зияние.

Военные письма

Фонарь потемки разогнал – В углу чердачном – писем связка, Бог мой! Ведь это дед писал, Что в госпитале жмет повязка.	Дед не вернулся с той войны, Но он был здесь, был голос ясен – От Вислы до родной Шексны Воздушный путь был безопасен.
И дата – сорок пятый год, Я сутки разбирал посланья О том, как в первый шли поход До слов последних «до свиданья!»	Никто его не прерывал, И я молчал, убив сомненье, Что тот, кто эту дверь вставлял – Имеет право на вхождение.

Волшебница

На визитке стояло: «волшебница»,
Я подумал – не стоит звонить,
Всех услужливых духов наперсница,
Чем ты сможешь меня удивить?

Удавить разве что своей магией
По дороге в предвечную тьму,
Даже Голема вызвать из Праги ей
Обязательства я не возьму...

* * *

А.Г.

И боль была: билеты в театр Так и остались на столе, Смешны душевные затраты, Когда один ты на Земле.	Полета гибельны попытки, Когда один ты на Земле.
Убоги майские закаты – Как будто угольки в золе, Слепое солнце виновато, Когда один ты на Земле.	Меняешь дни, меняешь страны, Но хронотоп твой – на нуле, Не точка даже, прочерк странный – Когда один ты на Земле.
Обманчивы ночные тени – Весь город призрачным желе Дрожит в то самое мгновенье, Когда один ты на Земле.	Тревоги, радости, волненья – Дождя разводы на стекле, Стекают без всякого значенья, Когда один ты на Земле.
Воздушным шариком без нитки Несешься в предрассветной мгле –	Готовишься в поход за счастьем На межпланетном корабле, Но, дорогая, так прекрасно, Когда нас двое на Земле...

* * *

Осколок великих мечтаний,
Нарост на гигантском грибе,
Могила разбросанных знаний,
Под вечер иду я к тебе.

Но что за беда-чай ты вносишь,
А я продолжаю вещать,
Ты робко о чем-нибудь спросишь,
Я ловко сумею сказать

Триада из лени, бахвальства
И смутных обрывочных снов,
Я с легкою долей нахальства
Шагнуть за порог твой готов.

О страшной петле в «Англетере»,
О Маяковском и Брик,
О том, что воздастся по вере,
А вечность похожа на миг.

Черешнею пахнет дерюга
В прихожей стесненной твоей,
Я боком вхожу, как ворюга,
И лить начинаю елей

Что женщины? Наши закаты,
Все то, что постиг ты – умрет,
Пока она скукой объята,
Тебя и сабли не спасет.

О средневековом тевтонстве,
О Кафке, о Прусте с Дали
И в этом лихом пустозвонстве
Мне так не хватает сабли.

Что женщины? Наши восходы –
Забудешь нелепость свою,
Полюбишь законы природы,
Как женщина глупость твою.

* * *

Тех чудных вывесок обрывки и осколки
Лежат на трансцендентной барахолке –
Ненужная космическая мгла
Когда-то моей азбукой была.

Я угнетен масштабностью потери,
Похоже, заколочены те двери,
Стучишься – только мертвый гул в ответ,
Как в доме Ашеров – из окон странный свет,

Зажженный кем? Не ведаю, не знаю,
Но постепенно на фасаде различаю
То счастье, отчего чуть не ослеп:
«Больница», «Книги», «Кинотеатр», «Хлеб».

* * *

Был наперсточек мал, да дорог,
Завладел им лукавый ворог,
Оградил себя от напасти –
От укола смертельной страсти.

Ну а я вот стою уязвленный,
Безнадежно-нелепо влюбленный...

Музыка

Там – укулеле звуки, там – жалейки,
Мы поливаем мир из этой лейки
В надежде – музыка и в яме прорастет,
Тугим плющом всю душу оплетет.

И вот готов гамак-батут-кроватька,
В котором так раскачиваться сладко,
А иногда – взлетишь под небеса! –
Потом – на землю, божья ты роса,

Не испарись! Побудь еще немного,
Пусть даль темна и слякотна дорога,
Тоскливых мелочей глухой реестр –
Ферматы паузы, пока звучит оркестр.

Воспоминание о Петербурге

Вот – мансарда, облуплены стены, За дверьми – упоительный тлен, На мольберте – пейзаж неизменный, На виниле – «Мы ждем перемен!»	Сделав крюк через арку – на Крюков, ...Дом Веге и Никольский собор.. Кроме плеска канала – ни звука, Вдоль ограды – сырой коридор.
---	---

Переломаны старые коды, Вход в парадную – настезь давно, На осколочках летней свободы Пьем забвенья сухое вино.	Белой ночью дойдем до Шпалерной, До квартиры, где Мусоргский жил, Пил безмерно, работал безмерно, Годунову бессмертье дарил,
--	---

Измусоленных крыш вереницы – Как листы из любимейших книг, Разлетелись по ветру страницы – Трехсотлетний предсмертный дневник.	Как и Пушкин... Вернемся вдоль Мойки, Арендованный дом стал родным Для него и для сонма потомков – Здесь и вьется Отечества дым!
--	--

* * *

На платанах заветно-памятных
Жилки листьев, как письма –
Тверже древних табличек каменных,
Глубже моря, сильнее зерна.

Так вот схимник, в гробу ночующий,
Исполняет свой рок-н-ролл
Стуком сердца, даров взыскующий –
Он хотя бы себя обрел.

А дары – все, что с ними связано –
Бог, катарсис, духовный плен –
Это будет потом рассказано
Вне молчания этих стен.

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Наталья СЕЗЕВА

ПОРТРЕТ ГОРОДА. ЛИЦО-ЛИК-ОБРАЗ-СИМВОЛ.

Г. Токарев. Ю. Рыбьяков. А. Новик. Ю. Юдин

430-летнему юбилею Тюмени посвящается

Статья посвящена творчеству художников Тюмени, начинавших свой путь в профессиональном искусстве в начале 70-х годов. На протяжении нескольких десятилетий тема города становится постоянным источником творческого вдохновения этих художников, эмблемой их поэтики.

Неожиданной, разноликой и даже фантастической предстает Тюмень в живописных и графических произведениях художников Геннадия Токарева и Юрия Юдина, Александра Новика и Юрия Рыбьякова.

Геннадий Токарев (1939-1995) утвердил себя как художник со своим индивидуальным почерком в конце 60- начале 70-х годов. В этот же период он впервые обратился к теме города, продолжив традиции, начатые его предшественниками – А. Митинским, В. Барашевым, А. Мурычевым, у которых он многому научился.

Пожалуй, особенно пронзительно эта тема зазвучала в многочисленных городских пейзажах, написанных художником в 80-е годы – последнее десятилетие жизни. В этот период серию работ Г. Токарев посвятил «портрету» дома. «Меланхолия», «У оврага» (обе – 1982), «Последняя весна» (1985). В каждом из этих произведений художник использует единое композиционное решение: главное действующее «лицо» «солирует», занимая большую часть холста. Сам дом становится почти живым существом, наделенным своей биографией, своим характером, своей судьбой. Являясь как бы частью окружающего пейзажа: земли, пасмурного, почти всегда облачного неба, деревьев, в то же время эти памятники прошлых столетий противостоят пространству и времени. Замкнутые, одиноко доживающие свой век, светящиеся внутренним светом, они хранят тайну, загадку.

В одной из статей М. Цветаева писала: «...Есть дома, которые живут. Сами. Вне людей. Стенами, ступенями, тупиками, выступами, закоулками, стуками, шагами, тенями, - всем, кроме человека. Дома, где «водится» (все, кроме человека). Дома, «обитаемые» и, тем не менее, необитаемые. Дома, столь сильно жившие, что просто живут дальше. Как книга, уже не нуждающаяся ни в авторе, ни в читателе. Источник жизни, хранилище жизни, но уже не игралище ее. Дом, вышедший из игры»

[Цветаева 1988: 35].

Пейзажи Г. Токарева написаны широко и свободно, в сложной тонально-цветовой гамме: серебристо-серой, охристо-коричневой, со всполохами лилово-сиреневого («Последняя весна») или насыщенно-красного («У оврага»).

Однако язык искусства Г. Токарева с годами трансформируется: от тонкой светло-теневого лепки формы он идет к сильной, звучной цветописии. Меняется не только стилистика работ, но и сам подход к решению темы города. От элегических по настроению пейзажей, со звучащей в них тревожной ноткой по уходящему облику города художник переходит в начале 90-х годов к созданию символично-обобщенного его «портрета».

«Набат» – так названо одно из последних монументальных произведений Г. Токарева. Тревожно, торжественно, набатно «звучит» картина. В центре композиции – красная звонница с гудящими колоколами в окружении фрагментов русских каменных церквей, неудержимо устремляющихся куполами ввысь. В поисках большей образности художник обращается к традициям иконописи. Условно пространство картины. Плоскостно и обобщенно трактуются формы сибирских храмов. Цвет локален, без тоновых растяжек, строится на контрастном сочетании красного и белого с введением золотого, зеленого и голубого. Символично само название картины. По русскому обычаю били в набат, звонили в колокол в случае близкой опасности. Картина воспринимается как тревожный набат, призывающий к сохранению памятников архитектуры Тюмени, этих живых свидетелей истории.

Тема города проходит через все творчество Юрия Юдина. Объяснение такого тематического постоянства кроется, прежде всего, в своеобразии его поэтической личности. Художник обладает долгой эмоциональной памятью. Его детские годы прошли в одном из старинных живописных уголков Тюмени – у реки на тихих и уютных прибрежных улочках: Пароходской, Пристанской, Причальной, Водников, с их одно- и двухэтажными домами, окруженными густыми купами деревьев. Колорит этого уголка Тюмени с его размеренным ритмом, особыми звуками и запахами навсегда останется в памяти художника, чтобы спустя десятилетия вспыхнуть с новой остротой.

Город детства – такова главная тема ранних живописных работ и серии поздних монотипий Ю. Юдина. Но вначале были годы занятий в Тюменской изостудии у И. Некрасова, учебы в Свердловском художественном училище (1967–1971), а позднее – долгий и сейчас еще не прекратившийся период самообразования – изучение русского и западноевропейского классического наследия. Французская живопись конца XIX – начала XX века, русские «сезанисты», фантастические пейзажи итальянского художника XVIII века Ф. Гварди, пространственные опыты К. Петрова-Водкина – вот источники, которые не на прямую, а опосредованно читаются в живописных пейзажах художника середины 70-х годов, объединенных им в серию «Старый город». В этот период Тюмень стремительно меняла свое лицо, сносились целые кварталы старого города. Это послужило толчком для того, чтобы ожили детские воспоминания.

«По знакомым местам ходил, где детство прошло. Дома, улочки интересные искал, связанные с детством, ощущения знакомые», – вспоминает художник. Картины Юдина тех лет носят как бы «историческо-ландшафтный» характер; они «портретны» и узнаваемы. Созданию каждого пейзажа предшествовала работа на натуре: тщательно выбирался понравившийся и наиболее характерный мотив, делался подробный рисунок, который уже в мастерской слегка перекомпоновывался, дорабатывался и ложился в основу будущей картины.

Особой поэтичностью и тонкостью письма выделяется пейзаж «Старый город. За рекой» (1978), изображающий заречную часть города с тесно

обступившему Вознесенскую церковь XVIII века небольшими деревянными покосившимися прибрежными домиками. Ю. Юдин пишет пейзаж с противоположного берега Туры, с высокой точки, отчего он приобретает панорамный характер. Внимательно, с любовью художник тонкими лесировочными мазками серебристо-серого цвета передает заброшенные дома, зияющие пустотой окон, живописную фактуру облупившихся стен церкви, деревья и кустарники в осеннем наряде, пасмурное небо в облаках, отражающееся в зеркале воды. Пейзаж исполнен покоя и печали, чарующей гармонии увядания. Все формы предметов словно окутаны дымкой, истаивают и растворяются в пространстве картины. Этому впечатлению способствует единая тональная цветовая гамма, построенная на сочетании серебристо-серого, охристо-розового и зеленоватого тонов.

С начала 80-х годов Ю. Юдин начинает работать над графической серией «Старая Тюмень». Город детства оживает в его монотипиях – «Мальчик и змей» и «Август. Старый город» (обе – 1982). Вибрация и некоторая шероховатость красочной поверхности листа бумаги, размытость контуров рожают ощущение зыбкости, изменчивости изображенного. Тюмень увидена как бы сквозь призму времени, глазами подростка. Эти листы буквально пронизаны чувством исповедальности, они во многом биографичны.

В поздних монотипиях Ю. Юдина Тюмень предстает в разных ликах – город как фантазия, город как воспоминание, город как дом. Она как бы дает художнику повод для размышлений на сложные философские темы человеческого бытия: добра и зла, жизни и смерти, молодости и старости...

Ассоциативность, метафоричность отличают работы 80-90-х годов. Цвет, линия, пятно, силуэт, фактура – весь спектр изобразительных средств Юдин использует, чтобы заполнить условное пространство листа. Небо и земля, божественное и земное не разделены, и то и другое переведено в общий, несколько «сказочный», «фантазийный» план. Художник стремится изобразить пространственно единую и единую временную среду. Ангелы-хранители, горящие и негорящие деревья, летающие дома, светящиеся лики старцев, детское лицо... – эти знаки, как навязчивые видения, грезы наяву, присутствуют во многих его графических листах. Нужно заметить также, что у художника сложился определенный тип композиции с изображением в нижней центральной части листа лица подростка, как бы увенчанного домом, каких много еще можно увидеть в старом районе Тюмени.

По работам Ю. Юдина можно долго зрительно «путешествовать», не уставая, открывая все новые подробности.

В городских пейзажах тюменского художника Александра Новика конца 1970-х – начала 1980-х годов остро ощущается некоторая протяженность времени, в пределах которого зритель как бы повторяет путь, пройденный художником от природы к ее переживанию и от него – к изображению.

Для Новика какой-либо городской мотив служит импульсом, чтобы оживили детские воспоминания, ощущения. Художник редко пишет с природы, ограничиваясь лишь небольшими набросками, а потом уже на их основе в мастерской создает картину, опираясь более всего на мысленный образ. Недосказанность, некоторая таинственность пронизывает его пейзажи. Несмотря на достаточно условное пространство холста, безошибочно можно узнать изображенные художником предметы – Вознесенская церковь, построенная в XVIII веке в Заречье, где прошло его детство, старый дом, Парфеновская кладбищенская церковь.... И все же истинная реальность картины не в них, а в особой осязательности душевных состояний, движе-

ний, настроений. Непознанное до конца духовное пространство картины как бы втягивает нас в себя. Все здесь – цвет, фактура и динамика мазка, игра света и тени – служит тому, чтобы максимально приблизить зрителя к картине, создать определенное эмоциональное и цветовое ощущение города.

Свой «портрет» города создает в серии графических и живописных работ сибиряк Юрий Рыбьяков. Начиная с 1960-х годов, художник с любовью пишет убегающие вдаль улочки Тюмени, не парадные, но очень характерные и выразительные ее переулки и перекрестки, уютные, ничем не примечательные домики старого города. Одной из характерных особенностей Рыбьякова-пейзажиста является острота мгновенного восприятия окружающего. Художника занимает передача собственных впечатлений от увиденного, стремление создать на холсте и листе бумаги общее эмоциональное и живописное состояние понравившегося ему мотива. Не случайно свои многочисленные этюды, акварели, гуаши он создает непосредственно с натуры, на одном дыхании, в технике «алла-прима». Эта всепоглощающая и взволнованная влюбленность в природу полнее всего сказалась в серии гуашей, отмеченных богатством и насыщенностью тона, бархатистостью поверхности листа – «Майский день», «Серебристый день» (обе – 1980), «Осень в Тюмени», «Весной» (обе – 1982). Городские виды художника, кажущиеся такими простыми, непритязательными, вызывают какое-то щемящее предощущение близости тайны и невозможности в нее проникнуть. Часто в центре графических листов он изображает улицу, окаймленную фасадами домов. Улица или уходит вверх, или сбегает вниз, или заворачивает за угол, и взгляд вслед за художником то внезапно останавливается, то совершает длительное «путешествие» вглубь пространства листа. Городские пейзажи часто безлюдные, пустынные, иногда оживлены миниатюрными фигурками людей, что придает им особую интимность и камерность.

Ю. Рыбьяков всегда стремится к слитности городских улиц и домов с природой. Поэтому часто город воспринимается художником через сложную вязь стволов деревьев, графический узор из ветвей, сплетающихся в своеобразный ковер. Деревья, стоящие на переднем плане или фланкирующие композицию, «держат» не только «каркас», но и цвет, который во многом определяет и эмоциональную выразительность, и всю поэтику работ художника. Главную роль играет оттенок неба, чаще всего дождливого, пасмурного. Не случайно художник использует серый, серебристый, палевый, пепельный цвет, который точно передает колорит «портрета» старого города.

Работы Ю. Рыбакова, посвященные Тюмени, обладают некой настойчивой притягательностью, горько-нежным очарованием.

Сегодня, столетия спустя с момента основания, Тюмень выглядит иначе. Во многом изменилась ее своеобразно-живописная панорама, архитектурный облик, характер, но чем быстрее бег времени и отдаленнее «портрет» (образ) старого города с его неторопливым, размеренным ритмом, своеобразным колоритом, своей поэтикой, тем сильнее желание узнать, каким он был в прошлые эпохи. Благодаря произведениям художников у нас есть возможность мысленно совершить прогулку по живописным, уютным улочкам и кварталам старого города ...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Новомир ПАТРИКЕЕВ

Охота и природа в повести Александра Мищенко «Неро и Белозвезд» (комментарий читателя)

Повесть – многоплановое и многожанровое произведение, своего рода многоэтажное здание. Образы главных героев, охотника – ненца, Неро и необычного лося Белозвезда – его несущая конструкция, укрепленная авторскими размышлениями мировоззренческого характера и подкрепленная широкими познаниями А. Мищенко в мировой и русской философии, религии, истории, литературе, а также в биологии и экологии.

Некоторая осведомленность в вопросах охоты и природы позволяет мне, как читателю, прокомментировать только обозначенную в заголовке тематику повести.

Книга начинается с описания Белозвезда:

«Этого светло-желтого лося с густой медвежистой гривой довелось видеть одному-двум охотникам, но молва о нем разлетелась далеко по огромной зауральской низменности. В одном из ее далеких мест и объявился в начале зимы лось с белой звездой на лбу. С белой метой сохатого в Зауралье не встречали раньше, и поэтому в таежных селениях с интересом передавали друг другу известие о лосе невиданной красоты. Молва сразу же нарекла его Белозвездом, и о нем написали даже в газетах. Природа не случайно пометила этого зверя. Род Белозвезда выделялся в лосином мире. В его крови густо бродили, передаваясь от одного поколения в другое, смелость, ярость и ум. Дурели лоси в свадебную осеннюю пору. И проломные броски через чащобу совершенно естественно оголяли лоб, оставляя память об этом в генах, вот и расцвела белая звезда. Мощная грудь, лопатистые рога, длинные ноги, стремительный бег. Природа свято берегла в этом лосе неповторимость: твердый дух, ликование плоти, особую статью и резвость, совершенную грацию. Всем этим и отличался Белозвезд. Поэтому и удивлял он тех, кому посчастливилось видеть его, своей красотой».

Думаю, достаточно яркая завязка повести. Достаточно представить себе «портрет» Белозвезда во всей его мощи и красоте. А если взглянуть поглубже? Там генетика - передаваемые по наследству физические, а, главное, духовные качества: твердый дух, смелость, ярость и ум. Выделим последнее. По-моему, это уже от интриги, которая приведет к далеко идущим выводам Александра Мищенко относительно и других живых организмов.

Полноту и точность описания свидетельствую, так как наблюдал и стремительных летящий бег-полет рогача и ликование его плоти, когда выплыл на лодке из-за поворота реки и увидел пару пасущихся лосей. Голова самца касалась спины самки, а, заметив опасность, он как-то бережливо, прикрывая подругу, копыто в копыто, увел ее в лес.

Далее в книге подробно прослеживается путь Белозвезда от летних пастбищ на зимние, где ждет его трагический конец. Меня, как старого

охотника, получившего притом биологическое образование в Тимирязевской академии и бывшего директора таежного зверооленоводческого совхоза вблизи тех мест, просто поразило знание автором маршрутов лосиного кочевья, всех кормовых растений и времени их поедания, а так же нюансов пешей охоты на лося и его поведения во время преследования.

«Белозвезд давно покинул летние пастбища, где лакомился в неглубоких озерцах нежно-зеленой осочкой, рдестами и водяным мхом, скусывал походя на приволье у берегов верхушки брусничной поросли, березы-карличка и хвоцей. С охотой грыз он у реки молодой сладостно-горьковатый ивняк. Но большую часть кормежного времени проводил Белозвезд на горях, куда манили его высокие заросли иван-чая. Эти лилово-пурпурные, одуряющие хмелем цветенья окутывали лося теплыми ароматными облаками. Иван-чай бодрил зверя, заряжал энергией...»

Лось продвигался в урман на фоне точно замеченных автором осенне-зимних фенологических изменений в природе и соответствующих пейзажных зарисовок. Мы видим землю, окутанную «саваном снегов», «тускловато-серые облака», окрепший «панцирь льда» на реках, чувствуем «ровные, устойчивые холода», слышим, как «куролесит бесноватый северный ветер», как «его свист сливается с воем волков».

«Он углубился в урман и успокоился, начал пастись, объедая молодые кустарнички и хвойную поросль. Белозвезд погрыз на горях молодых осинки и тала, подобывал, вскопычивая снег, брусники, похватал хвои молодых елочек. Белозвезд отдыхал в густой чаще... Здесь, в согре, болотистом труднопроходимом лесу, можно и зазимовать. На самые лосиные места вышел он».

На этом кончилась спокойная жизнь зверя. Он услышал звук, похожий на гудение овода. Вертолет с браконьерами вылетел на охоту. Белозвезд попытался скрыться в гуще леса, но его заметили и стали обстреливать. Как ни метался лось по чаще, а все-таки попал под пулю воздушного стрелка и раненый скрылся за большим вывороченным корнем кедра. Когда вертолет приземлился у выворотня, Белозвезда там уже не было, он «брел по лесу, словно бы в забытьи». Спешившийся браконьер настиг зверя, но промахнулся и тот снова ушел.

И вот тут появляется второй герой повести ненец-охотник Неро. Он заметил след раненого Белозвезда и решил добить подранка по законам тайги. Почувяв преследование, лось пытался петлять, путать следы, но рана делала все это бесполезным.

«Белозвезд судорожным усилием бросил тело вперед и взобрался на крутосклон. Он обрывался у реки, открывая с обрыва мягкие светлые дали пойм. Лось остановился и затравленно окинул в последний раз родные места... И почуял загнанный лось, что пришел его роковой час».

Очень точно уловил подобное состояние зверя мой коллега, тобольский писатель и таежный промысловик Анатолий Кондауров в одном из своих стихотворений:

*Застыл сохатый в напряженьи,
Почуял шкурою свинец.
Звезда, теряя напряженье,
Штрихом мелькнула и – конец.*

«Добью! – молнией ударила мысль Неро. – Только не дано тебе знать, жестокость это или доброта...» он нажал на спусковой крючок... Голова лося дернулась и плашмя откинулась на снег, который заалел свежей

горячей кровью. Зверь судорожно вытянул ноги, и тело его прошло конвульсивной тряской. Жизнь Белозвезда оборвалась.

В то же мгновение прожглось что-то и отмерло и в душе Неро... Неро казалось в иные мгновения, что он сам умирал с каждой убитой птицей, со всеми застреленными им зверьками, особенно, если видел, когда трепыхались в предсмертных судорогах тетерев или глухарка. Лихорадочно скребся когтями соболя, взбрасывала головку в последнем отчаянном рывке белка. Но такое мучительное состояние, как в эти минуты, Неро никогда ещё не охватывало».

Такое мятежное состояние усиливает А. Мищенко парадоксальным и непонятным для человека, живущего промыслом, решением - у Неро вызрело... неприятие лосиной охоты.

Стартовое представление Неро «страдательным» и решительным охотником даёт читателю возможность почувствовать предстоящую необыкновенную сложность образа главного героя и заметить некоторые поступающие черты его характера, которые разовьются и подтвердятся в ходе дальнейшего повествования.

Например, милосердие, доказательства которого мы увидим в том, что в детстве Неро дружил с утками и бобрами, в юности спас обреченного на гибель лосенка, а в зрелом возрасте, морозный зимой, вывез, буксируя на лыжах нарту, последнюю умирающую жительницу его заброшенной родовой деревни бабушку Курью.

В сценке с выстрелом в Белозвезда Неро пока проявил честность перед самим собой. Дальше это качество проявляется и в более широком плане. Так, во времена строгой государственной монополии на пушнину разные полукриминальные дельцы-скупщики уговаривали охотника продать ценные шкурки. Ответ Неро был один: «Я тайгой не торгую».

Неро, плоть от плоти, сын северной аборигенной цивилизации, вековые устои, законы и традиции которой восприняты им от ближайших родственников. Кладезь мудрости, дед Нядей, давал ему уроки таежного ремесла и охотничье-рыбацкого мастерства, бабушка Яля учила внука добру, справедливости и трудолюбию. Оба воспитывали этические основы отношения к людям, растениям и животным.

Через все повествование образ Неро проходит в ярком, динамичном развитии от детства в глухом отдаленном селении-стойбище, в семье аборигенов, ведущих традиционное почти натуральное хозяйство до опытного профессионального промысловика с благоговением относящегося к родной тайге и ее обитателям, а потом, вдруг представший как дипломированный поэт и мыслитель.

Откуда же это «вдруг»? Автор объясняет: «Давно уже слились в моем сознании реальный поэт-охотник Юрий Вэлла и виртуальный, вымышленный Неро. Одной слитной личностью воспринимаю я «двувратного» Вэлла Веро». Добавим, что Юрий Кылевич Вэлло (Айваседо), ныне покойный, не только «поэт-охотник», но и оленевод, писатель, философ, борец за права аборигенов.

Мы же в соответствии с задачей, поставленной в комментарии, посмотрим на Неро как на опытного охотника-следопыта. Приведенные в повести сценки свидетельствуют об этом, а также о доскональном знании промысловых процессов автором книги.

Вот гонка за соболем. Неро по следам определяет – здесь с полчаса назад пробежал соболя, «на что указывал нежный воздушный валик на переднем конце следа». По величине следа отметил, что это самец и что

он таежный (с лучшим мехом), так как встретился в лесу и, конечно, вычислил его местонахождение.

Или белкование. Также умело читал он следы белок, разглядывал их маршруты:

«Увидел однажды Неро, что мерзнет печатка следа, стронулись средние и крупные комочки снега – ясно стало, что десяток минут назад прошла здесь белка. Скачки ее суетливые, с сугроба на сугроб, с пенька на пенек. Повел он дальше таежное следствие. До этого места, как и предположил Неро, белка шла верхом. Да-да, вот явная строчка ямок на снегу – осыпался тут с веток по воздушной ее тропе куржак. Потом устала она, значит, и вниз юркнула. Охотник неумоимо петлял по беличьему следу и набрел на гайно зверька: из старого сорочьего следа торчали клочья мочала – беличьей перинки. Неро внимательно исследовал окрестности и смекнул, что к чему. Напал он, оказывается на умную белку. Та с утра уходила кормиться на круг и замыкала его лишь вечером, подбираясь к «дому» тайным верховым путем».

И тут в описание охоты вклинивается автор, приоткрывая занавесу над интригой об уме лося в портрете Белозвезда:

«Вот и говорите после этого, что у белок, у живого всего вообще нет разума, что такое случается по «интуиции», без работы мыслительных клеточек в мозгу зверюшки. Чего врагам дорогу показывать? Да, утверждать я буду без всяких сомнений, что касается мира зверей и животных: априори есть у них первоначала сознания, предсознание что-ли, звериное, в общем, сознание. Способность различения хорошего и плохого. Почти человеческое даже, но только «немое» мышление.

Свою основополагающую (философски) мысль А. Мищенко подкрепляет тем, что сказал ему Неро словами знаменитого охотника Дерсу Узала, героя классических книг В.К. Арсеньева: «медведь тоже люди, только в других рубашках родился». Напомним, что автор ведет образ своего главного героя в постоянной реминисценции с Дерсу Узала, считая, что они «таежные братья по крови духа». С этим согласен и Неро: «Дерсу как тень моя, что всегда со мной. Да что там тень, душа его во мне живет».

И еще штрих к образу Неро-охотника – смелость в борьбе за справедливость и защите своего достоинства. Случилось так, что после отстрела раненого лося охотинспекторы пытались обвинить в браконьерстве Неро. Но он, не смотря на издевательские вопросы и давление со стороны проверяющих, потребовал приземлить вертолет у выворотня, где был ранен Белозвезд, и показал на дереве следы пущенных с воздуха пуль.

Не менее смело и автор показывает как хрестоматийный «звериный оскал браконьерства» воздушных стрелков, так и подобный оскал некоторых охотинспекторов, превратившихся в ловких охотников на охотников (конечно, рядовых, безответных), с ног до головы опутанных разными, чаще непродуманными запретами.

Самостоятельным образом повести, её доминантной составляющей является сама природа тайги. В многочисленных точных пейзажных зарисовках автор показывает и её богатства, и красоту, и суровость. Оставим специалистам анализ этой темы. В нашем случае достаточно уместны такие строки И.А. Бунина:

*Нет, не пейзаж влечёт меня.
Не краски, острый взор примечт.
А то, что в этих красках светит
Любовь и радость бытия.*

Именно то, что кроется в последней строке по отношению к природе, автор настойчиво и неустанно призывает защищать. Есть в книге глава «Факелы газовые – шашлычницы». В ней А. Мищенко приводит строки из дневника своего товарища, нижевартовского строителя Виктора Тимофеева:

«Мне рассказывали пожарные, как осенними днями и ночами на Варьегане при аварии на буровой вспыхнувший газовый фонтан сжигал огромные клинья летевших на юг птиц. Они похвалялись: «Мы рюкзаки тогда набили тушками обгоревших поджаренных уже уток, лебедей, гусей...»

Подобную жуткую картину можно было наблюдать и в 1965 г. на аварийной пуровской скважине № 101, где фонтан бушевал полгода, пламя поднималось на высоту около 100 метров. Вылетавшие на свет куропатки загорались и со шлейфом черного дыма, как подбитые фронтовые самолёты, падали вниз.

Автор развивает экологическую тему на протяжении всего повествования через свои размышления, а также оценки и предостережения авторитетных людей, например И.С. Тургенева: «Сузились воды, поредели леса» или М.М. Пришвина: «до того доцарствовался человек в природе, что подранком уже стала вся земля».

Особенно больно слышать подобные мнения, вложенные А. Мищенко в восприятие главного героя. В годы экологического кризиса Неро думал о происходящем по-своему. Страдал он за небо, которое поджаривали нефтяники в газовых факелах, за порванные леса, реки и озёра, за Югру, которую распинали на кресте бензинной цивилизации!

«Неро видел, что выжаривается в факелах небо, задыхаются от угарной темноты реки и голые ондатры выползают на берега со сгоревшими от нефти шкурками, торчат белыми костями обескоренные сосны на залитой нефтью земле – будто растут из могильника, тянут замазученные руки-ветки тальники к небу, взывая к милосердию, секут тундру люди шпицрутенами вездеходных следов, обрушиваются на зверьё с небес сатанинские громы огня и стали. Как же так случилось, что отшибло человеку память о месте его в экономии природы? Ну, не видят разве люди, что вся Земля уже стала лосем-подранком? И кто добьёт его? ...Почему за все несовершенства жизни людей, за животные их аппетиты расплачивается Природа? За что же она-то становится крайней? Разве трудно понять, что терзая природу, человек терзает себя?...Но природа ведь одно целое: нет же в ней министерств кузнечиков, соболей, лосей и зайцев, департаментов рек, озер, сосен, елей и кедров. А её по живому режут».

Всё это так резбредило сердце старого северянина, что в порядке поддержки и благодарности автору за обострение проблемы, решил поделиться своими собственными заметками.

Карандашная запись в блокноте 1965 года. Ямал. Время великих газовых открытий. Пролетел на вертолёте по угодьям своего бывшего совхоза в Пуровской тайге. И там, где только на одном песчаном берегу насчитали три года назад около 300 глухарей, вспугнули за время всего полета лишь четыре птицы.

Затем полет от Салехарда к Байдарацкой губе – заливу Карского моря. Вся тундра перепахана десятилетиями незаживающими вездеходными следами. И неожиданное сравнение. Осенью на Обском Севере преобладают красно-багряные краски: ягоды брусники, клюквы, шиповника, толкнянки, красной смородины, рябины, мелкие листья-копеечки карликовой

берёзки алеют как капельки крови. И вывод: а не кровь ли это будущего экологического кризиса? Подобное сравнение есть и у А. Кондаурова:

*Алой клюквой на болотных кочках
Кровоточат травы от тоски.*

В книге «Ямал – страницы былого» я писал, что в начале 60-х годов закончился период плавного поступательного развития традиционных отраслей экономики Севера. На пороге стояла стремительная и противоречивая эпоха «Большого газа». Освоение нефтяных и газовых запасов Западной Сибири стало миной замедленного действия, заложенной под медленное, но верное улучшение социально-культурной среды обитания народностей Севера, а как теперь оказалось – под саму природу края, а по большому счету – и под судьбу его коренных обитателей.

Конечно, создавшее положение заставило проводить какие-то природоохранные мероприятия, частичную рекультивацию земель, в Югре даже была объявлена чрезвычайная экологическая ситуация, но, к сожалению, промышленный пресс на тайгу и тундру permanently продолжается. Подтверждение тому тревожные сигналы начала 2016 года.

Нефтяники в порядке зонирования претендуют на самые ценные участки участка заповедника Нумто – водно-болотные угодья, которые выполняют функции регуляторов водного режима семи рек и являются местами обитания редких и исчезающих растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Буровики пробивают разрешение властей на проникновение в родовые угодья на востоке Югры.

На сессии Законодательного собрания Ямала озвучена жалоба директора совхоза на то, что нефтяники поставили буровую «прямо на роддоме» – традиционном месте отела оленей.

И как результат, на том же Ямале в печени и почках северных оленей обнаружено высокое содержание диоксина и тяжелых металлов: кадмия, ртути и свинца, самых опасных загрязнителей продуктов питания.

Вот насколько актуальна и остра экологическая составляющая повести Александра Мищенко. «Не навреди вечному, занимаясь временным» - призывает он. Таким образом, сводится воедино тема охоты и природы в повести «Неро и Белозвезд».

КРАЕВЕДЕНИЕ

Александр ЯРКОВ

Козьма Прутков и другие сибиряки на Крымской войне

Какое отношение имеет Козьма, по сути – литературная маска, к Сибири и, тем более, к Крымской компании? Конечно, не прямое, а опосредованное. Оттого еще более интригующее.

Итак, под именем Козьмы Пруткова в 1850–1860-е годы в журналах «Современник», «Искра» и других выступали Алексей Толстой и три брата Жемчужниковы – Алексей, Владимир и Александр. Но в коллективном псевдониме не указано еще одно имя. Дело в том, что, по мнению ряда исследователей, причастны к творчеству Козьмы тобольяки Петр Павлович Ершов и ... Владимир Михайлович Жемчужников.

Да, именно так. Если с Ершовым все понятно – тобольский, «кондовый», то второй...? Но и здесь ситуация объяснима – в 1854 году, не окончив курса Санкт-Петербургского университета, В.М. Жемчужников приехал в Тобольск, где служил чиновником по особым поручениям при тамошнем губернаторе Владимире Арцимовиче. Ситуация «хитра» тем, Виктор Антонович Арцимович был женат на родной сестре Владимира Михайловича – Анне.

Неизвестно, являлось ли выявленное родство причиной добровольной отправка поэта на Крымскую войну или патриотический пафос? А может, сыграла роль усталость от провинциальной жизни, на которую тот был обречен, подписав контракт на три года. По крайней мере, известно, что Казенная палата не стала взыскивать с него полученные прогонные (на две лошади от Санкт-Петербурга до Тобольска) и пособие, сославшись на царский манифест от 26 августа 1856 г. списавшего все долги с дворянина В.М. Жемчужникова. Он, поразительно, отслужил в Тобольском губернском правлении день в день ровно один год – с 24 апреля 1854 г. по 24 апреля 1855 г.

За тот год Владимир Михайлович подружился с П.П. Ершовым, а на его просьбу пристроить куда-либо сцену «Черепослов, сиречь «Френолог» ответил, но спустя пять лет: в «Современнике» в 1860 году она была напечатана от имени отца Пруткова, «...дабы не портить уже вполне очертившегося образа самого Косьмы».

Между тем в апреле 1855 года Владимир Михайлович Жемчужников отправился на Крымскую войну прапорщиком, поступив в Стрелковый полк Императорской Фамилии. Петр Павлович Ершов откликнулся посланием на его отъезд из Тобольска так:

В.М. Жемчужникову

*Прощай! Под знаменем отчизны,
Железо в руки, крест на грудь! –
Как Руси сын, без укоризны,
Или свершишь твой новый путь.
Неси избыток сил кипящих
Царю, Отечеству в оплот,*

*И светлым роем дел блестящих
Ознаменуй твой ратный год.
Да будет Бог твоим покровом –
В бою мечом, в огне щитом!
И возвратись в венце лавровом
И жив и здрав в твой отчий дом.*

Однако участвовать в Крымской войне Жемчужникову не пришлось: в начале 1856 года, в Одессе, он тяжело заболел тифом, а уже в ноябре вышел в отставку.

Что же касается стрелкового полка, то он был сформирован, в основном, из удельных крестьян Новгородской, Архангельской и Вологодской губерний. Сибиряков там было мало, как в принципе, и в более знаменитом 38-м Тобольском графа Милорадовича пехотном полку, которому Лев Николаевич Толстой посвятил свои «Севастопольские рассказы».

Оба полка доблестно сражались в Севастополе, да так, что в 1856 году изрядно поредевший, но героический полк, в котором не довелось дослужить В.М. Жемчужникову, преобразован в лейб-гвардии Стрелковый батальон Императорской Фамилии.

Об истории же 38-го пехотного полка, принимавшего участие в войне с Наполеоном и в Крымской войне 1853–1856 годов, известно гораздо больше, а в Тобольском архиве собрано немало уникальных исторических документов, среди которых есть и воспоминания самих воинов, и фотографии полка.

Во время Крымской войны не только два упомянутых полка, но и вся императорская армия (значительно уступавшая в качестве вооружения и технической оснащённости армиям Великобритании и Франции), проявила чудеса храбрости. Со времен Отечественной войны 1812 года она сохранила высокий боевой дух и военную выучку. Были среди оборонявших Севастополь люди, соединившие своей судьбой эти две войны и сибирское прошлое, подобные Александру Николаевичу Муравьеву. Отставной полковник Генерального штаба, участник тридцати больших и малых сражений. Он стал основателем первой декабристской организации «Союз Спасения», но в 1818 году вышел в отставку и отошел от движения. Тем не менее, был привлечен к ответственности и осужден по VI разряду (правда без лишения чинов и дворянства). Примечательно, что он в 1832–1834 годах даже исполнял должность тобольского гражданского губернатора. Успел «сибиряк поневоле» поучаствовать и в Крымской войне, а после нее занялся подготовкой крестьянской реформы. Так всю свою жизнь Муравьев – основатель первой декабристской организации, оставался верен идеалам юности.

P.S. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выделил средства на восстановление Братского кладбища в Севастополе, на котором захоронены герои Крымской войны 1853–1856 годов, в том числе более 4,5 тыс. солдат и офицеров 38-го Тобольского пехотного полка.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Июль

В Тюмени в День города состоялся Пикни книг на площади солнца. Этот грандиозный праздник книги посетили около 15 тысяч человек.

Свою продукцию выставили крупнейшие издательства, в том числе – из Екатеринбурга. Свои книги продавали книжные магазины и известные тюменские литераторы. Читатели могли не просто приобрести литературу, но и пообщаться с писателями.

Тюменский издательский дом открыл в Тюмени на ул. Герцена магазин-клуб. Он будет специализироваться на торговле книгами местных авторов, но главным в работе станет организация встреч с авторами.

Август

В только что открывшемся в Тюмени Русском доме прошла встреча тюменских писателей с активом областного общества русской культуры. На встрече были определены главные направления совместной работы, которая ранее заключалась только в проведении Дней славянской культуры.

В Нижней Тавде состоялся Межрегиональный фестиваль поэзии и авторской песни «Когда струна сливается со строчкой». Этот фестиваль традиционно собирает многие десятки самодельных поэтов и бардов из городов и районов Тюменской и Свердловской области.

Сентябрь

В Москве прошла традиционная Международная книжная ярмарка. В её работе приняли участие Тюменский издательский дом, а также издательство Тюменского государственного университета. На выставке были представлены научные труды тюменских учёных, «Лествичник» Филофея Лещинского, книги тюменских писателей Сергея Козлова, Анатолия Омельчука, Леонида Иванова.

Октябрь

В Тюменской областной научной библиотеке прошла презентация книги Ивана Ермакова «Память». В неё вошли лучшие произведения самобытного тюменского писателя. Книга выпущена Тюменским издательским домом в серии «Тюмень. Мировая литература».

Тюменский поэт, член Союза писателей России Виталий Огородников отправился на велосипеде в кругосветное путешествие. Обогнуть земной шар писатель и художник намерен к концу 2017 года.

Группа тюменских писателей в течение недели проводила встречи с читателями области. Маршрут писательского десанта пролегал через Ярково, Тобольск, Ишим, Абатское, Сладково. Во всех этих городах и районах встречи с читателями проходили одновременно на двух площадках.

Во время всех встреч проходила также и презентация очередного номера альманаха «Врата Сибири».

Генеральный директор Тюменского издательского дома, принимавший участие в поездке, передавал в дар районным и сельским библиотекам книги и журналы, которые выпускаются на этом одном из крупнейших полиграфических предприятий.

В Сладково прошёл творческий вечер, посвящённый 70-летию члена Союза писателей России Валерия Страхова. Валерий Страхов большую часть жизни прожил в этом районе, работал редактором газеты, после выхода на пенсию занимается литературным трудом. Одна из его последних работ «Время собирать» опубликована в предыдущем номере нашего альманаха.

Ноябрь

Старейший тюменский писатель Станислав Мальцев стал лауреатом Всероссийской литературной премии им. Мамина-Сибиряка.

Любимые уже несколькими поколениями маленьких читателей герои произведений Зайка Петя и Кузя Щучкин живут уже более полувека и с каждым годом находят новые и новые приключения. Помимо произведений для детей Станислав Мальцев пишет и для взрослых. Только в последние два года у него вышли повести «Вика-Викуля», «Лох Серёга и змеи-гадюки» и фантастический роман «Гринблю – мир без любви».

Коротко об авторах

БОРОДКИНА Наталья Михайловна – родилась в казачьей станице Варениковской Краснодарского края. В 1978 г. с отличием окончила Краснодарский техникум советской торговли, в 1986 г. – Новосибирский институт советской кооперативной торговли по специальности «Технология и организация общественного питания». Трудилась в сфере торговли и общественного питания. С 2007 года, после окончания с отличием Санкт-Петербургской Академии психологии, предпринимательства и менеджмента – практикующий психолог-психоаналитик. В 2004 году начала писать стихи и сказки. Публиковалась в городской и областных газетах, в журнале «Смена». В 2006 г. издала первую книгу «Миру с любовью». В 2013 г. стала победителем областного поэтического конкурса. Замужем. Живёт в г.Ялуторовске.

ВОЛКОВЕЦ Владимир Михайлович. Родился 2 февраля 1953 года в поселке Чур Якшур-Бодьинского района Удмуртской АССР. В 1971 году, в газете «Ветлужский край» (город Шарья) были опубликованы первые стихотворения. Первая книга стихов вышла, когда учился в Литературном институте им. Горького. В 1988 году принят в члены Союза писателей СССР. Автор более десяти книг. Стихи печатались в еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Мир Севера», «Наш современник», «Новая Югра», «Проталина», «Странник», «Урал», «Югра», «Второй Петербург», «Парадный подъезд», в коллективных сборниках и альманахах. Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы в номинации «Поэзия» за лирику последних лет (2004), Всероссийской премии им. Д.С. Мамина-Сибиряка (2007). «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за заслуги в развитии культуры. Живет в городе Советском.

ЗАЙЦЕВ Виктор Александрович. Долгое время работал в Заполярье на дрейфующей полярной станции. В 80-х годах приехал в Тюмень, был обозревателем ВГТРК «Регион-Тюмень», затем трудился в ТюмГНГУ, на различных предприятиях. Бывал в горячих точках, в том числе снимал репортажи с войны в Югославии. В 2016 году ушёл из жизни после тяжёлой болезни. Автор сборника стихов «Собака и соль», член Союза журналистов России, лауреат премии Тюменского отделения Союза журналистов РФ. Похоронен в Тюмени.

КОМАРОВ Сергей Анатольевич. Родился в Тюмени, окончил Тюменский государственный институт, в нём же и преподаёт. Доктор филологических наук, профессор. Автор большого количества научных статей, сборников и учебных пособий, а также двух поэтических книг. Его стихи публиковались и в коллективных сборниках, литературных альманахах. Живёт в Тюмени.

МИЩЕНКО Александр Петрович родился в 1938 г. в г. Хабаровске. Окончил геологоразведочный техникум в Саратове и заочно факультет журналистики Московского государственного университета. Работал

топографом в Средней Азии, а потом на Севере Тюменской области. Литературным творчеством занимается с начала 60-х годов. Участник первого Всесоюзного совещания молодых писателей. Печатался в тюменской прессе, в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник» и др. Первая книга «Подари озерам жизнь» вышла в 1977 году. К настоящему времени автор более сорока книг, в том числе «Диалоги смутного времени», романа-хроники «Побег из Кандагара» романа «Самотлорский Спартак», «Письма с солнца», «Полёт Путина-Стерха» и др. Лауреат премии имени И.М. Ермакова и имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Член Союза писателей СССР с 1990 года. Член Союза писателей России. Живет в Тюмени.

ПАТРИКЕЕВ Новомир Борисович. Родился в 1932 г. в г. Салехарде. В 1955 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, в 1970 г. – Свердловскую высшую партийную школу, в 1974 г. – аспирантуру. Работал научным сотрудником Ямальской опытной сельскохозяйственной станции, собственным корреспондентом газеты «Тюменский комсомолец», директором совхоза, руководителем группы инспекторов по сельскому хозяйству Ямало-Ненецкого окружного комитета КПСС, заместителем редактора газеты «Красный Север»; редактором газеты «Ленинская правда» – «Новости Югры» Ханты-Мансийского автономного округа; заместителем председателя комитета по средствам массовой информации и полиграфии администрации Ханты-Мансийского автономного округа. Автор большого количества историко-публицистических книг о Ямале и Югре, литературных произведений. Заслуженный работник культуры РФ, действительный член Петровской академии. Член Союза писателей России. Живёт в Тюмени

ПРОТАСОВ Владимир Васильевич родился в 1948 году в г. Житомир (Украина). В Тюмени – с 1957 года. В 1971-ом по окончании 3-го курса геофака Тюменского Индустриального института уехал на Север геодезистом. В составе геодезических партий работал на Ямале (Харасавей, Новый Порт), в Югре (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск), на Приполярном Урале, на юге области... После выхода на пенсию обосновался в Ялуторовске. Пишет стихи, прозу. Но то ли из врождённой скромности, то ли из-за недооценки своего литературного дарования практически не печатался. Профессионально занимается резьбой по дереву, участник выставок в Ялуторовском Центре национальных культур.

СЕЗЕВА Наталья Ивановна, доктор искусствоведения, член Союза художников РФ, председатель тюменского отделения «Ассоциации искусствоведов РФ», зав. отделом «Художественная культура и искусство края» Тюменского музея изобразительных искусств ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»

СИЗОВ Даниил. Родился в Тюмени. Выпускник филологического и исторического факультетов Тюменского государственного университета, сменил много профессий, работал и учителем в школе, и дворником, и научным сотрудником краеведческого музея, и продавцом в музыкальном магазине. Стихи пишет давно, ещё в девяностых занимался в литератур-

ном объединении при Союзе писателей. В 2016 году вышла его первая книга стихов «Буфет на полустанке». Живёт в Тюмени.

СМЕТАНИН Сергей Егорович, родился в 1952 года в Стерлитамакском зерносовхозе Стерлитамакского района Башкирской АССР. Окончил музыкальную школу в г. Омске. Окончил факультет иностранных языков Башкирского Государственного университета в г. Уфе. Лауреат Международного конкурса им. А. Толстого в 2006 году за подборку стихотворений из книги «Роднее не найду», лауреат Международного конкурса «Золотое перо Руси 2007» в номинации «Сказка» за сказку «Зайчонок-ниндзя». Печатался в альманахе «Иртыш», журналах «Крокодил», «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Сибирские огни», «Стригунок», «Уральский следопыт», «Югра», «Наш Современник», коллективных сборниках и альманахах. Автор семи сборников стихов, а также книги «Лирика для всех (Основы практической поэтики)» В настоящее время живёт в Санкт-Петербурге.

СОФРОНОВ Вячеслав Юрьевич, родился в 1949 г. Писать и публиковаться начал с 1989 года. В 1992 году в журнале «Иртыш» (Омск) вышла повесть «Под знаком Рака», затем трилогия – исторический роман «Кучум», в 2016 году вышло уже третье его издание. На сегодня автор и составитель полутора десятков книг. Доктор исторических наук, преподаватель на кафедре культурологии и философии в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева; член Всероссийского генеалогического общества и Всероссийского общества геральдики. Член Союза писателей России. Живёт в Тобольске.

ТКАЧУК Леонид Владимирович постоянно выступает в разных ипостасях. Его знают, как журналиста, поэта, барда, автора текстов и музыки как на свои стихи, так и на произведения любимых авторов. Участник и организатор фестивалей авторской песни. Творчество Леонида Ткачука очень разносторонне: наполнено лиризмом, юмором, иронией, грустью. Активно занимается переводами стихов поэтов из разных стран. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт и работает в Тюмени.

ТУЛУШЕВА Елена дебютировала в мартовской книжке журнала «Наш современник» за 2014 год. На Совете по критике СП России о ее публикации говорили как о лучшем дебюте года. Успех закрепили награды, полученные на престижных писательских форумах – «Серебряный Витязь», завоеванный на V Славянском литературном форуме «Золотой Витязь» и стипендия Министерства культуры РФ, предоставленная по итогам XIV Международного совещания молодых писателей. Елена – врач. В 28 лет она успела окончить два вуза, работала во Франции и США. В настоящее время – старший медицинский психолог Московского реабилитационного центра для подростков, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

ЧЕРКАШИН Павел Рудолфович родился в 1972 году в селе Мужы Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской

области. Литературным творчеством начал заниматься с одиннадцати лет, но более зрелые вещи стали создаваться гораздо позднее. Первая публикация появилась в печати в пятнадцать лет. Неоднократный участник семинаров молодых писателей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Публиковался в центральных российских изданиях, таких как газета «Щит и меч», журналы «Литературная учёба», «Милиция» и «Жеглов, Шарпов и К». Автор публицистических книг, книг для детей, поэтических сборников и книг прозы. Лауреат различных престижных литературных премий. Член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Ответственный секретарь Ханты-Мансийского отделения Союза писателей России. Живёт в Ханты-Мансийске.

ШАМСУТДИНОВ Николай Меркамалович, поэт, публицист, сатирик, переводчик. Его стихи переведены на грузинский, чеченский, белорусский, украинский, армянский, датский, германский, словацкий, английский языки. Участник многих писательских форумов в СССР, России, Скандинавии, Германии, Словакии, Франции, Австрии, Польше, Украине, Армении, Грузии и других странах. Неоднократно встречался с студентами Королевских университетов в Копенгагене и Оденсе, Лионского университета и Парижского института восточных языков и культур, Ягеллонского и Варшавского университетов член Всемирной ассоциации писателей ПЕН-клуб, член Высшего совета писателей Сибири, почетный работник культуры и искусства Тюменской области, заслуженный деятель культуры Российской Федерации. Член Союза писателей СССР (1982), Член Союза российских писателей, Председатель Тюменской региональной организации Союза писателей. Живёт в Тюмени.

ЯРКОВ Александр Павлович. Родился в 1955 году в Тюмени. Окончил Уральский государственный университет, доктор исторических наук, профессор Тюменского государственного университета. Автор нескольких монографий и около 200 научных статей на русском, английском, польском, киргизском, немецком языках.

ВРАТА СИБИРИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

На вклейках: репродукции картин художников

Г.А. Токарева, Ю.Д. Юдина

На обложке:

Ю.А. Рыбьяков. «???».

Из собрания Тюменского музея изобразительных искусств

Альманах зарегистрирован Западно-Сибирским
территориальным управлением Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 17-0413 от 23 мая 2006 г.

Адрес редакции:

625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6

тел./факс: (3452) 75-73-33, тел. 695-630

E-mail: vrata_sibiri@mail.ru

Электронная версия журнала: www.tid.ru

**ПРИМЕЧАНИЕ. Почтовое отправление и заявки на подписку
посылать по адресу:**

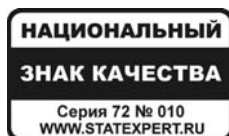
625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6,

тел. 75-73-33.

Издатель: ОАО «Тюменский издательский дом».

625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6,

тел. (3452) 75-78-88.



Подписано в печать и свет ???.?.2016 г.

Формат 70x108¹/₁₆. Бумага ВХИ.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,85.

Тираж 1000 экз. Заказ № ?????. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Тюменский издательский дом».

625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.

Верстка номера *С. Дерябин.*

Корректор *Т. Назырова.*

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. По желанию автора рукопись может быть возвращена, если ее объем не менее: проза – 10 а. л., поэзия – 5 а. л., публицистика – 3 а. л. Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Перепечатка материалов и их распространение, в том числе и в электронной версии, допускаются только с разрешения редакции. Ссылка на «Врата Сибири» обязательна.